This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Acquired through the
HOOVER INSTITUTION

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Chirikov, E. A.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

Евгеній Чириковъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

РАЗСКАЗЫ.

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Цѣна 1 рубль.

HOOVER LIBRARY

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Монтвида. Конная ул., д. № 3—5.
1903.

PG 3460
C5
1903
v.2

Оглавленіе.

стр.

Инвалиды 1

Блудный сынъ 104

Чужестранцы 134

Въ отставку 345

ИНВАЛИДЫ.

I.

Въ комнатѣ было почти темно.

Отблескъ потухшаго зимняго дня печально мерцалъ въ окнѣ, наполовину завѣшенномъ листомъ большой столичной газеты. Въ дрожащемъ мерцаніи сумерекъ слабо рисовался контуръ стоявшаго на столѣ самовара и тянулась кверху темная бутылка съ воткнутымъ въ ея горлышко огаркомъ свѣчи. Висѣвшія на стѣнѣ принадлежности мужского костюма, съ накинутою на тотъ же гвоздь шляпою, въ темнотѣ напоминали человѣка: казалось, спиною къ вамъ стоитъ какой-то господинъ въ шляпѣ набекрень и, широко разставивши ноги, сосредоточенно о чемъ-то думаетъ...

Изъ сосѣдней комнаты, черезъ легкую досчатую перегородку, доносилось монотонное гудѣніе изучавшаго исторію гимназиста; черезъ потолокъ слышались глухіе звуки піанино. Изъ самоварнаго крана медленно, съ правильными интервалами, падали на подносъ тяжелыя капли воды.

Заломивъ обѣ руки на полысѣвшую уже голову, постоялецъ Крюковъ лежалъ неподвижно на кушеткѣ, смотрѣлъ въ темноту и слушалъ.

— Тоска!—произносилъ онъ время отъ времени, ворочаясь на своей жесткой постели, и кушетка жалобно визжала подъ тѣломъ Крюкова, словно и ей было тоже тоскливо.

Да и трудно было не поддаться грустному настроенію. Сумерки зимняго вечера всегда навѣваютъ на душу тихую печаль, смутное сожалѣніе о чемъ-то. А тутъ дѣло осложнилось еще нѣкоторыми побочными обстоятельствами: гимназистъ Володя, сынъ квартирной хозяйки, зубрилъ исторію Иловайскаго, заткнувъ пальцами уши, а такъ какъ черезъ стѣнку отдѣльныхъ словъ слышно не было, то получалась томительная, ноющая жалоба, лишь изрѣдка прерываемая короткими передышками. Прислушиваясь къ этому изученію исторіи, Крюковъ то вспоминалъ чтеніе псалтири надъ своей покойной матушкой, которую онъ потерялъ въ дѣтствѣ; то ему казалось, что Володя обратился въ большую стальную муху, которая, попавъ къ пауку въ тенета, жалобно молитъ о спасеніи; то Крюковъ уносился вдругъ мыслью и воспоминаніемъ въ мѣста отдаленныя, и Володя превращался въ убогаго инородца, напѣвающаго среди безграничнаго моря снѣговъ и угрюмыхъ лѣсовъ тайги свою монотонную, тоскливую пѣснь безъ конца и начала...

Но всего сильнѣе щемили сердце Крюкова глухо звучавшія въ темнотѣ гаммы и экзерсиціи на піанино. Эти скачущія то вверхъ, то внизъ по клавіатурѣ нотки, то одинокія, то парныя, лишь изрѣдка перемежавшіяся тоже своего рода передышками-аккордами въ минорномъ тонѣ, — какой-то странной болью отзывались на душѣ Крюкова и будили въ ней тысячу неясныхъ, неопредѣленно-тоскливыхъ ощущеній, унося его назадъ, въ далекое прошлое, и напоминая о чемъ-то или навсегда утраченномъ, или даже и неиспытанномъ вовсе, недостижимомъ...

— Тоска!—прошепталъ еще разъ Крюковъ и, вмѣсто

вздоха, медленно. черезъ губы, выпустилъ изъ легкихъ длинную струю отработавшаго воздуха... Затѣмъ, съ старческимъ кряхтѣніемъ, онъ поднялся съ кушетки, отыскалъ коробочку спичекъ и зажегъ огарокъ въ бутылкѣ. Слабый огонекъ мигнулъ красноватымъ пламенемъ, и пугливыя тѣни побѣжали торопливо по комнатѣ и стали прятаться подъ потолокъ, по угламъ. Всѣ звуки, къ которымъ Крюковъ прислушивался въ темнотѣ, словно испугались этого огонька: глуше, отдаленнѣе стали звучать гаммы, совсѣмъ не слышно стало паденія водяныхъ капель изъ самоварнаго крана, а Володя, громко выкрикнувъ „аминь!“, крѣпко стукнулъ переплетомъ г. Иловайскаго по столу и прекратилъ свое монотонное гудѣніе...

Красноватое пламя свѣчи упало на физіономію постояльца. Что-то дѣтски-наивное проглядывало въ этомъ, въ сущности, уже постарѣвшемъ лицѣ: глаза смотрѣли довѣрчиво и печально, бородка изъ небольшого клочка темныхъ волосъ напоминала совсѣмъ еще юношу, а между тѣмъ большой лобъ былъ испещренъ морщинами и казался безконечнымъ отъ сквозной лысины, а на вискахъ серебрились кудрявые завитки волосъ. Въ общемъ лицо Крюкова напоминало не то устарѣвшаго и сошедшаго со сцены тенора оперы, не то холостяка-художника, переживающаго хроническое неблагополучіе въ финансовомъ отношеніи... У насъ встрѣчаются такія лица еще у нѣкоторыхъ людей „безъ опредѣленныхъ занятій“...

Такимъ именно человѣкомъ и былъ постоялецъ Крюковъ.

Большая половина прожитой Крюковымъ жизни протекла въ скитаніяхъ. Эти скитанія начались со дней далекой юности, когда чуткая душа горѣла жаждой подвига, и сердце болѣло за всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ... Въ кругу своихъ друзей Крюковъ наскоро разрѣшилъ всѣ „вопросы“ и присоединился къ про-

граммѣ дѣятельности по формулѣ „все для народа и все посредствомъ народа“... Въ полгода Крюковъ изучилъ общину, артель и кустарную промышленность, выяснилъ роль своей личности, какъ интеллигентнаго человѣка, и... затѣмъ былъ подхваченъ волною движенія... Эта волна закружила Крюкова, какъ щепочку, и стала носить по тюрьмамъ и этапамъ, пока, наконецъ, не выкинула на берегъ пустынныхъ волнъ, предоставивши ему стоять здѣсь со своими великими думами и съ безпомощно опущенными руками...

Послѣ многолѣтнихъ скитаній и мытарствъ, когда вмѣсто темныхъ кудрей на головѣ Крюкова зловѣще засіяла черепная коробка, когда лицо, нѣкогда цвѣтущее и румяное, избороздилось морщинами, мысль стала терять свою легкость и остроту, а взоръ утомленно потухалъ и изъ безпокойнаго, искристаго становился ровнымъ, печальнымъ и задумчивымъ,—тогда Крюковъ, съ однимъ изъ попутныхъ вѣтровъ внутренней политики, вернулся... Вернулся онъ съ какими-то фантастическими надеждами, планами и замыслами, съ горячею вѣрою въ свое прежнее дѣло и съ непреодолимымъ желаніемъ начать все сызнова...

Но дѣйствительность безжалостно посмѣялась надъ Крюковымъ.

Какъ герой сказки, Крюковъ, казалось, проспалъ цѣлое столѣтіе и когда проснулся, то вокругъ него люди говорили уже на другомъ нарѣчіи, завели другіе обычаи, иначе стали думать и иначе дѣлать, и какъ Крюковъ не понималъ ихъ, такъ и его никто не понималъ и, что всего тяжелѣе, даже, повидимому, и не желалъ понимать. Человѣкъ съ горячею вѣрою въ силу какого-то особаго „уклада“ русской народной мысли и народнаго міросозерцанія, съ фантастическими проектами путемъ общины, артели и экономической жизни отчизны чуть ли не осуществить завтра же идеалъ всеобщаго на землѣ счастія,—Крюковъ оторвался отъ дѣй-

ствительности и продолжалъ жить прежними мечтами и воспоминаніями далекой юности... Одинокій членъ обанкротившагося товарищества на вѣрѣ, Крюковъ не желалъ считаться съ фактами и тиранически распоряжался ими, откидывая непріятные и притягивая за волосы пріятные, и дѣлалъ все это искренно, безъ заранѣе, такъ сказать, обдуманнаго намѣренія. Вѣра, съ которой дожилъ Крюковъ до старости, была настолько живуча и непоколебима, что наложила на него печать какой-то непріязни и нетерпимости ко всякимъ „новшествамъ“ даже въ своей собственной программѣ, не говоря уже о новыхъ направленіяхъ въ общественной мысли и жизни. Встрѣчая въ періодическихъ журналахъ статьи подобнаго характера, Крюковъ съ ироническою улыбкою пробѣгалъ ихъ поверхностнымъ взглядомъ и обыкновенно не дочитывалъ до конца, пораженный и возмущенный какой-нибудь мыслью автора, казавшейся чистымъ абсурдомъ непріязненно-настроенному читателю, и, напротивъ, трепеталъ отъ удовольствія, встрѣчая трескучія возраженія людей, болѣе или менѣе единомыслящихъ... Иногда, читая „глупыя статьи“, Крюковъ схватывалъ вдругъ перо и начиналъ нервно писать возраженіе, отвѣтъ... Но никогда эти отвѣты не дописывались и служили лишь самоуслажденіемъ. „Не стоитъ,—думалъ Крюковъ,—даже и возражать“...

II.

Крюковъ былъ одинокъ.

Прежнихъ товарищей, полныхъ единомышленниковъ, не находилось, а съ кѣмъ сталкивалъ случай, Крюковъ не сходился и не чувствовалъ желанія сближаться. Всякое новое знакомство начиналось обыкновенно съ взаимныхъ недовѣрчивыхъ оглядокъ, нащупываній, какой-то „пробы на зубъ“... Времена стали такія подлыя, что лучше не говорить по душѣ... И въ

результатѣ получалось взаимное разочарованіе. „Федотъ, да не тотъ“ — печально думалъ Крюковъ о новомъ знакомцѣ, а новый знакомецъ, знакомясь съ міросозерцаніемъ Крюкова, скептически улыбался и мысленно называлъ Крюкова ископаемымъ...

Со времени своего возвращенія Крюковъ все путешествуетъ и все чего-то ищетъ.

Казалось, Крюковъ хотѣлъ наверстать долгіе годы сидѣнья и потому нигдѣ не осѣдалъ теперь. Многолѣтняя скитальческая жизнь развила въ немъ какую-то жажду бродяжничества, и Крюковъ нигдѣ не могъ обосноваться на болѣе или менѣе продолжительное время; пріѣдетъ въ одинъ городъ, помытарствуетъ въ поискахъ за подходящею работенкою, покорректируетъ мѣстную газету, напишетъ нѣсколько обличительныхъ корреспонденцій въ столичныхъ газетахъ и нѣсколько жиденькихъ статей о кустарныхъ промыслахъ и дешевомъ кредитѣ для народа — въ мѣстныхъ, потолкается среди интеллигентныхъ обитателей и начнетъ тосковать. Ему вдругъ покажется, что онъ пріѣхалъ не туда, что гдѣ-то тамъ есть подходящіе люди, есть болѣе благопріятныя условія для дѣятельности, и что тамъ именно и можно „начать все сызнова“.

Крюкова потянетъ куда-то ѣхать и чего-то или кого-то искать. Онъ собираетъ свои жидкіе пожитки, свои рукописи съ проектами, вырѣзки изъ газетъ съ неопровержимыми фактами живучести русской общины и безграничной власти земли надъ мужичкомъ; укупориваетъ истрепанный чемоданъ со множествомъ клеймъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, и въ легкомъ пальтишкѣ и въ тяжелыхъ сапогахъ-ботфортахъ, какъ Агасферъ, отправляется въ свое безконечное путешествіе...

Городъ Н—скъ, гдѣ мы застаемъ теперь Крюкова, седьмой по счету изъ тѣхъ, въ которыхъ онъ успѣлъ уже пожить послѣ своего возвращенія „оттуда“, и трудно сказать, почему на сей разъ выборъ Крюкова

остановился на этомъ городѣ, ничѣмъ особеннымъ, кромѣ своей грязи и пыли, не замѣчательномъ...

Впрочемъ, послѣднее переселеніе совершилось такъ быстро и неожиданно, что не было времени долго раздумывать и выбирать резиденцію.

Крюковъ пріѣхалъ больной и печальный, потерпѣвъ полнѣйшую неудачу въ своей попыткѣ вновь перейти къ практической дѣятельности... Вышло это слѣдующимъ образомъ.

Крюкову удалось попасть на постройку м.-к—ой желѣзной дороги въ качествѣ дистанціоннаго конторщика. Онъ ѣхалъ въ глухой уголъ С—ой губерніи на службу акціонернаго общества съ затаенною мыслью найти болѣе благопріятныя, чѣмъ въ городахъ, условія для живой, осмысленной работы. Со стороны Крюкова это былъ, конечно, компромиссъ, но онъ твердо вѣрилъ, что это лишь „средство“ и больше ничего... Другіе называли эту постройку дороги прогрессомъ. Крюковъ печально ухмылялся, потому что онъ зналъ, что народъ будетъ только строить эту дорогу, а затѣмъ эта дорога явится для него потокомъ деморализаціи, а для акціонернаго общества - орудіемъ эксплуатаціи этого самаго народа...

На первыхъ порахъ Крюковъ былъ въ восторгѣ: ему удалось убѣдить молодого инженера, начальника дистанціи, сдать въ видѣ опыта небольшой участокъ земляныхъ работъ самостоятельной артели землекоповъ, помимо посредника-подрядчика. Крюковъ долго говорилъ съ этимъ юнымъ инженерикомъ о задачахъ интеллигенціи, и въ концѣ-концовъ тотъ, быть можетъ, искренно, а можетъ быть, просто потому, что не желалъ отдѣлить себя отъ этой интеллигенціи, согласился произвести опытъ.

Крюковъ былъ глубоко убѣжденъ, что этотъ опытъ дастъ прекрасные результаты, и не сомнѣвался, что со временемъ ему удастся расширить это дѣло, совершенно

устранить кулаковъ-подрядчиковъ, ввести рядъ самостоятельныхъ артелей, а затѣмъ соединить ихъ въ одну громадную артель, которая и будетъ всецѣло владѣть всѣми земляными работами на линіи. Въ перспективѣ Крюкову рисовалась грандіозная ассоціація труда съ девизомъ „всѣ для одного и одинъ для всѣхъ“, и Крюковъ ожилъ, помолодѣлъ и почувствовалъ такой приливъ силъ и энергіи, что готовъ былъ и самъ поступить въ артель на равныхъ основаніяхъ... Если онъ не сдѣлалъ этого сейчасъ же, то исключительно изъ осторожности и тактичности, изъ боязни испортить дѣло...

Въ лѣсныхъ дебряхъ стучали топоры, и звонкимъ эхомъ разносился подъ крышею угрюмыхъ сосенъ веселый стукъ складываемыхъ въ штабеля дровъ; падали съ глухимъ ропотомъ столѣтнія деревья, визжала пила, а вдоль просѣки копошились люди, маленькіе, хлопотливые, спѣшно дѣлая и настилая наскоро шпалы и рельсы для рабочихъ поѣздовъ. Людской говоръ, перекликаніе, смѣхъ и ругань какъ-то странно, неумѣстно звучали здѣсь, нарушая безмолвіе окружающей природы и оскорбляя серьезность стараго лѣса, съ его таинственностью, съ его вѣчнымъ сумракомъ и прохладой... Позади, блистая холодной сталью, уже протянулись рельсы, убѣгая далеко-далеко и теряясь гдѣ-то тамъ, за изгибомъ узкой просѣки... Изрѣдка въ лѣсу пронзительно и дерзко кричалъ свистокъ паровоза, обрывался вдругъ и взвизгивалъ. И этотъ рѣзкій визгъ долго носился по лѣснымъ полянкамъ, заставляя прятавшихся окрестъ птицъ пугливо срываться со своихъ мѣстъ и летѣть въ глубь лѣса, въ глухую чащу, гдѣ царствуетъ вѣчная ночь и спокойствіе, и куда дерзкій человѣкъ не приходилъ еще съ топоромъ и пилою... А потомъ и самъ прогрессъ, въ образѣ стараго, хмураго и закоптѣлаго паровоза, медленно выползалъ словно прямо изъ лѣсу и на „кривой“ кряхтѣлъ по старчески, охалъ, отдувался и, громыхая буферами ра-

бочихъ платформъ, нагруженныхъ балластомъ, бряцая сцѣпами, приближался и выросталъ въ какое-то черное чудовище съ двумя тусклыми глазами – стеклами незажженныхъ фонарей. „Уфъ! Уфъ!“—пыхтѣлъ прогрессъ и выбрасывалъ подъ откосы клубы бѣлаго пара, который ложился по придорожному молодняку, по блѣдно-зеленымъ мхамъ, по желтому песку, и таялъ медленно, нехотя... Клубы чернаго дыма съ каждымъ вздохомъ прогресса вылетали изъ кургузой трубы его и расползались по лѣсу, пробиваясь черезъ зелень хвои и листвы къ голубому небу... Люди начинали бѣгать, кричать, суетиться... Сотни лопатъ сбрасывали съ платформъ балластъ, ровняли его вдоль насыпи, похлопывали и сглаживали; сердитое поощреніе дорожнаго мастера висѣло въ воздухѣ; мелькали руки, бороды, лопаты и головы... Здѣсь насыпали балластъ и дѣлали „бермы“, а тамъ, впереди, гремѣло и лязгало желѣзо, гулко стучали молотки—тамъ укладывали рельсы и скрѣпляли ихъ, ежеминутно расширяя владѣнія прогресса... А еще дальше, впереди, рыли „выемки“ и громоздили насыпи...

— Готово?

— Готово!—переговаривались чьи-то дѣловитые голоса.

Паровозъ отвѣчалъ имъ протяжнымъ свисткомъ съ его конечнымъ „ай, ай!“ и, немного подумавъ, начиналъ снова охать, сперва рѣдко и грозно, потомъ чаще и чаще, и весь лѣсъ, казалось, вздрагивалъ отъ испуга и негодованія... Пятясь задомъ, прогрессъ уползалъ, какъ гигантская змѣя, въ глубь просѣки и, изгибаясь полукольцомъ на „кривой“, постепенно задвигался за угрюмыя сосны и исчезалъ. Только дымъ, то черный, то сизый, долго клубился еще надъ лѣсомъ, да глухое уханье еще долго висѣло въ воздухѣ...

Иногда на паровозѣ пріѣзжалъ и Крюковъ. Лицо его, веселое и довольное, выглядывало изъ-за стѣнки тендера еще задолго до остановки поѣзда, и не успѣ-

валъ машинистъ затормозить, какъ Крюковъ соскакивалъ наземь... Толкаясь среди грязныхъ землекоповъ, Крюковъ жалѣлъ ихъ и заговаривалъ о подрядчикѣ; разсказывалъ, что у нихъ на дистанціи выгнали подрядчика, сама артель работаетъ... Мужички почесывались и протяжно говорили „та-акъ“, а потомъ, сплюнувъ въ ладонь, снова принимались рыть и копать жесткую землю...

— Конечно, какъ можно! Вѣстимо, безъ подрядчика слободнѣй...

— Инструменту, баринъ, нѣтъ... Опять залогъ подай!.. А гдѣ его взять, залогъ-отъ?..

Пропаганда изгнанія подрядчиковъ среди землекоповъ не приводила къ желаннымъ результатамъ, а господа инженеры въ большинствѣ случаевъ были такой народъ, что съ ними не стоило и говорить о „задачахъ интеллигенціи“... Такъ что мечты Крюкова о единой грандіозной артели не переходили области фантазій. Пока надо было заняться организаціей маленькой артели на своей дистанціи. Крюковъ старался быть, по возможности, въ сторонѣ и свое участіе проявлялъ лишь чрезъ посредство одного умнаго, грамотнаго и толковаго парня, давая ему совѣты и дѣлая кое-какія разъясненія о значеніи самаго факта...

Организовалась „опытная артель“. Восторгу Крюкова не было конца. Цѣлый рой корреспонденцій полетѣлъ изъ глуши въ столицы и центры умственной жизни, корреспонденцій восторженныхъ, теплыхъ, жизнерадостныхъ, съ выстрѣлами по адресу противниковъ и маловѣрующихъ...

Но прошло лѣто, наступила осень, и опытная артель отцвѣла...

Эта артель (Крюковъ называлъ ее въ корреспонденціяхъ своихъ „крюковской артелью“), какъ водится, установила свои распорядки, свою справедливость, общую отвѣтственность другъ предъ другомъ за про-

гулы, выборнаго старосту и т. д. А такъ какъ прогулы были значительны, да и количество работы превышало силы артели, то и произошла „недодѣлка“, т.-е. работы не были закончены къ назначенному сроку; поправить это дѣло оказалось невозможнымъ, такъ какъ артель не допускала постороннихъ къ работѣ, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ желала отдыхать, а за прогулы присуждала съ товарищей четверть водки, распивала ее и тѣмъ считала нарушенную справедливость возстановленной. Начальникъ участка металъ громы и молніи: „нѣтъ никакихъ гарантій, что работы будутъ закончены къ какому-нибудь опредѣленному сроку, не съ кого спрашивать и некому набить морду!..“

— Имѣть дѣло съ однимъ толковымъ мерзавцемъ, внесшимъ залогъ, гораздо удобнѣе и резоннѣе, чѣмъ съ сотней голоштанныхъ дураковъ! — кричалъ онъ и послалъ къ чорту Крюкова, когда тотъ попытался заговорить объ артельномъ началѣ.

— Подите вы ко всѣмъ чертямъ съ вашими теоріями! Здѣсь дѣло дѣлаютъ, а не въ бирюльки играютъ... Сейчасъ же отобрать работу и сдать подрядчику Еропкину, — строго сказалъ начальникъ участка молодому инженерику, способствовавшему образованію „крюковской артели“:—А этимъ олухамъ объявить, чтобы они шли къ Еропкину и нанимались, если хотятъ жрать хлѣбъ, а не жолуди... Пожалуйста, не мудрите.—„Слушаю!“—покорно отвѣтилъ покраснѣвшій инженерикъ и такъ злобно посмотрѣлъ на Крюкова, что тотъ даже смутился...

Крюковская артель сдѣлалась артелью Еропкина, а Крюковъ—простымъ конторщикомъ, обязаннымъ лишь слѣпо исполнять то, что ему приказываютъ.

Не прошло и недѣли со дня разгрома опытной артели, какъ на голову Крюкова упалъ ударъ еще болѣе тяжелый и неожиданный.

При нагрузкѣ рабочаго поѣзда раздавило буферами молодого парня рабочаго...

Такъ какъ къ этому случаю не было возможности примѣнить „собственную неосторожность“ погибшаго, то общество строителей могло поплатиться значительной суммой денегъ на удовлетвореніе претензіи стариковъ, отца и матери убитаго. На глазахъ Крюкова происходилъ позорный торгъ инженера съ мужикомъ. Мужикъ плакалъ и говорилъ: „Бога вы не боитесь!“, но когда инженеръ предложилъ ему получить за сына триста рублей, мужикъ повалился въ ноги и такъ благодарилъ инженера, что на лицѣ того скользнула тѣнь раскаянія: „можно было дать только сто или полтораста“... Крюковъ сидѣлъ какъ на иголкахъ, краснѣлъ и сдерживалъ свое негодованіе... Ему поручили отправиться въ ближайшій уѣздный городъ, снабдили тремя сотнями, приказали выдать ихъ старику чрезъ нотаріуса и взять нотаріальную расписку съ обязательствомъ не имѣть впредь никакихъ претензій къ обществу...

Крюковъ нашелъ прекрасный выходъ изъ идіотски глупаго положенія: по дорогѣ въ городъ къ нотаріусу онъ началъ уговаривать мужика отказаться отъ трехсотъ рублей и возбудить искъ къ обществу, пообѣщавъ этому мужику цѣлыя тысячи. Мужикъ долго восклицалъ „о?“, но не соглашался и только на крыльцѣ у нотаріуса остановился въ раздумьѣ:

— Тысячу, говоришь?..

— Не меньше. *Твое* дѣло, конечно; только я тебѣ по совѣсти говорю: откажись и подай въ судъ!..

— А то подать?.. а?.. Надо подать... Разя сынъ этого стоитъ?..

— Пойдемъ въ трактиръ, чайку испьемъ, поговоримъ!—предложилъ Крюковъ.

За чаемъ мужикъ согласился отказаться отъ денегъ. Крюковъ поѣхалъ обратно и сообщилъ начальнику участка, что сдѣлка не состоялась, такъ какъ

мужикъ потребовалъ вдругъ ни съ того, ни съ сего 1,000 рублей...

А на другой день послѣ этого въ контору заявился этотъ самый мужикъ и чистосердечно признался, что его „сбилъ съ мыслей“ баринъ, съ которымъ они ѣхали въ городъ, уговорилъ не брать денегъ, а жаловаться въ судъ.

— Прохвостъ!.. Я такъ полагаю, что не взялъ ли онъ эти деньги себѣ?.. Я согласенъ, вполнѣ согласенъ, ваше благородіе!.. Довольно съ меня: избу новую поставлю и лошадь куплю... Давай деньги!..

— Ничего не получишь. Давали -- не бралъ, а теперь поди, жалуйся!—закричалъ инженеръ.

Мужикъ опять бухнулся въ ноги и началъ плакать. Теперь онъ соглашался взять двѣсти рублей и просилъ только накинуть трешну „на поминъ души“.

На чемъ покончилъ инженеръ съ мужикомъ — неизвѣстно, но съ Крюковымъ онъ покончилъ весьма опредѣленно: вызвавъ его въ контору съ дистанціи, инженеръ сказалъ Крюкову:

— Получите расчетъ! Намъ такихъ служащихъ не надо...

Крюковъ собралъ свои пожитки, рукописи и книги и перебрался въ уѣздный городишко. Отсюда онъ разослалъ во всѣ концы корреспонденціи о возмутительномъ фактѣ и, когда, мѣсяца черезъ полтора, получилъ гонораръ, нанялъ подводу и добрался до города Н—ска, гдѣ мы теперь и застаемъ Крюкова.

III.

Съ чувствомъ душевной и физической усталости пріѣхалъ Крюковъ въ Н – скъ. Временный подъемъ силъ, жизнерадостное настроеніе и нравственное удовлетвореніе послѣ описанной выше неудачи смѣнились полнѣйшимъ упадкомъ, тоской и сознаніемъ чего-то па-

костнаго и мерзкаго, ощущеніемъ какой-то странной виновности передъ самимъ собою... „Пошелъ на службу къ капиталу во имя чистой и святой идеи, допустилъ нѣкоторый компромиссъ съ совѣстью во имя этой идеи— и въ концѣ концовъ остался въ дуракахъ, попалъ на положеніе прислужника!“ Надо было въ тотъ моментъ, когда ему приказывали везти мужика и обдуть его по всѣмъ правиламъ узаконеній,—заявить, что онъ, Крюковъ, считаетъ это подлостью, низостью, недостойной не только интеллигентнаго, но даже просто мало-мальски порядочнаго человѣка, имѣющаго каплю, одну только каплю неподкупной совѣсти... Надо было сказать: „я болѣе не служу вамъ и вашимъ подлостямъ“. А Крюковъ промолчалъ и получилъ „расчетъ“...

— Этакая пакость!.. Уфъ!..

Размышляя о своей неудачѣ, Крюковъ приписывалъ ее всецѣло винѣ инженеровъ... „Были бъ другіе люди— все пошло бы прекрасно, а эти сытые господа съ алчущими карманами и съ закормленной совѣстью неспособны отрѣшиться, хотя на минуту, отъ интересовъ мамона и интересовъ золотого кумира, въ услуженіи у котораго они находятся“... Могли ли быть на этомъ дѣлѣ инженеры, единомыслящіе съ Крюковымъ, — такого вопроса не являлось у Крюкова...

— Этакая пакость. При другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ, можно бы создать кое-что...

По пріѣздѣ въ Н—скъ Крюковъ прежде всего сдѣлался тѣмъ, чѣмъ, кажется, всю жизнь суждено было ему быть, а именно: „постояльцемъ“. Снялъ дешевую комнату въ одномъ изъ грязныхъ и отдаленныхъ кварталовъ, привезъ свой чемоданъ, развѣсилъ на гвоздикахъ, по стѣнамъ, свой болѣе чѣмъ скромный гардеробъ и потребовалъ самоваръ. Цѣлый день Крюковъ усиленно пилъ чай и крупными шагами ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, затѣмъ позвалъ квартирную хозяйку.

— У васъ, кажется, есть сынъ?

— Есть сынокъ, одинъ...

— Гимназистъ?

— Да.

— Учится хорошо?

— Слава Богу!.. Только по латинскому прихрамываетъ... Трудный языкъ, не дается...

Хозяйка тяжело вздохнула.

— Можетъ быть, надо репетитора? а?

— Нѣтъ. Гдѣ ужъ намъ!.. И такъ еле-еле перебиваемся...

— Гм...

Крюковъ потеребилъ бородку и подумалъ.

— А сколько вамъ надо впередъ за комнату? — спросилъ Крюковъ.

Хозяйка привѣтливо улыбнулась и, ожидая пріятныхъ послѣдствій отъ такого вопроса, поторопилась сообщить, что „у нихъ въ Н—скѣ всегда ужъ за мѣсяцъ впередъ полагается".

— Ага!—глубокомысленно выпустилъ Крюковъ и, разставивъ ноги и спрятавъ руки въ карманахъ брюкъ, началъ что-то соображать.

— Можно и за мѣсяцъ впередъ, — разрѣшился наконецъ Крюковъ послѣ продолжительнаго напряженнаго молчанія съ обѣихъ сторонъ, но сейчасъ же, къ удивленію хозяйки, добавилъ:

— Только не сейчасъ. Это—главное. Дайте собраться съ мыслями...

— Да вы, батюшка, собирайтесь съ мыслями, я вамъ мѣшать не буду, только впередъ-то уплатите!

— Да я вамъ, матушка, про то и толкую, что этихъ самыхъ... денегъ-то покуда у меня нѣтъ... Только на текущіе расходы осталось...

— Какъ же это?.. У насъ въ Н—скѣ такъ ужъ принято, чтобы за мѣсяцъ впередъ...

— Не вѣрите? Не угодно ли въ такомъ случаѣ взять пока, такъ сказать, въ обезпеченіе, мой новый сюртукъ?

Съ этими словами постоялецъ снялъ съ гвоздика свой новый сюртукъ, сшитый ровно семь лѣтъ тому назадъ, и протянулъ его къ хозяйкиной физіономіи.

— Вотъ-съ извольте получить!.. Только, чтобы моль не съѣла...

— Зачѣмъ же? Я и такъ повѣрю,—печально произнесла хозяйка, полагая, что ничего лучшаго, какъ „такъ повѣрить“ въ данномъ случаѣ не оставалось.

Покончивъ переговоры съ квартирной хозяйкой, Крюковъ началъ искать подходящаго заработка или, какъ онъ выражался, труда независимаго и по существу своему не противорѣчащаго убѣжденіямъ. (Неудачная попытка по постройкѣ дороги была своего рода исключеніемъ и теперь лишь еще болѣе сдѣлала обязательнымъ для Крюкова такой трудъ). Отыскивался такой трудъ весьма туго, а Крюковъ скорѣе соглашался по недѣлямъ питаться однимъ чернымъ хлѣбомъ, чаемъ и воблой, чѣмъ итти на компромиссы съ врагами. И надо сказать, что въ этомъ отношеніи Крюковъ былъ закаленъ: для него, казалось, не существовало вовсе заботъ о пропитаніи. „Кусокъ хлѣба и стаканъ чаю,— говорилъ онъ, — можно всегда заработать безъ уступокъ“. Потребности Крюкова были доведены до возможнаго только для немногихъ избранныхъ натуръ минимума, и права желудка попирались имъ самымъ наглымъ образомъ... Крюковъ безъ малѣйшаго колебанія бросалъ работу, если ему почему-либо казалось, что эта работа покушается на цѣломудріе его убѣжденій.

Прежде всего Крюковъ обыкновенно совался въ редакціи газетъ. На сей разъ онъ поступилъ такъ же.

— Хозяюшка?

— Что угодно, батюшка?

— У васъ здѣсь вѣдь есть газеты?

— Какъ же, есть, двѣ газеты... Ругаются все между собою...

— Не выписываете?

— Нѣтъ, гдѣ намъ?.. А вотъ у сосѣдей выписываютъ можно попросить.

— Попросите, голубушка!

Хозяйка принесла „Н—скій Листокъ“ и сказала:

— Въ этомъ похлеще пишутъ!

Крюковъ внимательно прочиталъ его, отыскивая „направленіе“, но никакого направленія не обнаружилъ.

Облачившись въ свою новую сюртучную пару, Крюковъ вышелъ на улицу. Чтобы ознакомиться съ другой газетой, онъ зашелъ въ молочную лавку. Попросивъ себѣ стаканъ молока, онъ схватился за старый номеръ „Н—скаго Вѣстника“ и началъ напряженно отыскивать „направленіе“... Передовая статья о крестьянскомъ банкѣ. „Дѣльно написано!“ То же самое можно было прочитывать время отъ времени въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“...

Въ сосѣдствѣ съ Крюковымъ сидѣлъ, за отдѣльнымъ столикомъ, какой-то господинъ въ очкахъ и сосредоточенно смотрѣлъ въ газету.

Крюковъ мимолетнымъ взглядомъ окинулъ этого господина въ очкахъ, а кстати поинтересовался, что этотъ господинъ читаетъ? Въ рукахъ его были „Русскія Вѣдомости“.

Довольно интеллигентное лицо, а главное „Русскія Вѣдомости“ дали смѣлость Крюкову заговорить съ незнакомцемъ:

— Извините,—началъ Крюковъ, приблизившись къ этому господину: — Вы, кажется, мѣстный аборигенъ!.. Скажите, пожалуйста, которая изъ здѣшнихъ газетъ приближается къ этому органу и вообще каково ихъ направленіе?

— Гм...

Господинъ съ сдержанной улыбкою взглянулъ на Крюкова.

— Вы говорите, вѣроятно, о чистоплотности? Я,

батюшка, читаю много газетъ, столичныхъ и провинціальныхъ, но... собственно направленія никакого и нигдѣ не вижу... Можетъ быть, оно и есть, но во всякомъ случаѣ его можно видѣть только подъ микроскопомъ...

— Позвольте съ вами познакомиться!—откланиваясь, произнесъ Крюковъ, которому очень понравился отвѣтъ господина въ очкахъ:—Крюковъ! Бывшій студентъ.

— Очень пріятно... Земскій начальникъ Оболдуй-Тараканов. И тѣмъ болѣе пріятно, что я тоже универсантъ...

Крюковъ какъ-то опѣшилъ и смутился. На лицѣ его застыла мина неожиданности.

— Вы, видимо, не здѣшній? — спросилъ Оболдуй-Тараканов.

— Нѣтъ, пріѣзжій...

— По какимъ дѣламъ? И откуда?

— Собственно... изъ... Орла... Получите за молоко!— съ какимъ-то отчаяніемъ крикнулъ вдругъ Крюковъ и, не допивши молока, сухо поклонился Оболдуй-Тараканову и торопливо вышелъ, вѣрнѣе вылетѣлъ изъ молочной лавки и вернулся домой въ самомъ скверномъ расположеніи духа, словно ему нанесли личное оскорбленіе или сдѣлали какую-нибудь непріятность.

— Околоточный приходилъ... Вашъ видикъ требовалъ, — сообщила Крюкову хозяйка тономъ полнаго неудовольствія своимъ квартирантомъ.

— У меня нѣтъ никакихъ видиковъ... Затеряны гдѣ-то. Меня должны знать въ полиціи, — отвѣтилъ хмуро Крюковъ.

На лицѣ хозяйки отпечаталось страшное недоумѣніе. Выйдя за дверь постояльца, она даже остановилась, пораженная новымъ достоинствомъ своего квартиранта. „Вотъ золото-то пустила!“ — вздыхая, подумала она и печально качнула своей головою.—„Не только за мѣсяцъ впередъ, а даже и документовъ нѣтъ!“...

А человѣкъ безъ документовъ походилъ по комнатѣ, потомъ легъ на кушетку и отдался размышленіямъ.

Подъ эти размышленія незамѣтно подкрался зимній вечеръ. Наверху, по обыкновенію, началось разыгрываніе гаммъ и экзерсицій на піанино; гимназистъ началъ зудить уроки „къ завтраму“...

Крюковъ долго прислушивался къ этимъ звукамъ и къ своимъ ощущеніямъ, и безотчетная грусть начинала потихоньку заползать въ его душу... Въ такихъ случаяхъ Крюковъ имѣлъ обыкновеніе ходить къ „своимъ“. Но „своихъ“ не было... Полное одиночество стояло передъ взорами Крюкова щемящимъ сердце призракомъ, какой-то холодъ пробѣгалъ по всему тѣлу, и ему казалось снова, что онъ пріѣхалъ не туда...

— Тоска!..

Провалявшись часовъ до семи на кушеткѣ, Крюковъ всталъ и началъ думать, куда итти искать работы... Завтра онъ отправится въ редакцію „Вѣстника“. Нѣтъ ли какой-нибудь статейки, чтобы утилизировать ее въ смыслѣ гонорара?..

Крюковъ раскрылъ чемоданъ и сталъ рыться въ немъ, вытаскивалъ и просматривалъ свои тетради и замѣтки... Вотъ статья: „Опытъ организаціи крюковской артели и причины ея гибели“, а вотъ капитальная вещь: „Какъ избавить нашу деревню отъ кулаковъ и міроѣдовъ“; этотъ проектъ — плодъ многолѣтнихъ трудовъ уединенной жизни автора; онъ начатъ еще въ Сибири и немного не оконченъ, не достаетъ фактическихъ данныхъ и нѣкоторыхъ цифръ, но въ общемъ вещь довольно солидная. „Надо заняться и кончить“.

Крюковъ взялъ въ руки довольно объемистую тетрадь и углубился въ чтеніе.

Суть крюковскаго проекта заключалась въ слѣдующемъ: необходимо устроить особые „трудовые поселки“, куда и выселять всѣхъ кулаковъ, какъ для охраны цѣломудрія деревни, такъ и для нравственнаго

исправленія ихъ самихъ. Въ главѣ „что такое нашъ кулакъ“ авторъ не жалѣлъ мрачныхъ красокъ. Что-то чудовищно-злое и безнравственное вставало передъ читателемъ при чтеніи этой главы; кулакъ, по мнѣнію автора, продуктъ деморализаціи народа ложной культурою, продуктъ заразы города, это какой-то „выродокъ“ со злой волей и безъ всякаго сердца, мало похожій даже и на человѣка... „Чумазый идетъ!“— заканчивалась статья, и слѣдовалъ рядъ нервныхъ точекъ...

— Недурно! — произнесъ Крюковъ, отрываясь отъ своей рукописи.

На другой день онъ снова облачился въ свою новую пару и отправился въ редакцію „Н—скаго Вѣстника“.

— Редактора можно видѣть?..

— Редактора нѣтъ. Къ секретарю пожалуйте, — сообщилъ конторщикъ.

— Что угодно?—непривѣтливо буркнулъ секретарь, сдѣлавъ кислую гримасу и отрываясь отъ чтенія.

— Вотъ рукопись... Быть можетъ, найдете удобнымъ помѣстить?..

Крюковъ вынулъ изъ бокового кармана тетрадь, свернутую въ трубку, и положилъ на столъ секретаря.

Это былъ проектъ „Какъ избавить нашу деревню отъ кулаковъ и міроѣдовъ“.

Секретарь, прочитавъ заглавіе рукописи и увидя толщину тетрадки, сбросилъ съ лица кислую мину и положилъ на него деликатную улыбку.

— Сейчасъ я вамъ, конечно, ничего не могу сказать... Потрудитесь зайти черезъ нѣсколько дней...

— Въ среду можно?..

— Въ среду?.. Гм... Сегодня у насъ понедѣльникъ!.. Гм...

— Ну, въ четвергъ?..

— Не знаю... Столько, знаете, работы... Гм... въ чет-

— Въ пятницу?..

— Нѣтъ, потрудитесь ужъ лучше въ понедѣльникъ!..—умоляюще произнесъ секретарь.

— А вотъ еще небольшая замѣтка: „Опытъ организаціи артели“...—глухо сказалъ Крюковъ, вынимая дрожащей рукою изъ кармана свернутый листъ бумаги...

Секретарь развернулъ и наскоро пробѣжалъ взоромъ по строкамъ.

— Это про „крюковскую артель“, если не ошибаюсь?—спросилъ секретарь, внезапно отрываясь отъ листа бумаги...

— Да... О моей артели...

— Вы—г. Крюковъ?

— Да...

— Виноватъ!.. Садитесь, пожалуйста!.. Это очень интересно... Это, конечно, пойдетъ...

— Скоро?

— А вамъ это важно?

— Очень важно, потому что необходимы деньги.

— Я вамъ предложу взять авансомъ... Сколько же тутъ? Гм? 300—350 строкъ?... Возьмите пока 10 рублей!.. Потомъ сочтемся... Надѣюсь, вы будете сотрудничать и впредь?..

Изъ полученнаго совершенно неожиданно аванса Крюковъ хотѣлъ заплатить впередъ за мѣсяцъ хозяйкѣ, но сапоги отказывались служить, разъѣзжаясь по всѣмъ швамъ. Крюковъ купилъ сапоги, а ботфорты отдалъ въ починку.

Вечеромъ онъ написалъ новую замѣтку: „Еще нѣсколько словъ о крюковской артели“.

IV.

Городъ *Н—скъ успокоился* отъ дневныхъ треволненій, стихъ и *погрузился* въ сонъ...

Улицы *опустѣли*. Яркіе огни погасли. Магазины и

лавки угрюмо выглядывали въ темнотѣ ночи своими наглухо-запертыми дверями и окнами. Керосиновые фонари мерцали красноватымъ пламенемъ, слабо освѣщая часть тротуаровъ, бѣлыхъ стѣнъ ближайшихъ каменныхъ зданій и золоченыя вывѣски. Тамъ и сямъ, на перекресткахъ улицъ, стояли „на очереди“ сонные извозчики Изрѣдка торопливой походкою мелькали тѣни запоздавшихъ обывателей.

Въ типографіи „Н—скаго Вѣстника“ было сонно и тихо. Помѣщеніе „наборной“ скупо освѣщалось маленькими коптящими лампочками, скромно ютившимися на шрифтовыхъ „кассахъ“. Оранжевое пламя этихъ лампочекъ, съ тонкими струйками копоти, освѣщало клѣтчатые ящики съ свинцовымъ шрифтомъ, кусокъ сѣрой, покрытой плѣсенью стѣны, кусокъ оконнаго косяка и часть грязнаго, залитаго чѣмъ-то пола.

Въ аркахъ и сводахъ, по угламъ, висѣли густыя сумерки. Небольшія окна, забранныя желѣзными рѣшетками, придавали „наборной“ мрачный, угрюмый характеръ... Ручные станки для оттисковъ афишъ и объявленій, переплетный обрѣзъ и прессъ выстроились въ рядъ, вдоль всего помѣщенія, параллельно съ конторками-кассами. На большомъ столѣ, рядомъ съ сверстаннымъ номеромъ газеты, согнувшись въ дугу, спалъ чуткимъ тревожнымъ сномъ метранпажъ Игнатьевъ. Его худое и блѣдное лицо было изборождено морщинами и отливало зеленоватымъ оттѣнкомъ; при свѣтѣ, падавшемъ на голову Игнатьева отъ ближайшей лампочки, это лицо казалось мертвымъ, безжизненнымъ, и, если бы метранпажъ Игнатьевъ не свистѣлъ носомъ и время отъ времени не шевелилъ щетинистыми усами, можно было бы подумать, что онъ никогда уже болѣе не проснется.

Изъ-подъ стола торчали ноги въ худыхъ и стоптанныхъ башмакахъ: тамъ спалъ „мальчикъ“, очередь котораго выпала на сегодняшнюю ночь.

Въ „печатной“ было тоже темно. Машинистъ дремалъ, полулежа на подоконникѣ, а „накладчикъ“, грязный, испачканный типографской краскою, валялся на полу, около машины.

Только въ маленькой комнаткѣ безъ оконъ, рядомъ съ „печатной“, не спали: здѣсь сидѣли на полу два здоровенныхъ чумазыхъ молодца — „вертельщики“ и играли въ засаленныя, истрепанныя карты, выжидая, когда сердитый спросонья машинистъ крикнетъ громко: „къ машинѣ!“

Редакція „Н—скаго Вѣстника“ состояла изъ небольшой въ два окна комнаты, сплошь заваленной разнымъ бумажнымъ хламомъ. На одномъ столѣ, гдѣ занимался секретарь, казалось, никогда никто не убиралъ, зато на другомъ, предназначенномъ для внезапныхъ визитовъ редактора-издателя, былъ образцовый порядокъ, На полу валялись изрѣзанныя и смятыя газеты, клочки бумагъ, обрывки бандеролей.

Комната освѣщалась большой бельгійской лампой, стоявшей на секретарскомъ столѣ. Здѣсь было тихо, только большіе стѣнные часы медленно и солидно стукали массивнымъ маятникомъ, отбивая долгія секунды.

Секретарь редакціи дремалъ, положивъ голову на руки, за столомъ. Передъ секретаремъ стояла недопитая бутылка пива.

Вотъ онъ приподнялъ съ рукъ голову и уставился взоромъ въ пространство; потомъ посмотрѣлъ на карманные часы и склонился...

Стѣнные часы зашипѣли, а спустя нѣсколько мгновеній, мирный сонъ окружающаго былъ нарушенъ ихъ громкимъ, отчетливымъ боемъ. Медленно, медленно раздавались эти удары и гулко разносились по сонной типографіи.

Метранпажъ вздрогнулъ при первомъ ударѣ, открылъ глаза, тупо посмотрѣлъ вокругъ и снова ткнулся носомъ. Машинистъ зѣвнулъ и сталъ чесаться. Вер-

тельщики перестали играть въ „три листика“ и стали молча считать удары.

Но пробилъ послѣдній двѣнадцатый ударъ, его металлическій отзвукъ долго носился подъ угрюмыми сводами типографіи и замеръ въ тишинѣ ночи.

И опять воцарилась тишина.

Такъ прошелъ еще часъ.

Наконецъ завизжала на блокѣ задняя дверь, громко стукнула стеклами и раздался рѣзкій дѣтскій голосокъ:

— Цензура!

Въ типографію вошелъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, проворный и смышленый. Въ рукахъ его былъ черный портфель съ цензурными оттисками.

Метранпажъ моментально очнулся, соскочилъ со стола, встряхнулся,—и сна какъ не бывало. Подъ столомъ зашевелились торчавшія ноги, и оттуда вылѣзъ мальчикъ, грязный и ободранный, съ соннымъ, испачканнымъ краскою личикомъ и съ всклокоченной головой.

— Цензу-у-ра!

— Цензура!—прокричали радостные голоса въ разныхъ углахъ.

Машинистъ всталъ съ подоконника и поднялъ опущенный фитиль лампы

Въ печатной сдѣлалось свѣтло и уютно.

— Будетъ дрыхнуть-то!—невольно окрикнулъ машинистъ и ткнулъ ногой „накладчика“.

Шумъ въ типографіи быстро донесся до ушей секретаря. Этотъ шумъ былъ такъ характеренъ, что секретарь соскочилъ со стула и кинулся въ типографію, желая поскорѣе узнать, что „не прошло“ и собственными глазами обозрѣть гранки. Въ дверяхъ онъ столкнулся съ метранпажемъ. Послѣдній несъ въ рукахъ гранки, презрительно трясъ ихъ и посмотрѣлъ сердито и недовольно.

— Что?—тревожно спросилъ секретарь, сверкнувъ глазами.

Метранпажъ промолчалъ... Онъ только безнадежно махнулъ рукою, положилъ гранки на столъ и ушелъ изъ комнаты.

Секретарь сѣлъ за столъ и дрожащими руками началъ разбирать оттиски. Красный карандашъ рѣзко выдѣлялся на бѣломъ фонѣ бумаги; на поляхъ кое-гдѣ были сдѣланы сердитымъ почеркомъ надписи: „ерунда“, „мнѣ ничего неизвѣстно“, „оставить впредь до полученія мной оффиціальнаго увѣдомленія“, „это—сплетни“ и т. д.

Секретарь застылъ въ позѣ полнѣйшаго отчаянія. Схвативъ звонокъ, онъ энергично затрясъ имъ. Явился метранпажъ.

— Корректоръ здѣсь?

— Нѣтъ его...

— Опять пьетъ? запилъ?

Метранпажъ промолчалъ и отвернулся: „не мое дескать дѣло“.

— Что же я буду дѣлать?.. Опять до разсвѣта сидѣть здѣсь?.. Уфъ!.. Чортъ знаетъ что такое...

Случайно взоръ секретаря упалъ на замѣтку: „Еще нѣсколько словъ о крюковской артели“, крестъ на крестъ перечеркнутую краснымъ карандашемъ, и секретарь выдумалъ комбинацію! Отыскавъ на рукописи адресъ автора, онъ послалъ къ нему мальчика съ запиской: „Зайдите сейчасъ же. Необходимо переговорить“.

— Живо! вотъ тебѣ на извозчика...

Минутъ черезъ двадцать явился и Крюковъ.

Онъ удивленно посмотрѣлъ на секретаря, войдя въ редакцію, и какъ бы спрашивалъ, что бъ могло значить это экстренное приглашеніе.

— Здравствуйте! Садитесь. Видите?

Крюковъ посмотрѣлъ и увидалъ свое погибшее произведеніе...

— Я собственно пригласилъ васъ еще по одному дѣлу: не согласитесь ли вы принять на себя корректуру

газеты?.. Нашъ корректоръ опять запилъ... Способный, интеллигентный человѣкъ, бывшій студентъ университета, но пьянствуетъ ужасно... Жаль, но наше дѣло такое, что ждать вытрезвленій не приходится... Бились, бились, но рѣшили, наконецъ, покончить...

— Я могу—временно, до вытрезвленія вашего корректора...—произнесъ Крюковъ.

— Нѣтъ, я васъ прошу принять корректуру окончательно!.. 25 рублей въ мѣсяцъ... Дежурство — ночное, отъ 8—9 часовъ до 2, а иногда и до 3 часовъ ночи...

— Что же, я согласенъ.

— Въ такомъ случаѣ будьте любезны остаться теперь здѣсь и начать работу... Вамъ это дѣло знакомо?

— Очень хорошо!.. Собаку съѣлъ...

— Тѣмъ лучше!.. Сегодня много будетъ возни... Весь номеръ придется переверстывать... Понаблюдите, чтобы не проскочило что-нибудь вычеркнутое... А я не могу... Усталъ до смерти... Поѣду... Прямо въ постель.

Между тѣмъ непріятное извѣстіе о томъ, что печатаніе номера отлагается на неопредѣленно-долгое время, быстро распространилось по типографіи. Метранпажъ угрюмо слонялся по закутаннымъ темнотою угламъ и, покуривая цигарку, недовольно поплевывалъ въ сторону. Механикъ ругался вслухъ, никого не стѣсняясь, причемъ его брань относилась вообще къ жизни и ни къ кому — въ частности, ибо ему было все равно, отъ кого бы ни зависѣла эта вторая безсонная ночь...

Накладчикъ насвистывалъ „Матаню“, ходя вокругъ машины и похлопывая по глянцевитымъ, марающимъ краскою валамъ ея.

Только вертельщики отнеслись безразлично къ факту: не все ли равно—вертѣть тяжелое колесо машины съ 12 ночи до 4 утра, или отъ 4 утра до 8? Пожалуй, послѣднее еще лучше, такъ какъ въ азартѣ своего сраженія въ „три листика“ вертельщики позабыли о времени и пространствѣ...

Пробило два часа. Новый корректоръ сидѣлъ въ маленькой комнаткѣ безъ оконъ и корректировалъ...

Въ „наборной“ шла горячая работа. Полупьяный наборщикъ Соколовъ, съ опухшей физіономіей, всклокоченный, небритый и злой, стоялъ у кассы и набиралъ объявленіе изъ „Правительственнаго Вѣстника“, чтобы заткнуть имъ излишекъ пустыхъ мѣстъ въ сверсткѣ.

— Песъ васъ дери!—протрезвиться не дадутъ, анаѳемы! Каторжная жизнь, будь она проклята совсѣмъ!—ворчалъ Соколовъ. Руки его дрожали и совались не туда, куда слѣдуетъ; въ головѣ били молотомъ; глаза слипались, а въ груди жгло и рѣзало.

Блѣдный мальчикъ, съ впалыми лихорадочно-горящими глазами, правилъ „послѣднюю сводку“: онъ проворно вытаскивалъ шиломъ изъ набора „ошибки“—буквы и такъ же проворно замѣнялъ ихъ новыми, пристукивая черенкомъ шила... Метранпажъ возился тутъ же, около сверстаннаго номера, ворчалъ, вытаскивалъ гранки набора и, перенося ихъ на другой столъ, тоже проклиналъ жизнь.

V.

Завизжала на блокѣ задняя дверь, гулко хлопнула стеклами,—и типографія огласилась зычнымъ густымъ баритономъ:

Эхъ вы, братцы мои,
Вы това-а-рищи-и...

— Не ори, Миша!—хрипло крикнулъ Соколовъ:—у насъ новый, братъ, корректоръ...

Сослужи-и-те вы мнѣ-нѣ
Слу-у-жбу вѣрную...

ревѣлъ голосъ.

Посреди типографіи выросла высокая худощавая

фигура въ валеныхъ сапогахъ, въ лѣтнемъ пальто гороховаго цвѣта, съ сдвинутой на затылокъ шляпой и съ бутылкою водки въ рукѣ...

— Воронинъ! Мишка! Водка есть? — осипшимъ радостнымъ голосомъ воскликнулъ Соколовъ и бросилъ работу.

— Есть, братецъ! Пей! пей и горе залей! — пробасилъ устраненный корректоръ и снова громогласно запѣлъ:

Ужъ вы сбро-о-сьте меня-я
Въ Во-о-лгу ма-а-а-тушку-у...

Соколовъ взялъ у Воронина бутылку и прямо изъ горлышка сталъ съ жадностью глотать напитокъ.

— Опять, Михаилъ Петровичъ, запили? — спросилъ откуда-то дѣтскій голосъ.

— Да, опять, милый мальчикъ Синицинъ, опять!— пробасилъ Воронинъ.

— Секретарь сидѣлъ-сидѣлъ, да не дождался васъ... Самъ хотѣлъ корректировать, а потомъ другого нанялъ...—пропищалъ мальчикъ.

— Что тамъ корректировать! Не въ этомъ дѣло... Всѣхъ ошибокъ не исправишь, братцы... Жизнь надо корректировать...

Всѣ расхохотались.

— А кто тамъ, этотъ новый?.. Надо познакомиться...

Воронинъ пошелъ по направленію къ корректорской.

— Оставь, Миша! Не ходи!..

— Бросьте!..

— Нѣтъ, надо познакомиться... Можетъ быть, прохвостъ, а можетъ быть, и порядочный человѣкъ... — пробасилъ Воронинъ и пошелъ.

— Мое почтеніе, милостивый государь!.. Позвольте познакомиться, — началъ Воронинъ, остановившись въ дверяхъ корректорской.

Крюковъ оглянулся и молча поклонился.

— Бывшій студентъ пятаго курса физико-математическаго факультета Императорскаго Казанскаго университета Михаилъ Воронинъ!.. Говорю на нѣмецкомъ и французскомъ... Ne pouvez vous pas répondre français?

— Виноватъ,—смущенно произнесъ Крюковъ, слегка приподнимаясь со стула,—я говорю только на одномъ русскомъ языкѣ.

— И то, братъ, навѣрно, плохо? а?.. Давай руку! Кто ты такой?

— Гм...

Крюковъ подалъ руку и сказалъ:

— Я—тоже бывшій студентъ...

— Милый!.. Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ!..

Воронинъ схватилъ въ охапку Крюкова, крѣпко сжалъ его въ объятіяхъ и началъ цѣловать, обдавая запахомъ перегорѣлой водки...

— Вы меня отпустите... Ей-Богу, некогда... Потомъ, послѣ...

— Сколько они тебѣ дали жалованья?—грозно спросилъ Воронинъ, выпуская Крюкова изъ объятій.

— Двадцать пять рублей въ мѣсяцъ.

— Подлецы!.. Я, братъ, получалъ тридцать... А тебѣ сбавили... Гнутъ, мерзавцы!..

— Извините... право некогда...

— Ну, корректируй! Песъ съ тобой! Еще выпьемъ какъ-нибудь... Ну... прощай!..

Воронинъ опять схватилъ Крюкова и, поцѣловавъ въ носъ, пошатываясь, вышелъ изъ корректорской въ наборную.

Ужъ вы, бра-а-тцы мои,
Вы-ы...

— Братцы-то братцы, а выпить-то нечего,—прохрипѣлъ мрачно Соколовъ. Воронинъ полѣзъ въ карманъ и выбросилъ на столъ горсть серебра и мѣди. Нѣ-

сколько монетъ упало на полъ и покатилось въ разныя стороны.

— Ребята! Кто за водкой? — прокричалъ Воронинъ.

— Теперь не достанешь, всѣ кабаки заперты.

— У Митрича можно... Со двора надо! — посовѣтовалъ накладчикъ и изъявилъ готовность сбѣгать.

— Мы добудемъ! Завсегда можно... Пустяки!.. — говорилъ онъ, собирая съ полу деньги.

Минутъ черезъ десять онъ принесъ новую бутылку водки и вынулъ изъ кармана соленый огурецъ.

— Вотъ выпивка, а вотъ закуска! — произнесъ накладчикъ, ставя бутылку на окно и кладя огурецъ рядомъ.—Чай, и мнѣ дадите за труды?.. Что-то въ горлѣ сидитъ...

— Пей, братцы!

Пили всѣ, не исключая мальчика Синицина.

Соколовъ, большой любитель пѣнія, сталъ упрашивать Воронина спѣть что-нибудь:

— Спой, Миша, что-нибудь печальное!.. Ахни „не одна-то въ полѣ дороженька“, — сипло умолялъ онъ Воронина.

Метранпажъ останавливалъ: онъ боялся внезапнаго пріѣзда „хозяина“—такъ называли рабочіе редактора.

— Онъ вамъ такъ споетъ, что заплачете...

— Ничего не будетъ... Спой, Миша!

— Моя пѣсенка, братцы, спѣта... — печально произнесъ Воронинъ и опрокинулъ горло бутылки въ ротъ.— Ну, чортъ съ вами, спою...

— Спой эту... Про Еремушку-то!..

Воронинъ передалъ бутылку Соколову, всталъ посреди типографіи въ позу артиста на эстрадѣ и громко, съ паѳосомъ, запѣлъ:

Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней...

Здѣсь голосъ пѣвца оборвался. Гулкое эхо разнеслось подъ сводами типографіи и замерло...

Крюковъ тревожно вслушивался въ эту пѣснь пьянаго человѣка, и его сердце сжималось болью, и изъ глазъ падали на бумагу рѣдкія слезы...

— Не могу, братцы!.. Голосъ пропилъ...

Соколовъ съ какой-то странной нѣжностью обнялъ Воронина и сталъ цѣловать его:

— Душевный ты человѣкъ, Миша! Люблю тебя! На, выпей! — говорилъ онъ, тыча въ ротъ Воронина горлышко бутылки.

Когда Крюковъ кончилъ работу и проходилъ чрезъ наборную, онъ увидалъ подъ столомъ Соколова и Воронина; обнявъ другъ друга, они громко храпѣли.

Въ окна уже смотрѣло блѣдное утро. Въ типографіи было совершенно тихо. Только изъ печатной слышалось бряканье машины да шелестъ большихъ листовъ газетной бумаги...

Вернувшись домой, Крюковъ повалился, не раздѣваясь, на свою скрипучую постель и, какъ убитый, безъ движенія, проспалъ до шести часовъ вечера. Онъ, быть можетъ, проспалъ бы и дольше, если бы его не разбудила хозяйка, которая стала подозрѣвать, не померъ ли ужъ ея новый „квартирантъ безъ документовъ“.

Вечеромъ у Крюкова былъ „визитеръ“. Пьяный Воронинъ отыскалъ какъ-то квартиру новаго корректора и, несмотря на протесты хозяйки, вломился въ его комнату.

— Я нашелъ тебя, другъ!.. Ты меня понимаешь... Не осудишь... Дай мнѣ, ради Бога, тридцать копеекъ!.. Умираю безъ водки... Я, братъ, такой же интеллигентный пролетарій, какъ и ты... Инвалидъ я, братецъ!.. Не вини меня, другъ мой... Да, инвалидъ...

Крюковъ далъ ему тридцать копеекъ. Воронинъ поцѣловалъ его и ушелъ.

VI.

Такимъ образомъ „трудъ независимый и по существу не противорѣчащій убѣжденіямъ“ былъ найденъ Крюковымъ на этотъ разъ очень легко и скоро.

Крюковъ сталъ ночнымъ корректоромъ „Н—скаго Вѣстника“.

Независимость этого труда заключалась въ томъ, что за двадцать пять рублей въ мѣсяцъ Крюковъ днемъ спалъ, а ночью бодрствовалъ, иногда же не спалъ и по цѣлымъ суткамъ—что уже предоставлялось его собственному усмотрѣнію, наконецъ онъ могъ спать и цѣлыя сутки, для чего стоило только отказаться отъ двадцати пяти рублей въ мѣсяцъ. Что касается убѣжденій, то послѣднія оставались совершенно въ сторонѣ отъ труда, который такимъ образомъ и не противорѣчилъ имъ. Крюковъ имѣлъ дѣло по преимуществу съ отдѣльными буквами и словами, а изъ убѣжденій имѣлъ соприкосновеніе лишь съ тѣми, которыя касались буквы „ѣ“, двоеточій, многоточій и другихъ невинныхъ знаковъ...

Съ восьми часовъ вечера Крюковъ появлялся въ корректорской комнатѣ и, склонившись надъ испещренными поправками оттисками, при свѣтѣ пышащей жаромъ большой лампы подъ зеленымъ абажуромъ, исправлялъ ошибки авторовъ и наборщиковъ вплоть до четырехъ, а иногда и до пяти часовъ утра слѣдующаго дня... Въ короткіе промежутки бездѣйствія онъ ложился на широкій столъ, за которымъ работалъ, подкладывалъ подъ голову переплетенный экземпляръ „Вѣстника“ и, поджавъ ноги, дремалъ чуткой, тревожной дремой подъ грохотъ типографскихъ машинъ и шорохъ шрифтовыхъ кассъ. На разсвѣтѣ Крюковъ возвращался домой, сонный, съ помятой физіономіей и опухшими и красными глазами, шагая неровной походкою усталаго и больного человѣка по соннымъ и пустыннымъ еще

улицамъ города, и встрѣчные гуляки, возвращавшіеся съ кутежей изъ притоновъ разгула и разврата, привѣтствовали его улыбкой солидарности и двусмысленными замѣчаніями.

Квартирная хозяйка еще болѣе встревожилась, когда „человѣкъ безъ документовъ“ началъ аккуратно пропадать на ночь, возвращаться домой на цыпочкахъ и на разсвѣтѣ. Это таинственное исчезновеніе и возвращеніе квартиранта казались хозяйкѣ страшно подозрительными, и она стала страдать безсонницей и головными болями.

Лежа въ постели, хозяйка все думала, что бы это могло значить, и не смыкала глазъ, прислушиваясь къ каждому шороху въ комнатахъ. Когда спавшая въ передней на сундукѣ кухарка, на легкій, подозрительно-осторожный стукъ пальцами въ стекло окна, съ ворчаніемъ и протестомъ поднималась со своего логовища, чтобы отпереть дверь „шаромыжнику—постояльцу“, — хозяйка садилась въ постели, настораживала слухъ и переставала дышать...

Вотъ онъ идетъ на цыпочкахъ... Вотъ скрипнула дверь въ его комнату... Вотъ онъ тихо, осторожно сморкается и откашливается, воображая, что, кромѣ кухарки, никто не знаетъ о его возвращеніяхъ въ такое неурочное время...

Квартирантъ ложился на кушетку, тяжело вздыхалъ и отдувался.

Сейчасъ видно, что дѣлалъ что-то неладное: не то таскалъ что-то тяжелое, не то бѣжалъ что есть духу отъ кого-то...

Хозяйка уже собиралась заявить „куда слѣдуетъ“, когда дѣло, къ удовольствію обѣихъ сторонъ, разрѣшилось безъ участія полиціи.

По прошествіи недѣли Крюковъ позвалъ къ себѣ хозяйку:

— Вотъ вамъ и деньги за мѣсяцъ!.. Можетъ быть,

хотите за полтора мѣсяца?—и это можно... хотя, виноватъ, не хватитъ, должно быть, за полтора... Да, не хватитъ!..

— Такъ-то оно такъ,—задумчиво глядя на предлагаемыя квартирантомъ деньги, отвѣтила хозяйка:— Только какъ будто бы и нехорошо, что вы кажную ночь на свѣту приходите! Можно съ вами, батюшка, и бѣды нажить... Нынче какъ строго! Коли жизнь правильную будете вести — я возьму, а то ужъ лучше того... подыскивайте себѣ квартиру... У меня—сынъ...

Крюковъ расхохотался.

— Что вы, что вы, матушка! Да я самую правильную жизнь веду; водки не пью, въ карты не играю, на службу хожу аккуратно... Чего вамъ больше?

— На какую такую службу это вы ходите?—обиженно возразила хозяйка и потупилась. По ночамъ, батюшка, кажись, всѣ добрые люди спятъ...

— У меня служба такая, ночная служба. Я — ночной корректоръ въ „Вѣстникѣ“.

— Ну, извините!..—радостно воскликнула хозяйка, протягивая руку за деньгами,—извините ужъ... — Случается... А мы всѣ тутъ не знали, что̀ и думать... Какъ ночь, такъ и нѣтъ нашего кавалера. Пра-а-во! И невдомекъ... Скажите, пожалуйста!..

Хозяйка всплеснула руками и задушевно расхохоталась.

— Ужъ теперь нечего, батюшка, грѣха таить: я вѣдь хотѣла въ полицію заявить.

Прошла еще недѣля, прошла и другая...

Жизнь Крюкова протекала безсмысленно, однообразно, какъ жизнь бездушной машины, на которой печатался „Вѣстникъ“. Полусонное бодрствованіе ночью и тревожный, клочками и урывками, сонъ днемъ... Ошибки, ошибки, ошибки, значки, черточки, крестики, буквы, слова, механическое бормотаніе черезъ зубы какихъ-то фразъ... Голова тупѣетъ и тяжелѣетъ, словно нали-

вается свинцомъ; предъ глазами лампа съ зеленымъ абажуромъ, въ ушахъ грохотъ машины и шорохъ шрифта... Запахъ краски, керосина, сырости и какой-то особенной типографской вони... Во рту непріятный осадокъ сладкой свинцовой пыли отъ шрифта... Въ рукѣ постоянная ручка...

И въ головѣ, и въ душѣ осѣдаетъ какая-то копоть и носится туманъ, въ которомъ безпомощно плаваютъ одинокія „хорошія мысли“... Наскоро обѣдъ, наскоро чай, кушетка, столъ и опять значки, буквы и слова... И такъ до безконечности!..

Немного иначе проходили дни праздничные. Послѣ праздниковъ газета не выходила, а потому праздники полагались на отдыхъ. Наборщики и другіе типографскіе служащіе отдыхали, напиваясь до положенія ризъ. Крюковъ отсыпался, отлеживался и ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ до изнуренія и отупѣнія. Это хожденіе осталось у Крюкова, какъ наслѣдіе его „одинокихъ дней“: въ свободное отъ корректорскихъ обязанностей время онъ, какъ пушкинскій ученый котъ, ходилъ по комнатѣ кругомъ...

— Будетъ вамъ ходить-то! Обѣщаніе что ли дали?— скажетъ, бывало, хозяйка, слушая безконечное глухое топанье постояльца:—И какъ только ноги у васъ не откажутся?..

Попытки почитать книгу въ эти свободные дни Крюковымъ дѣлались очень часто, но въ мозгу такъ было мутно отъ изнуренія, въ глазахъ такъ туманилось, что книга бросалась... Итти было некуда,—не было знакомыхъ.

Отъ секретаря и редактора Крюковъ сторонился: они ему не нравились. Единственная родственная и симпатичная Крюкову душа—„бывшій студентъ“ Воронинъ, рѣдко бывалъ трезвъ, и всѣ старанія Крюкова остановить его отъ пьянства оставались втуне. Крюковъ большую часть свободнаго времени проводилъ на ку-

шеткѣ, отдаваясь воспоминаніямъ или спячкѣ... Однажды, въ праздничный день, къ нему явился Воронинъ, больной, худой, съ трясущимися руками, и умолялъ со слезами на глазахъ дать ему въ послѣдній разъ тридцать копеекъ.

— Я, Воронинъ, куплю вамъ водки... Останьтесь у меня и пейте!.. Но знайте, что больше купленной порціи вы не получите... Я васъ не выпущу изъ комнаты, пока вы совершенно не отрезвѣете... Пора, голубчикъ, очнуться!..

— Да я радъ бы, Дмитрій Павловичъ, да силъ нѣтъ!.. Ну... голубчикъ!.. вы понимаете меня?.. Больной я человѣкъ...—со слезами на глазахъ отвѣтилъ Воронинъ.

На предложенное условіе онъ согласился и цѣлыхъ два дня прожилъ у Крюкова. Какъ разъ выпало два праздника подрядъ, газета не выходила, и Крюковъ любовно валандался съ больнымъ и несчастнымъ человѣкомъ... На второй день Воронинъ былъ уже совершенно трезвъ и ужасно стѣснялся и краснѣлъ, какъ дѣвушка, разсказывая Крюкову свое прошлое...

Разсказъ этотъ былъ очень кратокъ, а исторія Воронина—одна изъ самыхъ обыкновенныхъ.

Въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ, въ одну изъ эпидемій студенческихъ безпорядковъ, Воронинъ вылетѣлъ изъ университета „по первой категоріи“, т. е. навсегда утратилъ право окончить свое образованіе; вмѣстѣ съ этимъ изгнаніемъ возникъ какой-то процессъ, длинный, спутанный и туманный, въ которомъ Воронинъ былъ сперва только свидѣтелемъ, а потомъ вдругъ попалъ въ обвиняемые... Тянулся этотъ процессъ долго, но ничѣмъ не кончился... Воронина вмѣстѣ съ другими освободили и только отдали подъ опеку полиціи. И съ тѣхъ поръ началась каторга.

Воронинъ женился очень рано, такъ что ко времени преждевременнаго окончанія курса имѣлъ уже на рукахъ жену, больную, чахоточную и хрупкую, и двух-

годовалаго ребенка. Началось исканіе „мѣстъ“, такъ какъ всѣмъ хотѣлось ежедневно кушать. Никакихъ мѣстъ однако для Воронина не оказывалось... Кромѣ колкихъ оскорбленій молодого самолюбія, униженій и подозрительныхъ взглядовъ и выпроваживаній изъ передней подъ присмотромъ высланной прислуги, эти поиски ничего не давали...

— Какъ бы не стащили тамъ шубу... — явственно разслышалъ однажды Воронинъ мелодичный женскій голосъ изъ гостиной, торопливо настукивая калоши на ноги послѣ неудачнаго просительства въ домѣ либеральнаго присяжнаго повѣреннаго.

Однажды дѣло совсѣмъ было сладилось: Воронинъ поступилъ конторщикомъ въ одну изъ коммерческихъ конторъ, но на третій же день пришлось оставить „мѣсто“. Хозяинъ конторы, отъѣвшійся русскій буржуй, по заведенному разъ навсегда обычаю, обращался со всѣми служащими, какъ съ лакеями или крѣпостными.

— Эхъ, дурень! А еще ученый... А ты въ другой разъ будь поумнѣе! – замѣтилъ онъ Воронину при первомъ его промахѣ по службѣ.

Воронинъ вспылилъ, попросилъ безъ „фамильярностей“.

— Вишь, вельможа какая! Много васъ шляется нынче... Не хошь, такъ повертывай лыжи-то, а мнѣ не грубіянь,—отвѣтилъ хозяинъ.

Воронинъ схватилъ шапку, накинулъ пальтишко и, какъ ошпаренный, вылетѣлъ съ крыльца конторы...

Послѣ этого происшествія Воронину долго не подвертывалось никакого мѣста...

И вотъ, какъ утопающій хватается за соломинку, Воронинъ ухватился за мѣстную газету и сталъ изо всѣхъ силъ строчить... „Летучія замѣтки“, репортерскія сообщенія, жиденькіе фельетончики, рецензіи и библіографическія статейки, различныя „нѣчто“ и „нѣсколько словъ“,—короче говоря, все, что можно было

поэксплоатировать въ смыслѣ двухкопеечнаго построчнаго гонорара, Воронинъ тащилъ въ газетку...

Получивъ гонораръ, онъ забѣгалъ въ лавочку, бралъ тамъ колбасы, хлѣба, чаю и сахару и торопливо бѣжалъ къ себѣ на чердакъ. А тамъ его уже нетерпѣливо ждали. Вмѣстѣ съ колбасою, чаемъ и сахаромъ на чердакъ, гдѣ они жили, входило нѣкоторое оживленіе, бодрость духа. Тогда тамъ не диво было услыхать и смѣхъ, и шутки. Они усаживались у столика, на которомъ появлялся самоварчикъ, и какъ-то съежившись, принимались поглощать „построчную плату".

Бывало время, когда по нѣсколько дней подрядъ не было ни колбасы, ни чаю, ни сахару. Изъ редакціи въ счетъ будущихъ благъ не выдавали. Матеріаловъ для заработка не находилось. Фантазія бездѣйствовала и бумага съ перомъ оставались безъ употребленія.

Тогда на чердакѣ водворялось глубокое молчаніе, лишь изрѣдка прерываемое протестующимъ урчаніемъ желудка голодающихъ интеллигентовъ. Воронинъ сердился и хмурился, сердился и на себя, и на жену, и на ни въ чемъ неповинную дѣвочку... За что? А за то, что ему не писалось и не о чемъ было писать... Воронину казалось, что онѣ мѣшаютъ ему „сосредоточиваться".

Это вольное строченіе продолжалось болѣе года.

Послѣдовавшая съ газетой катастрофа—переходъ ея въ новыя руки, къ владѣльцу типографіи, гдѣ газета печаталась,—отразилась на Воронинѣ самымъ благопріятнымъ для него образомъ; Воронина пригласили въ секретари. 75 рублей ежемѣсячнаго жалованья словно вдохнули въ семью Воронинныхъ струю счастья, отдыха и надеждъ.

Правда, жизнь Воронина въ смыслѣ труда была такой же каторжной; работа была изнуряющая, изсушающая мозгъ и сердце; но зато исчезло мучительное опасеніе за завтрашній день. 75 рублей дали возмож-

ность нанять небольшую, но теплую, свѣтлую и веселую квартирку, ежедневно обѣдать и не ходить болѣе въ худыхъ калошахъ.

Воронинъ втянулся въ газетную работу и со всей страстностью своего темперамента отдался литературному труду.

Тяжелъ былъ этотъ трудъ, тяжелъ не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ отношеніи!..

Редакція газеты состояла всего изъ трехъ лицъ: редактора-издателя, секретаря и репортера Васьки. Всѣхъ другихъ сотрудниковъ новый хозяинъ для сокращенія бюджета разсчиталъ.

Воронинъ, хотя и носилъ скромный титулъ секретаря, но въ сущности, подобно большинству секретарей въ провинціальныхъ газетахъ, представлялъ собою почти единственную и самую крупную величину редакціи. Онъ былъ истиннымъ редакторомъ ея, самымъ усерднѣйшимъ сотрудникомъ, публицистомъ, беллетристомъ, рецензентомъ, однимъ словомъ—всѣмъ, чѣмъ угодно. Съ утра до ночи Воронинъ былъ занятъ газетой, отдавалъ ей всю свою душу.

Репортеръ Васька былъ созданъ самой газетою. Онъ выросъ около газеты и типографіи. Сперва онъ былъ мальчикомъ въ типографіи и учился „набирать“, но искусство это ему не давалось, и Ваську перевели на побѣгушки: онъ разносилъ счета, ходилъ за справками, подметалъ полъ въ редакціи, приводилъ въ порядокъ газеты и переписывалъ то, что ему давали. Мальчикъ былъ шустрый, проворный, умѣлъ красиво писать и бойко читать... Васька росъ и присматривался. Возросши среди газетъ, онъ начитался, освоился съ духомъ „хронической литературы“ и нахватался банальныхъ выраженій ея, въ родѣ: „не мѣшаетъ обратить вниманіе кому слѣдуетъ“, „коментаріи излишни“, „прискорбный инцидентъ имѣлъ мѣсто“ и т. п. Васька имѣлъ массу знакомствъ уличныхъ, трактирныхъ, вер-

тѣлся на биржѣ и всегда имѣлъ массу самыхъ свѣжихъ новостей, пикантныхъ событій и сенсаціонныхъ сплетенъ. Новый владѣлецъ газеты благоволилъ къ Васькѣ, и Васька какъ-то вдругъ, неожиданно, попалъ въ „литераторы“. Хозяинъ поручилъ ему бѣгать по мировымъ, получать торговыя свѣдѣнія съ биржи и собирать полицейскую хронику.

Самъ редакторъ писательствомъ не занимался. Онъ только смотрѣлъ „въ оба“, чтобы писательство всегда находилось въ должныхъ границахъ, т.-е. чтобы оно не посягало на доходы и барыши и вообще не причиняло никакихъ непріятностей ни ему лично, ни его супругѣ, ни родственникамъ, ни лицамъ, положеніе и вѣсъ въ городѣ имѣющимъ. Для этого хозяинъ обязательно прочитывалъ „послѣднюю сводку“ и выкидывалъ изъ номера все „неподходящее“.

Странныя отношенія установились между членами редакціи. Издатель и секретарь были вѣчно насторожѣ по отношенію другъ къ другу: издатель побаивался, какъ бы Воронинъ не „подпустилъ свинью“, тиснувъ что-нибудь неподходящее, а Воронинъ побаивался того же со стороны редактора-издателя. Послѣдній былъ убѣжденъ, что всѣ стремленія секретаря направлены къ тому, чтобы какъ-нибудь провести его, а Воронинъ былъ глубоко убѣжденъ, что это необходимо и что иначе невозможно работать.

Что же связывало этихъ боящихся другъ друга людей? Простая необходимость во взаимныхъ услугахъ. Воронинъ былъ незамѣнимый труженикъ, ибо работалъ, какъ волъ, за маленькое сравнительно вознагражденіе, а издатель былъ необходимъ Воронину, какъ простой работодатель, капиталистъ. И эти люди, при всей непріязни другъ къ другу, при постоянныхъ тайныхъ опасеніяхъ и взаимномъ недовѣріи, не расходились.

Ихъ отношенія осложнялись еще присутствіемъ третьяго сотрудника—репортера Васьки.

Васька имѣлъ вполнѣ самостоятельный взглядъ на газету; онъ видѣлъ въ ней одну цѣль: „пробирать“, „продирать съ пескомъ“—какъ онъ выражался— и сообщать исключительно пикантныя новости, кровавые ужасы и невѣроятные случаи, и въ этомъ отношеніи проявлялъ нѣкоторую солидарность съ хозяиномъ, который постоянно твердилъ:

— Ради Бога, побольше смѣси и поменьше отвлеченныхъ разсужденій!..

Васька стоялъ въ оппозиціи къ секретарю и въ фаворѣ къ хозяину. Издатель вѣрилъ въ Ваську больше, чѣмъ въ самого себя. По временамъ, когда на издателя нападала „пьяная линія“ и онъ не появлялся въ редакціи въ теченіе цѣльной недѣли, — Васька присматривалъ за секретаремъ и, въ случаѣ чего, моментально докладывалъ если не хозяину, то хозяйкѣ. Въ это время Васька поднималъ голову: его походка, тонъ, отношеніе къ типографскимъ служащимъ совершенно измѣнялись, дѣлаясь величественно-снисходительными. Васька бралъ въ руки „Московскій Листокъ“ и ножницы и, непринужденно разставивъ ноги въ стороны, сидѣлъ въ креслѣ за редакторскимъ столомъ и сердито посматривалъ на секретаря.

Положеніе Воронина было мучительно - тяжелое. Страшныя муки совѣсти испытывалъ порой Воронинъ. Его грызла эта совѣсть при мысли, что, работая при такихъ условіяхъ, онъ дѣлается невольнымъ сообщникомъ кое-какихъ пакостей, играетъ въ руку темнымъ элементамъ, покрываетъ прохвостовъ и мошенниковъ. По временамъ на Воронина находила страшная тоска, и онъ печально, вяло и неохотно ходилъ въ редакцію, а оттуда возвращался измученный, усталый и злой. Упавши на кровать, онъ отказывался обѣдать и по цѣлымъ часамъ лежалъ молча, съ обращеннымъ къ стѣнѣ лицомъ. Онъ думалъ о томъ, куда уйти и что дѣлать?

А уйти было некуда, и никакого дѣла, кромѣ „сво-

бодной профессіи“ провинціальнаго литератора, найти не представлялось возможности. Не было даже возможности сняться съ мѣста и уѣхать куда-нибудь: жена постоянно хворала, было уже двое ребятъ и очень много долговъ—они жили „впередъ“...

Оставалось одно: направить весь свой умъ, всю свою тактичность, энергію и хитрость на то, чтобы въ газетѣ не проскальзывало какой-нибудь чрезмѣрной пакости или подлости. На это и тратились, главнымъ образомъ, силы и способности Воронина...

Когда пакость все-таки проскальзывала,—Воронинъ прибѣгалъ къ успокоенію посредствомъ алкоголя...

Зато, когда хозяинъ впадалъ въ „пьяную линію“, секретарь утолялъ свою литературную жажду... Однако, и въ этомъ случаѣ приходилось вести тонкую политику. Желая гарантировать себя отъ доносовъ газетнаго молодца Васьки, секретарь умѣренно распускалъ вожжи, давая Васькѣ нѣкоторую свободу ругаться и лягаться. Изъ двухъ золъ приходилось выбирать меньшее. Васька былъ удовлетворенъ, смягченъ и растроганъ и не бѣгалъ къ хозяину, когда натыкался въ сводкѣ на рѣзкія обличенія заказчиковъ типографіи, городского головы и пріятелей издателя. Васька только задумчиво трясъ головою и произносилъ:

— Ну, и нагоритъ же намъ съ вами!

— Ничего... Нельзя!..

— Вы бы ужъ почище!—согласился Васька. — Все равно, семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ... По-моему, ужъ если продирать, такъ продирать съ пескомъ. Ну, и я всыпалъ же содержателю „Батума!“... Не прочихается...

Вступивъ въ нѣкоторый компромиссъ съ Ваською, Воронинъ дѣлался полновластнымъ лицомъ въ редакціи и спѣшилъ „насладиться“. Газетка временно измѣняла свою физіономію, принимала приличное обличье серьезной и искренней представительницы мѣстныхъ нуждъ и интересовъ...

Но вотъ появлялся издатель. Въ редакціи наступало затишье. Васька говорилъ робко, кашлялъ въ кулакъ и ходилъ на цыпочкахъ. Наборщики ежились. Секретарь дѣлался чрезмѣрно серьезнымъ и молчаливымъ... Мало-по-малу всѣ „бѣды“, которыя натворилъ Воронинъ въ отсутствіе хозяина, раскрывались и выплывали на поверхность. Хозяинъ становился день ото дня мрачнѣе, пыхтѣлъ все громче, швырялъ вещи и наконецъ „разряжался“.

Начинались объясненія съ секретаремъ. Сперва кричалъ только издатель, потомъ начиналъ кричать и секретарь. Васька незамѣтно, какъ то бокомъ, удиралъ изъ редакціи и притворялъ за собою дверь.

— Ругаются!—шопотомъ говорилъ онъ въ конторѣ, махнувъ рукой по направленію редакціи.

— Пора бы оставить ужъ всѣ эти идеи! Никому онѣ не нужны-съ!—кричалъ издатель.

— Идеи тутъ ни при чемъ... Прошу ихъ не касаться! Я вашихъ идей не трогаю...

— Никакихъ идей у меня не было и не будетъ!—кричалъ издатель.

Воронинъ хваталъ шапку и уходилъ изъ редакціи, сердито хлопая дверью, съ твердымъ рѣшеніемъ никогда уже болѣе сюда не возвращаться.

Но вѣдь уйти ему было некуда!.. И на другой день утромъ онъ снова сидѣлъ за своимъ столомъ и молча „строчилъ“ или рѣзалъ газеты...

Такъ промучился Воронинъ два года, все чаще и чаще припадая къ защитѣ алкоголя. Жена у него умерла, на рукахъ осталось двое ребятъ... Некому стало упрекать Воронина въ пьянствѣ, некому остановить, умолять его не пить... Не стало единственнаго друга, на груди котораго можно было выплакаться, покаяться, дать обѣтъ—бросить водку...

Воронинъ сталъ пить все чаще и все больше... А когда обѣ дѣвочки его, пораженныя дифтеритомъ, ушли

за матерью, онъ совершенно упалъ духомъ и опустился. Издателю онъ сдѣлался ненужнымъ, изъ секретарей былъ удаленъ и началъ постепенно спускаться сперва до случайнаго фельетониста, потомъ до репортера и наконецъ до корректора...

Теперь онъ сдѣлался непригоднымъ даже и для этой скромной роли...

VII.

Прошелъ мѣсяцъ „труда независимаго и не противорѣчащаго по существу своему убѣжденіямъ“.

Крюковъ похудѣлъ, осунулся... Глаза его ввалились глубоко въ орбиты и обрисовались темными кругами; носъ словно выросъ длиннѣе, подбородокъ сдѣлался острымъ... Все чаще и чаще онъ страдалъ безсонницей, головными болями и сердцебіеніемъ и все чаще, лежа съ открытыми глазами на своей кушеткѣ, тяжело отдувался и произносилъ:

— Тоска!..

Прошло еще недѣли двѣ—и эта тоска начала глодать Крюкова безостановочно. До омерзѣнія надоѣлъ ему „Н—скій Вѣстникъ“, надоѣлъ секретарь редакціи, однимъ видомъ своимъ уже раздражавшій корректора, надоѣла комната безъ оконъ, корректурные оттиски. А квартирная хозяйка своей предупредительной заботливостью о здоровьѣ квартиранта выводила этого квартиранта изъ терпѣнія:

— Батюшки! какъ вы похудѣли, Дмитрій Павлычъ! Да вы здоровы ли?—съ соболѣзнованіемъ восклицала она, принося въ комнату чайную посуду.

— Здоровъ, совершенно здоровъ!.. Благодарю васъ! Не безпокойтесь!—съ раздраженіемъ въ голосѣ отвѣчалъ Крюковъ и отвертывался въ сторону.

— Глаза-то, глаза-то!.. Право, краше въ гробъ кладутъ!..

— Будетъ вамъ, Дарья Петровна... Пожалуйста того... не безпокойтесь!..

Хозяйка уходила, а Крюковъ соскакивалъ со стула, бѣжалъ къ двери, плотно затворялъ ее и бунчалъ:

— Какого чорта лѣзетъ? Вотъ заботливость одолѣваетъ!..

Въ праздничные дни онъ началъ уже развертывать большую карту русскихъ желѣзныхъ дорогъ и внимательно разсматривать ее, переводя взоры съ юга на востокъ и съ востока на западъ.

Это означало, что Крюковъ больше не въ силахъ жить въ Н—скѣ и что онъ ищетъ городъ, куда бы ему переселиться и гдѣ бы еще попытать счастье...

— Орелъ... гм... Орлово-Грязская... Гомель, Кіевъ,— Кіевъ! Не махнуть ли въ Кіевъ? Городъ университетскій, студенчество, три органа гласности, а главное— выборъ интеллигенціи... Кіевъ имѣетъ весьма почтенное прошлое...

Нѣтъ сомнѣнія, что Крюковъ скоро былъ бы уже въ Кіевѣ, если бы одно случайное обстоятельство не задержало его въ Н—скѣ.

Однажды, корректируя первую страницу газетнаго листа, Крюковъ наткнулся на объявленіе: „Докторъ медицины Н. В. Порѣцкій, возвратясь изъ-за границы, возобновилъ пріемъ больныхъ“, далѣе слѣдовали часы пріема и адресъ.

Крюковъ впился глазами въ это объявленіе и началъ потирать пальцами свой лобъ и лысину.

— Порѣцкій Н. В.? хм... да, Николай Васильевичъ... Неужели онъ?

Крюковъ застылъ въ раздумьѣ. Передъ нимъ всталъ образъ одного изъ лучшихъ его товарищей по гимназіи и по университету, который, какъ и онъ, исчезъ съ горизонта послѣ „волненій“... Хорошій былъ парень, хотя по убѣжденіямъ они не сходились; Порѣцкій тя-

нулъ къ „вольцамъ“: горячій, упрямый и рѣшительный, онъ смѣялся надъ Крюковымъ, называя послѣдняго „елейнымъ народникомъ“...

— Вылѣзъ! гм... А, можетъ быть, — случайное совпаденіе? Док-торъ ме-ди-ци-ны... да! гм...

Крюковъ долго ковырялъ перомъ это объявленіе, обчерчивалъ его по буквамъ чернилами, рисовалъ какія-то замысловатыя фигурки, то улыбался, то хмурился и выпускалъ „гм“...

На другой день, въ часы, объявленные докторомъ медицины Порѣцкимъ для пріема больныхъ, Крюковъ торопливо шагалъ по объявленному адресу... „Забрался, каналья, на главную улицу“,—думалъ онъ, отыскивая домъ Козочкина.

Но вотъ и домъ Козочкина, большой, двухъэтажный, съ балконами и зеркальными окнами. „Неужели Порѣцкій такимъ бариномъ сталъ?“ На одной парадной двери — дощечка: „Присяжный повѣренный“, на другой — доска въ черной рамѣ, за стекломъ, съ надписью: „Докторъ медицины Николай Васильевичъ Порѣцкій“ и т. д.

— Да, Николай Васильевичъ!

Крюковъ отступилъ назадъ, загнулъ къ небу голову и обозрѣлъ домъ Козочкина, словно по внѣшности дома разсчитывалъ опредѣлить, тотъ ли это Николай Васильевичъ живетъ здѣсь, который когда-то называлъ его „елейнымъ народникомъ“.

„Если не онъ,—попрошу „выслушать“—и кончено! Кстати у меня сердцебіеніе теперь“. Съ замираніемъ духа подавилъ Крюковъ пуговку звонка. Отворила дверь молодая дѣвушка въ бѣломъ передникѣ, румяная, здоровая, съ бойкими карими глазами.

— Къ доктору?

— Къ доктору.

— Больной?

— Совершенно здоровый, — отвѣтилъ Крюковъ, по-

чему-то вспомнивъ свою заботливую хозяйку, надоѣвшую ему разспросами о здоровьѣ.

— Теперь они только больныхъ принимаютъ. Въ другое время пожалуйте.

— Докторъ—брюнетъ?—спросилъ Крюковъ.

— Съ просѣдью,—съ улыбкой отвѣтила дѣвушка и передъ самымъ носомъ Крюкова захлопнула дверь.

Крюковъ постоялъ съ оскорбленною миною на физіономіи у двери и медленно спустился со ступеней крыльца... Глупо сдѣлалъ. Надо было сказать: „больной“.

Спустя нѣсколько дней, Крюковъ опять стоялъ у подъѣзда дома Козочкина и звонилъ.

Опять дверь отперла та же дѣвушка въ бѣломъ передникѣ.

— Дома Николай Васильевичъ?

— Дома-съ!

— Можно?

— Больной, такъ опоздали: пріемъ кончился...

— Нѣтъ, нѣтъ. Совершенно здоровый!

— Пожалуйте. Какъ о васъ доложить?

„А чортъ знаетъ, какъ это сдѣлать“, — подумалъ Крюковъ и сказалъ:

— Скажите—другъ юности, Крюковъ.

Дѣвушка бросилась было снимать съ Крюкова лѣтнее пальто, но онъ остановилъ ея намѣреніе: сунулъ ей въ руку свой пледъ, а пальто смахнулъ съ быстротою молніи самъ и самъ же сунулъ его на вѣшалку, поверхъ богатой николаевской шинели съ бобровымъ воротникомъ.

— У васъ, кажется, гости?—тихо спросилъ горничную Крюковъ, оправляя съѣхавшій съ шеи галстухъ.

— Нѣтъ никого... Обѣдаютъ...

— А эта шуба... чья?

— Барина-съ.

Горничная бросила вопросительный взглядъ на

гостя, а гость еще разъ посмотрѣлъ на богатую шинель съ бобровымъ воротникомъ и подумалъ: „а когда-то говорилъ, что пальто на ватѣ максимумъ его требованій“...

Крюковъ страшно взволновался: у него началось сердцебіеніе и стукъ въ вискахъ. Онъ чувствовалъ неловкость, смущеніе и робость, какую чувствуетъ молодой человѣкъ, не достигшій совершеннолѣтія, являясь съ твердымъ намѣреніемъ объясниться въ любви и просить руки любимой дѣвушки. Крюковъ даже вспотѣлъ.

Дѣвушка привела его въ пріемную и попросила подождать, а сама направилась „доложить“.

— Позвольте карточку! — сказала она, возвратившись въ пріемную.

— Карточку? Какую карточку? Ахъ, да... Нѣтъ... скажите: другъ юности, Крюковъ...

Оставшись одинъ, Крюковъ сѣлъ въ удобное кресло. Подъ его ногами разстилался мягкій коверъ съ цвѣтами и зеленью осени, надъ его головой висѣлъ портретъ Пирогова и словно щурился, разсматривая неизвѣстнаго гостя; передъ нимъ рядъ громадныхъ оконъ, задрапированныхъ красивыми тяжелыми занавѣсями, ниспадавшими до полу въ эффектныхъ складкахъ... Двѣ пальмы, высокія, широко развѣсившія свои листья, похожія на кисти человѣческихъ рукъ... На потолкѣ, высоко—рельефъ... Каминъ, заслоненный какой-то фантастической ширмой... Посредине комнаты небольшой столикъ, заваленный газетами и юмористическими журналами—для развлеченія ожидающихъ очереди паціентовъ...

— Да онъ ли это? Не случайное ли совпаденіе именъ?

Откуда-то издалека доносился звонъ посуды, лязгъ ножей, говоръ, дѣтскій голосокъ. Гдѣ-то мелодично наигрывалъ заводной баульчикъ, переливаясь серебри-

стыми колокольчиками... Слышался издали пріятный басокъ и женское контральто. Обѣдали шумно и весело, а главное долго, не торопясь...

Крюковъ чувствовалъ себя въ этой роскошной обстановкѣ чужимъ, неумѣстнымъ, и въ его сознаніи уже начало просыпаться смутное раскаяніе въ томъ, что онъ пришелъ сюда... Крюковъ то вставалъ съ кресла, подходилъ къ столу и смотрѣлъ „Будильникъ“, то опять садился, поправлялъ галстухъ, прическу и вообще выказывалъ безпокойство...

А время тянулось невыносимо долго, часы выстукивали свои удары маятникомъ медленно, лѣниво какъ-то... И никто не шелъ... Словно забыли или не хотятъ знать, что здѣсь сидитъ и ждетъ человѣкъ...

— А чортъ съ ними со всѣми!—прошепталъ вдругъ Крюковъ, выскочилъ въ переднюю и схватилъ съ вѣшалки свое пальтишко. Если бы не шинель съ бобровымъ воротникомъ, которую онъ по неосторожности уронилъ на полъ, — Крюковъ сбѣжалъ бы и никогда болѣе сюда уже не возвратился. Шинель помѣшала: когда онъ совалъ ее на вѣшалку, эту чертовски тяжелую шинель, и не могъ попасть петлей ея воротника на крюкъ вѣшалки, потому что руки его дрожали, — въ дверяхъ появилась высокая, стройная фигура доктора съ недоумѣвающею вопросительной физіономіей. (Горничная доложила только, что пришелъ какой-то „другъ“, но фамилію этого друга забыла).

Увидѣвъ этого „друга“ возящимся около своей дорогой шубы, докторъ сдѣлалъ сердитое лицо и остановился въ полномъ недоумѣніи. „Другъ“ повѣсилъ наконецъ шинель на мѣсто и, обернувшись, застылъ въ позѣ пойманнаго на мѣстѣ преступленія вора.

— Что вамъ, милостивый государь, угодно?

— Не узнаете?.. Крюковъ! Вмѣстѣ учились въ саратовской гимназіи...

— Ба-а! Дмитрій? Ты?

— Я, Коля, я!..

Въ передней послышалось цѣлованіе и шумъ, словно здѣсь боролись въ шутку два человѣка.

— Ну, посмотри на меня, шуть гороховый! Облысѣлъ? Ахъ, ты... Какъ? Почему? Гдѣ?..

И снова въ передней звучали сочные поцѣлуи друзей юности, на глазахъ которыхъ блестѣли слезы.

— Идемъ... Варя! Варя!

— Ау! — донесся пріятный женскій контральто изъ дальнихъ комнатъ.

Крюковъ уперся:

— Постой! Ты—женатъ?

— А какъ же? ха, ха, ха! вотъ чудакъ!..

— Жена, поди, того... барыня?

— Ха-ха-ха! барыня, барыня, и какая прелестная барыня!.. И знаешь, на комъ я женатъ?

— На женщинѣ... А больше ничего не знаю...

— На Варѣ. На Варварѣ Петровнѣ, за которой ты когда-то ухаживалъ и въ которую былъ влюбленъ вплоть до настоящей лысины...

Крюковъ покраснѣлъ до корня волосъ. Передъ нимъ промелькнулъ задернутый дымкою времени образъ дѣвушки съ толстой русой косой, съ смѣющимися глазами и съ задорно приподнятымъ носикомъ... Что-то давно-давно прошедшее, свѣжее, чарующее, обвѣянное грезами юности и тепломъ чистой любви, первой любви, съ ея чарами поэзіи и туманными порывами куда-то въ заманчивую даль, къ безпредѣльному счастью, хлынуло вдругъ въ душу Крюкова мягкой волною и защемило сердце сладостной болью и грустью по невозвратномъ...

Крюковъ провелъ ладонью руки по своей лысинѣ и какъ-то виновато усмѣхнулся.

— На Варѣ... да... знаю, помню... еще бы! Радъ! Друзьями были тоже когда-то, — растерянно проговорилъ онъ.

Ноги Крюкова дрожали, по лысинѣ пробѣгалъ холодокъ, а сердце стучало часто-часто...

— Постой!.. Не могу... Сердцебіеніе... водицы бы стаканчикъ!—прошепталъ онъ и присѣлъ на стулъ въ большомъ залѣ съ паркетными полами и съ угрюмой громоздкой роялью подъ чехломъ въ углу...

— Эхъ, братецъ, взволновался? Груша! Дайте, стаканъ воды!—крикнулъ докторъ.

Въ залъ выскочилъ и покатился на тонкихъ ножкахъ по паркету кудрявый мальчикъ лѣтъ пяти.

— Володя! Поди сюда, познакомься! — крикнулъ отецъ. Но мальчикъ смутился, визгнулъ и исчезъ...

— Твой?—спросилъ Крюковъ, тяжело отдуваясь.

— Конечно, мой! вотъ чудакъ... ха-ха-ха!

Груша принесла на миніатюрной фарфоровой тарелочкѣ стаканъ воды. Крюковъ трясущейся рукою взялъ этотъ стаканъ и сталъ жадно глотать воду. Стекло стакана стучало по его зубамъ, а голова, закинутая назадъ, дрожала...

— Уфъ! все... еще бы стаканчикъ!.. — произнесъ Крюковъ, возвращая пустой стаканъ.

— Нѣтъ, братъ, тамъ насъ ждутъ: кургузый самоварчикъ и Варя, — сказалъ, взявъ подъ руку Крюкова, докторъ и повелъ его въ столовую.

VIII.

Навстрѣчу имъ вышла изящная дама, съ русскимъ открытымъ лицомъ. Въ этомъ лицѣ было что-то чарующее, привлекательное, спокойное, женственно-мягкое и удовлетворенное. Сѣрые глаза озарили это лицо доброй улыбкою и придавали ему выраженіе безмятежнаго счастія и увѣренности въ его безконечной продолжительности, прочности... Когда эти сѣрые глаза слегка прищуривались,—по лицу женщины скользила легкая тѣнь гордости, величественности, а когда къ

этому присоединялся еще густой контральто, пѣвучій, бархатный, сильный, то становилось очевиднымъ, что судьба баловала свою любимицу... Отъ Варвары Петровны такъ и вѣяло силой, мощью, здоровьемъ и счастьемъ любимой и любящей жены и матери...

Привѣтливо, радостно озарилось это милое лицо улыбкою, когда смущенный Крюковъ протянулъ молча свою руку Варварѣ Петровнѣ, но сейчасъ же на немъ появилось вопросительно-недоумѣвающее выраженіе.

Варвара Петровна не узнала Крюкова.

— Не узнаешь?— игриво улыбаясь, спросилъ докторъ.

Варвара Петровна сдѣлала большіе глаза мужу.

— Неужели забыли?—промычалъ Крюковъ.

— Да, Крюковъ, Дмитрій Крюковъ! Твой обожатель въ юности,—подсказалъ докторъ.

— Вы? Неужели? Боже мой!..—воскликнула Варвара Петровна и стала крѣпко жать и трясти протянутую ей руку:—Какъ же вы постарѣли, измѣнились... Васъ нельзя узнать, Дмитрій...

— Павловичъ!—подсказалъ докторъ и, смѣясь, добавилъ:—Инвалиды мы съ нимъ, въ отставкѣ. Я хоть съ мундиромъ и пенсіей, а онъ...

— Я—съ однимъ мундиромъ.

И всѣ дружно расхохотались.

— Садитесь, господа!.. Дмитрій Павловичъ! Вотъ сюда, поближе ко мнѣ!.. Ну, разсказывайте!.. Не женились?

Крюковъ махнулъ рукою.

— Некогда все было, а потомъ уже поздно.

— Опоздалъ, пропустилъ, подпись родителей... Помнишь, въ нашихъ гимназическихъ классныхъ журналахъ? Ха-ха-ха!..

И докторъ расхохотался пріятнымъ баскомъ.

— А у насъ... Володя! Поди сюда! Покажись гостю!.. У насъ сынъ и дочь.

— Да еще ожидаемъ въ недалекомъ будущемъ,— со смѣхомъ добавилъ докторъ.

Варвара Петровна смущенно покраснѣла и поправила на груди складки свободнаго платья.

— Въ ростъ, братецъ, пошли, какъ большинство нашихъ товарищей,—замѣтилъ весело докторъ.—Да и что по нынѣшнимъ временамъ дѣлать, какъ не возрастать и пріумножать „молодую Россію“! Особенно намъ... Наша пѣсенка, братъ, спѣта, мы—инвалиды, время сойти со сцены и уступить поле дѣятельности другимъ, свѣжимъ силамъ... Ну, посмотри ты, напримѣръ, въ зеркало на свою образину! Куда она годится? Одна плѣшь осталась...

— Что жъ... плѣшь... плѣшь и у тебя будетъ, - съ улыбкой смущенія произнесъ Крюковъ.

— Да какъ же вы, Дмитрій Павловичъ, попали сюда, въ Н—скъ?..—спросила Варвара Петровна.

— Прибылъ... — промычалъ въ затрудненіи Крюковъ.

Варвара Петровна звучно расхохоталась.

— Прибылъ... ха-ха-ха! Это очень мило сказано. Но когда? Зачѣмъ?

— Сіе неизвѣстно, — угрюмо сказалъ Крюковъ, затрудняясь отвѣтить на это „зачѣмъ“?

— Но, по крайней мѣрѣ, откуда?

— Изъ С--ой губерніи... Желѣзную дорогу строилъ...

— Т.-е., какъ это строили?

— Служилъ конторщикомъ...

— Хотѣлъ, значитъ, къ капиталу примазаться...— пошутилъ докторъ.

Разговорились про строящуюся желѣзную дорогу. Крюковъ разсказалъ про свою „опытную артель“ и про то, какъ она погибла...

— А какъ бы прекрасно все это было!—печально закончилъ онъ свой разсказъ.

— Для кого?—скептически спросилъ докторъ.

— Для всѣхъ... Для народа, конечно, главнымъ образомъ, а затѣмъ и для самаго дѣла; много дешевле и добросовѣстнѣе, чѣмъ это будетъ теперь, съ подрядчикомъ.

— Гм... Строители, видишь, думаютъ иначе... Для нихъ оказывается это далеко не прекраснымъ: имъ пріятнѣе имѣть дѣло съ этими... Еропкиными... Что касается народа, то, конечно, для него это было бы прекрасно. Однако, другъ мой, что за неволя имъ думать о народѣ? Что онъ Гекубѣ и что ему Гекуба?..

— А... а я убѣдилъ бы ихъ всѣхъ! Я доказалъ бы имъ!..—выкрикнулъ Крюковъ.

— Да позволь, не горячись! — остановилъ его докторъ:—Они давно убѣждены и убѣждены твердо... Да оно и понятно... По-моему этотъ... начальникъ-инженеръ правъ по-своему, если на дѣло смотрѣть чисто съ практической стороны... Еропкинъ дастъ обязательство, гарантируетъ его крупною неустойкой, будетъ принимать всевозможныя мѣры, въ собственныхъ интересахъ, къ скорѣйшему исполненію работъ... Еропкинъ толковый и съ нимъ одинъ разговоръ: „сдѣлай или лишишься залога“. А потолкуй съ твоими артелями!.. Вѣдь надо любить ихъ, идейно любить, любить голодный народъ, чтобы возиться, разбирать, убѣждать...

— Меня удивляетъ такое разсужденіе,—раздраженно сказалъ Крюковъ: — наша обязанность, нравственная обязанность интеллигенціи...

— Позволь! О чемъ идетъ рѣчь? Объ интеллигенціи или о постройкѣ желѣзной дороги? Если бы ты, интеллигентъ, чортъ тебя побери совсѣмъ, занялся постройкой дороги и употреблялъ бы въ дѣло свой капиталъ, какового у тебя за душой не имѣется, то ты могъ бы проводить въ практической жизни свои „обязанности“... Другой вопросъ — вышелъ ли бы какой-нибудь толкъ изъ этого, но могъ бы, имѣлъ бы физическую возможность... Но вѣдь ты только жалкій конторщикъ. Что

ты такое въ этомъ процессѣ? Мразь! Акціонерамъ нуженъ извѣстный процентъ на капиталъ, а всѣ эти „наши обязанности“ для нихъ плевка не стоятъ.

— Ты, кажется, марксистъ?—съ ироническою улыбкою, насмѣшливымъ тономъ произнесъ Крюковъ.

— Какой я, къ чорту, марксистъ?.. Либералъ и больше ничего!.. Хотя ты напрасно думалъ, что можешь обидѣть меня этимъ званіемъ... Я въ немъ ничего обиднаго не вижу... Выстрѣлилъ, братъ, въ воздухъ... Я читаю, слѣжу, въ качествѣ наблюдателя, за этимъ направленіемъ, интересуюсь имъ и, скажу тебѣ откровенно, нахожу, что это — во всякомъ случаѣ живая струя на сонномъ и темномъ фонѣ нашей общественной жизни... А я... я что же? Либералъ, а можетъ быть, даже и буржуй... Вѣроятно, я имъ былъ и раньше, только теперь оформился окончательно...

— Жаль!..

— Не о чемъ и жалѣть...

— Ну, господа, вы, кажется, для перваго же свиданія поссориться хотите?.. — вмѣшалась въ споръ Варвара Петровна: —Берите чай, выпейте и немного успокоитесь!..

— Ну, что за пустяки! Какія тамъ ссоры!.. Говоримъ... — отвѣтилъ докторъ и сталъ энергично мѣшать въ стаканѣ ложечкой.

— Ты мнѣ, Варя, положила сахару?

— Положила... Давно вы вернулись изъ Сибири? — обратилась Варвара Петровна къ Крюкову, чтобы прервать неловкое молчаніе.

— Давно уже... Да вотъ до сихъ поръ не могу еще избрать постояннаго жительства. Измучилъ себя и полицію, а пока все еще ни на чемъ не остановился... Думаю перебраться въ Кіевъ... буду хлопотать о разрѣшеніи...

— Тучки небесныя, вѣчные странники,— продекламировалъ докторъ, переходя въ прежній добродушный тонъ.—А ты „чистъ“ теперь совершенно?

Чистъ, насколько это возможно въ моемъ положеніи. Жить могу очень во многихъ городахъ, особенно въ уѣздныхъ...

— Ха-ха-ха! Да ты покажи имъ свою лысину... Снимись самостоятельно въ фотографіи и, при прошеніи, отправь, куда слѣдуетъ... И всѣ убѣдятся, что ты уже неспособенъ потрясать ничѣмъ, кромѣ остатка кудрей твоихъ...

— Я о себѣ лучшаго мнѣнія, чѣмъ ты обо мнѣ...— отвѣтилъ Крюковъ.

— Ого? А скажи, пожалуйста, въ своихъ взглядахъ и убѣжденіяхъ ты попрежнему неизмѣненъ и великъ? Сохранилъ своихъ „китовъ“, т.-е. артель, общину, народный духъ и т. д.?

— Неизмѣненъ, хотя и не великъ...

И не думаешь, что твои „киты“ уже пошатнулись и замѣтно рушатся, какъ это доказываютъ или стараются доказать люди новаго направленія?

— Марксисты?— съ оттѣнкомъ пренебреженія спросилъ Крюковъ и неестественно, съ ноткой какой-то досады, засмѣялся.

Что же ты смѣешься? Ужъ не такъ же въ самомъ дѣлѣ смѣшно это?.. Вѣдь не будешь и самъ ты отрицать, что господинъ капиталъ сдѣлалъ за послѣднія десять—пятнадцать лѣтъ значительныя завоеванія, а что въ „китахъ“ образовались бреши?

Я полагаю, что Воронцовъ достаточно вѣрно оцѣниваетъ эти успѣхи и бреши...

У-у!.. братецъ мой... Старо, старо!.. Для тебя только Воронцовъ остался въ этомъ отношеніи авторитетомъ... Надо только тебѣ сказать, что и самъ авторитетъ уже сдѣлалъ съ тѣхъ поръ кое-какія уступки... Теперь доказываютъ...

Ничего не докажутъ!.. — съ сердцемъ оборвалъ Крюковъ.

Онъ началъ уже сердиться, раздражаться и вспы-

хивать, между тѣмъ какъ Порѣцкій оставался совершенно спокойнымъ.

— Да, Дмитрій Павловичъ, устарѣли-съ!.. Пора на покой...— острилъ докторъ.

— А ты удивительно молодъ... Быть можетъ, вслѣдствіе этого ты и хватаешься за модныя теоріи?..—отпарировалъ Крюковъ.

— Что тамъ мода и теоріи... Всякая теорія бываетъ сперва модною... Это ничего не доказываетъ... И мы съ тобой когда-то примкнули къ моднымъ теоріямъ. Но теперь намъ время сознаться, что мы были безпочвенны... Горсть смѣльчаковъ, одушевленныхъ самыми лучшими намѣреніями и не считающихся съ условіями мѣста и времени... Вотъ почему мы такъ же быстро исчезли, какъ и появились...

— Вовсе не исчезли... Это вздоръ!..—перебилъ Крюковъ.

— А гдѣ? Что-то не слышно... Ты? Такъ ты просто археологическая рѣдкость!...

— А въ литературѣ?..

— Да такихъ, какъ ты, даже въ книжкахъ и журналахъ не осталось... Подобные „консервы“ могли сохраниться только тамъ, откуда ты вернулся и гдѣ продолжалъ съ чувствомъ глубочайшаго почтенія и безпредѣльной преданности—какъ пишутъ въ письмахъ—хранить свои мечты и планы... Колесо жизни, братъ, продолжало свое круговращеніе, а ты сидѣлъ себѣ во втулкѣ этого колеса, въ неподвижной дырѣ и былъ убѣжденъ, что кругомъ все попрежнему стоитъ неподвижно...

Варвара Петровна не вмѣшивалась уже въ разговоръ друзей. Она разливала чай, дѣлала хозяйственныя распоряженія появлявшейся горничной и лишь мило улыбалась.

Казалось, что „все это“ ея не касается и нисколько не трогаетъ...

— Скажи, пожалуйста, что ты здѣсь дѣлаешь? чѣмъ занимаешься и чѣмъ живешь?

— Корректирую вашу газету по ночамъ... Въ общемъ живу, какъ вьючный скотъ... Днемъ сплю, ночью работаю... Ѣмъ... Пью чай...

— Ахъ, я вамъ и забыла налить... простите! — воскликнула Варвара Петровна и протянула руку за стаканомъ.

— Я еще не допилъ, — глухо произнесъ Крюковъ.

Крюковъ сдѣлался вдругъ какимъ-то грустнымъ, убитымъ... Склонившись надъ столомъ, онъ смотрѣлъ въ стаканъ и молчалъ...

IX.

Было часовъ одиннадцать ночи, когда Крюковъ вспомнилъ, что на его обязанности лежитъ исправленіе чужихъ „ошибокъ“.

На дворѣ стояла непогода. Сердитая вьюга крутила снѣгомъ въ воздухѣ и засыпала бѣлой пылью стекла оконъ. Вѣтеръ жалобно плакалъ гдѣ-то и стучалъ желѣзной крышей и водосточными трубами. Жутко было на улицѣ, и такъ не хотѣлось оставлять теплыхъ, свѣтлыхъ комнатъ.

Крюковъ живо представлялъ себѣ, какъ злой вихрь будетъ трепать полы его легкаго пальтишко, срывать со злобою шляпу, сыпать холодной и колючей крупой за шею въ лицо...

Итти далеко. Ни зги не видно. Пусто. Фонари едва маячатъ тусклыми пятнами въ бѣломъ морѣ бурана... Холодно!.. Отъ одного уже представленія объ этомъ путешествіи по спинѣ Крюкова пробѣгала дрожь.

— Надо итти, — въ раздумьѣ говорилъ онъ, но не шелъ, а стоялъ у окна и смотрѣлъ на залѣпленныя снѣгомъ стекла наружныхъ рамъ, на синеватые огоньки и серебристыя искорки, игравшія въ снѣговыхъ кри-

сталлахъ отъ комнатнаго свѣта... Смотрѣлъ и не двигался съ мѣста.

Докторъ сидѣлъ въ вѣнской качалкѣ, съ сигарою въ зубахъ, и слегка покачивался, лѣниво работая правой, далеко отставленной ногою... Около красивой головы доктора носились клубы табачнаго дыма, то синіе, то блѣдножелтые, и расползаясь, улетали подъ высокій потолокъ.

Варвара Петровна сидѣла за роялью и играла Бетховенскую сонату.

Изрѣдка Крюковъ оглядывался и смотрѣлъ на нее сзади; смотрѣлъ на ея руки, полныя и бѣлыя, выхоленныя, красиво опускавшіяся и еще красивѣе поднимавшіяся надъ клавіатурою; смотрѣлъ на прозрачные и легкіе рукава ея пеньюара, которые, какъ крылья, трепетали и колыхались въ воздухѣ; на ея голову, красиво склоненную на бочокъ, съ массивнымъ узломъ русыхъ волосъ съ золотистымъ оттѣнкомъ; на красивый, словно выточенный изъ мрамора рукою художника изгибъ шеи...

И Крюковъ старался увѣрить себя въ томъ, что это та самая Варя Игнатовичъ, которая когда-то была фельдшерицей-курсисткой и беззавѣтно отдавалась на студенческихъ „вечеринкахъ съ рефератами“ вальсамъ, кадрилямъ и полькамъ...

Бѣдовая была дѣвушка! Однажды, между двумя фигурами кадрили на такой вечеринкѣ, споря съ своимъ кавалеромъ по поводу прочитаннаго реферата, Игнатовичъ сорвалась неожиданно со стула и громко заявила:

— Съ такими буржуями я не танцую!

Сказала и рѣшительнымъ шагомъ прошла черезъ весь залъ въ „мертвецкую“.

Здѣсь былъ шумъ, споры, пѣніе. Въ одной изъ группъ спорящихъ былъ и Крюковъ.

— Крюковъ! Идемте въ залъ! Мнѣ нуженъ кавалеръ, чтобы докончить кадриль...

— Я не танцую, не обученъ,—отвѣтилъ Крюковъ.

Но Игнатовичъ настояла на своемъ, вывела Крюкова подъ руку въ залъ и заставила его таки выводить спутанныя, кривыя и ломанныя линіи ногами, къ общему удовольствію хохотавшаго молодого общества.

— Браво, Крюковъ!—гремѣли вокругъ веселые голоса зрителей-студентовъ.

А Крюковъ „старался“...

Потомъ они встрѣтились въ одномъ „кружкѣ саморазвитія“, вмѣстѣ читали, спорили, разрѣшали міровые вопросы и, прокаталажившись до пѣтуховъ, провожали домой другъ друга... Крюковъ полюбилъ эту живую, умную и веселую дѣвушку... Она, кажется, тоже симпатизировала ему... Но—и только...

То было время, когда стыдно было говорить о любви и разводить „любовную канитель“. Надо было „дѣло дѣлать“...

Втайнѣ Крюковъ мечталъ о женитьбѣ на Варѣ и лелѣялъ въ душѣ эту дивную мечту, но она, эта мечта, хранилась глубоко въ тайникахъ души, держалась крѣпко подъ замкомъ и никогда не вырывалась на волю... Потомъ эта мечта улетѣла вмѣстѣ съ Крюковымъ далеко-далеко и здѣсь тихо замерла, растаяла, какъ таетъ вотъ этотъ дымъ отъ докторской сигары, и исчезла предъ лицомъ суровой дѣйствительности и прозы жизни.

Это былъ единственный романъ въ жизни Крюкова, романъ безъ начала и безъ конца, и теперь, спустя много-много лѣтъ, Крюковъ перечитывалъ его поблекшія дорогія страницы.

Колесо жизни вертѣлось. Не стало прежней Вари. Но здѣсь, рядомъ съ нимъ, дорогое воспоминаніе воплощалось въ этой красивой, но далекой и чужой ему женщинѣ... И присутствіе этой женщины воскрешало такъ ярко улетѣвшіе въ вѣчность дни золотой юности и призраки возможнаго, быть можетъ, счастья, печаль-

но улыбнувшагося и скрывшагося въ безконечномъ пространствѣ времени...

Что-то очень-очень знакомое, прежнее, былое и позабытое моментами проскальзываетъ и въ лицѣ этой „чужой женщины“, и въ ея манерѣ держать голову, въ интонаціи ея голоса, и Крюковъ ловитъ эти моменты съ какой-то жадностью, и сердце его замираетъ отъ тоски, сожалѣнія и исчезнувшаго призрака неуловимаго счастья...

Крюковъ стоялъ и смотрѣлъ. И ему хотѣлось бы стоять безконечно долго, смотрѣть на эту чудную женщину, слушать аккорды музыки и вспоминать...

Эти аккорды музыки въ какомъ-то туманѣ проплывали мимо, и Бетховенская соната была только чуднымъ аккомпаниментомъ къ той нѣжной, тихой и грустной мелодіи, которая звучала теперь въ сердцѣ лысаго „бывшаго студента“.

Вдругъ соната оборвалась.

Крюковъ вздрогнулъ и очнулся.

Лицо бывшей „Вари“ обернулось къ нему и сдѣлалось такимъ, какъ тогда, въ далекіе дни юности... Губы полуоткрылись, блеснули бѣлые зубы, и глаза заискрились смѣхомъ...

— Помните?—сказало это лицо.

Варя заиграла громкими аккордами студенческую пѣсню и запѣла...

— Да подтягивайте же, господа! Ну!..

У-ка-жи мнѣ таку-ю оби-тель...

По тѣлу Крюкова пробѣжалъ экзальтированный трепетъ, и онъ, поднявъ голову кверху, сиплымъ теноркомъ чувствительно и печально подтянулъ. А докторъ пустилъ издали, не вставая съ качалки, октавой, грозной и положительной... Вышло недурное тріо. Послѣ перваго пропѣтаго куплета на глазахъ Крюкова навернулись слезы... Богъ вѣсть, были ли то слезы печали,

слезы о былomъ и отлетѣвшемъ, или слезы счастья сознанія близости родныхъ хорошихъ людей и еще того, что вотъ прошло такъ много-много лѣтъ, колесо жизни все вертѣлось и вертѣлось, а они попрежнему вмѣстѣ, и попрежнему поютъ свою любимую студенческую пѣсню, и остаются прежними печальниками „сѣятеля".

— Готово, барыня!—произнесла дѣвушка въ бѣломъ передникѣ, внезапно появившись въ дверяхъ.

— Коля! Дмитрій Павловичъ! Ужинать. Я васъ накормлю, а потомъ прощайте!—спать пойду... Дѣтишки просыпаются рано, я тоже съ ними...

Всѣ двинулись въ столовую.

Крюковъ, печальный и задумчивый, шелъ позади всѣхъ...

За ужиномъ какъ-то никому не говорилось. Ѣли молча, лишь изрѣдка перекидываясь короткими фразами и замѣчаніями.

— Ну-съ, господа, я - спать!.. Желаю вамъ покойной ночи, главное—не поссориться!—съ улыбкою произнесла Варвара Петровна, поднимаясь съ мѣста.

Зашумѣли и застучали отодвигаемые стулья. Всѣ вышли изъ-за стола. Хозяйка крѣпко пожала руку Крюкову и, подаривъ его своей лучистой улыбкою, попросила приходить почаще и безъ всякихъ церемоній; потомъ она подошла къ мужу, и въ ушахъ Крюкова прозвучалъ крѣпкій чужой поцѣлуй...Впечатлѣніе отъ этого звонкаго поцѣлуя долго оставалось въ ушахъ Крюкова; въ лѣвомъ ухѣ оно звенѣло даже послѣ того, какъ бывшая „Варя", мелькнувъ бѣлой тѣнью въ дверяхъ, на порогѣ полутемной комнаты, исчезла, и лишь шаги ея мягко шелестѣли вдали...

Докторъ посмотрѣлъ на карманные золотые часы, звонко щелкнулъ крышечкой и сладко позѣвнулъ...

— Усталъ я что-то сегодня... Эхе-хе!..

— Надо, однако, и мнѣ отправляться,—отвѣтилъ на эту позѣвоту Крюковъ.

— Я тебѣ посовѣтую остаться у меня ночевать... Въ гостиной на диванѣ прелестно всхрапнешь!

— Не могу.

— Почему?

— Надо все-таки въ типографію забѣжать... Чортъ знаетъ, какъ тамъ безъ меня? Свинство, собственно говоря...

— Знаешь, Дмитрій, приходи къ намъ каждый день къ обѣду. По утрамъ я занятъ, а въ это время всегда къ твоимъ услугамъ...

— Не обѣдаю.

— Какъ такъ?

— Очень просто: пью чай и жру колбасу.

— А, можетъ быть, стѣсняешься? Смотри, братъ, у меня чтобы всѣ эти церемоніи къ чорту!

— Нѣтъ, право такъ... Желудокъ отвыкъ обѣдать. Попробовалъ было два раза пообѣдать по всѣмъ правиламъ искусства да и мучился за это цѣлую недѣлю...

Вихрь крутилъ вдоль улицы снѣгомъ, сыпалъ съ крышъ крупой, залѣплялъ стекла уличныхъ фонарей и складывалъ цѣлые снѣжные холмы на панеляхъ...

Крюковъ, плотно завернувшись въ пледъ, торопливо шагалъ посреди улицы, рисуясь темнымъ пятномъ въ бѣлесоватой мглѣ бурана...

Сперва онъ торопился въ типографію, но потомъ вдругъ передумалъ и круто свернулъ по направленію къ своему жилищу.

Въ эту ночь Крюковъ почти не спалъ... Долго-долго въ его одинокой комнаткѣ брезжилъ свѣтъ лампы, а самъ онъ выстукивалъ ногами свои грустныя думы. А потомъ, когда Крюковъ пересталъ ходить,—онъ до самаго свѣта ворочался съ боку на бокъ въ постели и о чемъ-то вздыхалъ...

И непремѣнно у насъ. Имъ что? Придутъ, нажрутся, напьются, да и уйдутъ... А ты тутъ майся! И отдохнуть нельзя... — говорила она въ пространство, со злостью, еще наканутѣ празднества.

— Обычай, Татьяна Игнатьевна... Ничего не подѣлаешь,—тихо возразилъ сидѣвшій въ углу Крюковъ.— Традиція!..

— Хм... Обычай!.. Вы думаете, что они, какъ добрые люди, соберутся, поѣдятъ, выпьютъ, поиграютъ въ карты да и по домамъ разойдутся? Держи карманъ! Начнутъ языки чесать—рѣчи свои безтолковыя говорить, орать начнутъ, подкидывать другъ друга, а потомъ...

Татьяна Игнатьевна махнула рукой и, понизивъ тонъ, продолжала:

— Потомъ стыдно смотрѣть будетъ... Налакаются,— прямо уходи вонъ! Въ прошломъ году двое молодцовъ такъ и свалились въ гостиной... Диванъ испортили... Двадцать цѣлковенькихъ пришлось за одну обивку отдать... Хм!..

— Будетъ вамъ, мамаша, — недовольно замѣтилъ Порѣцкій...

— Мамаша, мамаша... Намаялась съ вами мамаша-то, хлебнула горя. Если бы не мамаша, такъ ты, пожалуй, тоже всю бы жизнь свою въ Сибири пробылъ... Вотъ что! Кто за тебя хлопоталъ, пороги обивалъ да прощенье вымаливалъ? Ахъ вы, неблагодарные!.. Ни стыда въ васъ, ни совѣсти. Ужъ если мать не жалко, такъ хоть бы жену-то пожалѣлъ!.. Да развѣ можно въ такомъ положеніи...

Порѣцкій состроилъ гримасу, махнулъ рукой и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

— Дмитрій Павлычъ! иди, братъ, сюда! — крикнулъ онъ издали.

— Небойсь, Дмитрій Павлычъ сумѣлъ бы цѣнить мать свою, если бы она его теперь на ноги поставила...—проворчала Татьяна Игнатьевна.

Крюковъ шевельнулся въ креслѣ, кашлянулъ и поправилъ галстухъ. Этотъ комплиментъ непріятно кольнулъ его самолюбіе и заставилъ покраснѣть...

— Пора въ типографію...—произнесъ онъ и всталъ.

— Сидите! Куда вы? Въ кабинетъ, что ли? къ нему?

— Нѣтъ... Въ типографію надо итти... На всю ночь, до утра...

— Ходилъ бы вотъ этакъ же въ какую-нибудь типографію на всю ночь, если бы не мать, а то и еще хуже, въ родѣ Воронина... — еще разъ проворчала по адресу отсутствующаго сына Татьяна Игнатьевна и съ жалостью посмотрѣла на Крюкова.

— Такъ-то, батюшка! Наглупимъ въ молодости, а потомъ и маемся всю жизнь. До свиданья, голубчикъ!

— А кто такой этотъ Воронинъ? — спросилъ Крюковъ, желая узнать, не объ извѣстномъ ли ему Воронинѣ идетъ рѣчь.

— Есть тутъ одинъ стрикулистъ. Тоже студентомъ былъ... Въ прошломъ году затесался незванно-непрошенно на это самое торжество и такого скандалу надѣлалъ, что за полиціей пришлось посылать... Пропойца.

— Дмитрій! Ты уходишь?—спросилъ докторъ, отворяя дверь кабинета, когда Крюковъ шелъ въ переднюю

— Иду... Мнѣ пора... Скоро восемь.

— Приходи завтра.

— Можетъ быть... Развѣ изъ типографіи, если не будетъ поздно...

— Какое тамъ поздно! Завтра начнется, а послѣзавтра кончится... Приходи!.. Посмотришь публику...

— Ладно, постараюсь... Прощай!

— Будь здоровъ, голубчикъ!.. Да... я сейчасъ ѣду; быть можетъ, по пути, подвезу тебя?.. Ахъ, нѣтъ!.. Намъ, впрочемъ, въ разныя стороны. Тебѣ направо, а мнѣ налѣво... Груша! Груша! Гдѣ же вы?..

Явилась горничная.

— Подайте же пальто! Неужели вамъ каждый разъ говорить?

— Да они не даются, — недовольно сказала Груша.

— Я самъ, самъ... Не надо!

Но Груша, раздраженная несправедливымъ выговоромъ барина, схватила за одинъ свободный еще рукавъ пальто Крюкова и натянула его со злостью на гостя.

— Ты, оказывается, знаешь Воронина? — спросилъ Крюковъ, стоя въ пальто и шляпѣ въ передней.

— Знаю. А что?

— Вотъ несчастный человѣкъ! Мнѣ его страшно жаль.

— Спился... Я ужъ съ нимъ возился, братецъ, да бросилъ: два раза одѣвалъ его и обувалъ, пробовалъ ввести его въ трезвое общество и никакихъ толковъ не вышло... Продержится недѣлю, много другую, и опять та же исторія, опять голъ, какъ соколъ, и является клянчить тридцать копеекъ...

— Такой симпатичный парень...—задумчиво произнесъ Крюковъ, берясь за скобу двери.—Ужасно жаль!..

— Чего тутъ жаль? Стрихниномъ надо насытить, жалѣть совершенно безполезно. Въ больницу надо его и стрихниномъ... Пьяный—невозможный человѣкъ, и я совѣтую тебѣ быть все-таки подальше... Привяжется, такъ трудно будетъ отвязаться... Скандалистъ ужасный.

— Поклонись Варварѣ Петровнѣ!.. Я съ ней не простился, — сказалъ, растворяя дверь, Крюковъ и почувствовалъ, какъ въ лицо его бросилась краска.

— Ничего!.. Ей сегодня нездоровится, капризничаетъ... все это празднество виновато... — отвѣтилъ вслѣдъ исчезающему за дверью Крюкову докторъ и, когда дверь затворилась и сама заперлась, строго приказалъ горничной:

— Пусть подаютъ лошадь! Живо!

— Лошадь, баринъ, готова, ждетъ у крыльца.— отвѣтила горничная.

— А въ такомъ случаѣ—шинель!

Груша кинулась къ вѣшалкѣ. Докторъ немного нагнулся, принялъ на плечи шинель и, надѣвъ бобровую шапку, подошелъ къ большому зеркалу и поправилъ ее, сдвинувъ немного на бокъ. Потомъ покрутилъ усъ, ловко подхватилъ борты шинели и двинулся къ дверямъ.

Груша поспѣшно и предупредительно опередила барина и распахнула ихъ, отойдя въ сторону.

Груша, въ своемъ коричневомъ платьѣ и бѣломъ передникѣ, со своимъ румянцемъ и лукавостью въ карихъ глазахъ, своей молодой и здоровой вертлявостью опять обратила вниманіе барина, и онъ, проходя мимо, выставилъ руку изъ-подъ борта шинели и слегка ущипнулъ дѣвушку повыше локтя.

— Оставьте! барынѣ скажу, — сердитымъ шопотомъ крикнула Груша и, съ веселой и довольной улыбкою, отскочила въ сторону...

Дверь громко хлопнула. Вздрогнулъ колокольчикъ. Мигнула лампа на столикѣ передъ зеркаломъ... и докторъ исчезъ...

XI.

— Уфъ! Устала до смерти...

Съ этими словами Татьяна Игнатьевна бухнулась своимъ грузнымъ корпусомъ въ кресло и какъ-то безпомощно опустила пухлыя руки...

— Съ ангеломъ, Татьяна Игнатьевна!—проговорила она съ досадою, переводя духъ.

Татьяна Игнатьевна измучилась...

Да и было, впрочемъ, отъ чего измучиться.

Сегодня съ ранняго утра она не присаживалась на мѣсто. На кухнѣ шла кипучая, лихорадочная дѣятельность, съ „баталіями“ между прислугой и старой барыней, съ вспышками и раздраженіемъ съ обѣихъ сто-

ронъ, съ кухонными несчастіями и т. д. Новая кухарка Маланья (Татьяна Игнатьевна мѣняла кухарокъ чаще, чѣмъ мѣняютъ „порядочные люди“ перчатки), не успѣвшая еще оріентироваться на новомъ мѣстѣ и освоиться съ новыми господами, дѣлала промахъ за промахомъ и своимъ резонерскимъ оправданіемъ: „какъ сразу угодить: одни любятъ перепрѣто, другіе недопрѣто“—только еще болѣе бѣсила впечатлительную въ кухонномъ отношеніи Татьяну Игнатьевну.

Было около пяти часовъ вечера.

Большой залъ уже былъ приготовленъ къ пріему „милостивыхъ государей“. Здѣсь, въ сумеркахъ нахмурившагося зимняго вечера, бѣлѣлъ скатертями рядъ составленныхъ для пиршества столовъ, накрытыхъ на двадцать восемь кувертовъ. Посреди стола сплошною массою темнѣла зелень цвѣтовъ, надъ которою, рѣзко очерченными силуэтами, топырились руки—вѣтви лапчатыхъ пальмъ. Вина, въ красивыхъ фигурныхъ бутылкахъ и хрустальныхъ графинахъ, тѣснились подъ сѣнь зелени, словно имъ хотѣлось спрятаться отъ жаднаго взора ожидаемыхъ „милостивыхъ государей“. Слабый свѣтъ уходящаго дня, прорываясь сквозь кисейныя занавѣси большихъ оконъ, слабо вибрировалъ на хрусталѣ, фаянсѣ и металлическихъ колпачкахъ бутылокъ. Стеариновыя свѣчи торчали вдоль стола, какъ телеграфные столбы на почтовомъ трактѣ, а вѣнскіе гнутые стулья, какъ солдаты, построились въ каре вокругъ столовъ и спокойно выжидали аттаки...

Казалось, большой и пустынный пока залъ сознавалъ всю важность наступающаго момента и торжественно и величаво, въ глубокомъ молчаніи, ждалъ его... Нарушали это молчаніе только двое часовъ: стѣнные и бронзовые, что̀ стояли въ докторской пріемной въ амбразурѣ надъ каминомъ; стѣнные стучали солидно и степенно, не торопясь, въ то время какъ бронзовые тикали какъ-то безпечно и легкомысленно...

— Уфъ! — еще разъ ухнула Татьяна Игнатьевна:— И хоть бы кто помогъ! Хоть бы этотъ Крюковъ пришелъ... Такъ шляются, а какъ работать—нѣтъ никого! Охо-хо-хо! Глаза бы мои не смотрѣли на васъ...

Солидные часы начали медленно выбивать ударъ за ударомъ.

— Разъ, два, три... — считала про себя Татьяна Игнатьевна и, насчитавши пять, уже вслухъ подумала:— Черезъ часъ съѣзжаться начнутъ, а Коля спитъ еще и огня нигдѣ нѣтъ... Нечего сказать, порядки!—Груша! Груша! Гдѣ ты? Вѣчно запропастятся... Такъ шныряютъ, а когда надо—никогда не дозовешься...

Татьяна Игнатьевна съ кряхтѣніемъ поднялась съ кресла и неистово закричала:

— Гру-ша! Грушка!

— Здѣсь! Иду! — откликнулась откуда-то издалека горничная.

— Что прикажете?

— Гдѣ вы вѣчно шляетесь? Чортъ васъ носитъ, прости, Господи!

— Что прикажете? — повторила смиренно дѣвушка.

— Этакое мученье! Зажигай огни!

Затѣмъ, ворча что-то себѣ подъ носъ, Татьяна Игнатьевна отправилась будить сына.

Докторъ дѣлалъ сегодня серьезную операцію и возвратился хотя и довольный своимъ успѣхомъ, но усталый, и теперь въ кабинетѣ спалъ крѣпко и сладко, какъ невинный младенецъ.

— Коля! Николай Васильевичъ! Въ пять велѣлъ разбудить, а пять пробило ужъ...

— Гм... отвяжитесь ради Бога. Скажите, дома нѣтъ.

— Да вѣдь торжество у насъ скоро должно открыться. Опомнитесь!

— Мм... Оставьте ради Бога!

— Да университетъ-то вспоминать...

— А-а-а... да, да... Ахъ! а-а-а!..

Николай Васильевичъ лѣниво потянулся и нехотя поднялся съ турецкаго дивана. Посмотрѣвъ на часы, онъ еще нѣсколько разъ зѣвнулъ, хрустнулъ пальцами, энергично плюнулъ и хриплымъ и сердитымъ голосомъ закричалъ:

— Приготовьте фрачную пару!

А самъ пошелъ въ одной жилеткѣ къ мраморному умывальнику...

Въ залѣ загорѣлись огни. Убранный столъ словно ожилъ и красиво поднялся изъ темноты; засіялъ и заблисталъ хрусталь, фарфоръ, бутылки, графины; пальмы словно выросли вдругъ и гордо раскинулись, разбросавшись вѣтвями...

А спустя четверть часа къ парадному подъѣзду стали съ шикомъ подкатываться легкія санки съ худыми и упитанными „милостивыми государями“...

Когда, покончивъ корректуру, Крюковъ пришелъ къ Порѣцкимъ, измученный и раздраженный какимъ-то непріятнымъ разговоромъ съ секретаремъ редакціи, торжество было въ разгарѣ. Крюковъ пришелъ „сзади“, черезъ черное крыльцо. Какъ человѣкъ „свой“, онъ нашелъ это болѣе удобнымъ для себя и для хозяевъ. Въ случаѣ чего, всегда можно обратиться вспять, да и лучше войти незамѣченнымъ, безъ звонковъ, безъ встрѣчъ... Чортъ ихъ знаетъ, какъ еще все это будетъ? Быть можетъ, тутъ такой шикъ и изысканность, что не совсѣмъ и удобно заявиться въ такомъ костюмѣ, въ сюртукѣ съ тремя пуговицами и въ брюкахъ съ бахромой. Да и рубашка не первой свѣжести... Лучше посмотрѣть сперва, такъ сказать, издали...

Крюковъ раздѣлся въ темной передней задняго входа, положилъ комомъ свое пальтишко на одинъ изъ стоявшихъ здѣсь сундуковъ, а калоши, чтобы не искать ихъ долго въ случаѣ надобности, вложилъ въ рукава пальто... Все это онъ накрылъ пледомъ, поправилъ ладонью остатки своихъ кудрей, сдвинулъ на

мѣсто галстухъ, похлопалъ ладонью руки, вмѣсто щетки, низы своихъ брюкъ и тихо, высматривая впередъ и заглядывая въ стороны, двинулся къ столовой.

Изъ дальнихъ парадныхъ комнатъ доносился гулъ смѣшанныхъ голосовъ, хохотъ, выкрики, звонъ посуды, хлопанье откупориваемыхъ бутылокъ...

Въ столовой за самоваромъ сидѣла злая, какъ фурія, Татьяна Игнатьевна и съ остервенѣніемъ разливала чай, злобно швыряя ложки и стукая крышкой большого чайника.

— Мое почтеніе, сударь! — непривѣтливо сказала она, увидѣвъ входящаго Крюкова.

— Съ ангеломъ, Татьяна Игнатьевна!—тихо сказалъ тотъ, подходя къ именинницѣ съ протянутой рукою.

— Хорошъ ангелъ! Благодарю покорно...

— Гм... да... у васъ веселье?—произнесъ Крюковъ, присаживаясь къ чайному столу.

— Хорошо веселье! Какъ въ кабакѣ!—недовольнымъ тономъ отвѣтила Татьяна Игнатьевна.—Половина уже перепилась, теперь остальные накачиваются...

Зашуршали шелковыя юбки,—и въ столовую вошла, въ роскошномъ бѣломъ платьѣ, сильно декольтированная, вся какая-то воздушная и легкая, Варвара Петровна. Запахло духами, повѣяло неуловимо-нѣжнымъ и тонкимъ ароматомъ, словно вмѣстѣ съ Варварой Петровной ходила сама весна, устилая путь этой красивой женщины только-что распустившимися цвѣтами...

Крюковъ какъ-то испуганно вскочилъ со стула, покраснѣлъ и раскланялся.

Но Варвара Петровна была чѣмъ-то сильно занята и озабочена. Она подала Крюкову свою руку, сказала „здравствуйте“, а потомъ, наклонившись къ уху Татьяны Игнатьевны, что-то ей шепнула и, поматывая надѣтымъ на руку вѣеромъ изъ страусовыхъ перьевъ, быстро исчезла. Остался только нѣжный и тонкій ароматъ...

Какъ-то немного обидно стало Крюкову. Не спро-

сила даже, какъ онъ очутился въ столовой и когда пришелъ?.. „Ахъ, да что тутъ обижаться? Конечно, человѣкъ „свой“, нечего церемониться“, — успокоилъ себя сейчасъ же Крюковъ.

— Выпейте-ка со мной стаканчикъ чаю! Извольтека! — сказала Татьяна Игнатьевна, подавая Крюкову стаканъ чаю.—Вотъ варенье, а вонъ сливки, лимонъ... Съ чѣмъ хотите...

— Спасибо. Выпью. Давно уже у васъ собрались?

— Съ шести часовъ маюсь... Одного чаю, поди, стакановъ сто налила...

— Рѣчей еще не говорили?

— Нѣтъ, батюшка, рано еще... Не всѣ перепились! Рѣчи у нихъ послѣ, когда всѣ ужъ налижутся...

Крюковъ ухмыльнулся.

— Жаль мнѣ Варю, ей бы въ капотахъ ходить, а тутъ затягивайся... Экая неволя, подумаешь!..

— А кто говоритъ рѣчи хорошо у васъ?

— Да тутъ адвокатъ одинъ есть у насъ, Красавинъ ему фамилія... Потомъ помощникъ у него, молодой,— холостой еще, — тоже въ прошломъ году говорилъ... Болталъ не меньше часа... Да вы ступайте туда! что вамъ со мной, старухой, сидѣть?.. Соскучитесь.

— А что мнѣ тамъ дѣлать? Покуда посижу здѣсь.

— Вы, никакъ, вѣдь не пьете?

— Нѣтъ.

— Сѣли бы въ карточки поиграть... Вонъ учителя, которые не пьютъ, всѣ усѣлись въ кабинетѣ и смирненько играютъ себѣ... Пошли бы и вы къ нимъ въ партію!..

— Не умѣю и въ карты играть, Татьяна Игнатьевна.

— Надо, батюшка, выучиться. Безъ этого скучно непьющему человѣку...

На этомъ ихъ разговоръ оборвался. Въ столовую влетѣлъ Николай Васильевичъ немного въ возбужденномъ состояніи.

— Ба! ты здѣсь? Что же ты сидишь тутъ, какъ сычъ? Идемъ!

Докторъ подхватилъ Крюкова подъ руку и потащилъ. Крюковъ упирался.

— Коля! а ты тише! сюртукъ ему изорвешь... у него, поди, послѣдняя одежонка-то,—замѣтила Татьяна Игнатьевна, останавливая порывъ сына.

— Ничего, сошьемъ новый... Идемъ же!.. экъ, уперся!..

— Да погоди, самъ пойду... Нечего мнѣ тамъ дѣлать,—уклонялся Крюковъ.

— Удивительно! Точно изъ Австраліи пріѣхалъ... Боишься ты, что ли, людей? А еще „дѣятелемъ“ себя считаешь?!.

— Вовсе не боюсь, а просто сейчасъ нерасположенъ.

— Да отвяжись ты отъ него, Коля!—вставила опять Татьяна Игнатьевна.

— Пойдемъ, я тебя познакомлю съ студіозомъ, съ братомъ Варвары Петровны... Самый свѣжій, только что присланный изъ столицы. Такой же, братъ, какъ ты, пролетарій...

— Ну, погоди немного.

— Чего тутъ ждать?..

И докторъ силою выволокъ Крюкова въ залъ.

Гостей здѣсь было очень много, и всѣ оживленно болтали или наслаждались уединеніемъ со стаканомъ вина.

Былъ здѣсь Красавинъ, блестящій адвокатъ, не брезгливый въ выборѣ дѣлъ и успѣвшій сколотить себѣ порядочный капиталецъ. Это былъ человѣкъ, съ наукой никакихъ отношеній не имѣющій, если не считать, конечно, за науку безчисленнаго множества изученныхъ и изучаемыхъ имъ „кассаціонныхъ рѣшеній“, „разъясненій“ и т. п. Отъ временъ студенчества въ немъ осталось очень немного: любовь кутнуть по-

молодецки, изрѣдка сбросить всѣ стѣсняющія условности своего солиднаго положенія въ городѣ и въ обществѣ, своей извѣстности, попѣть хоромъ „Изъ страны, страны далекой“, изрѣдка даже помальчишествовать, подурачиться. Но все-таки Красавинъ былъ достаточно „прогрессивенъ“: читалъ газеты, слѣдилъ за иностранными извѣстіями, порой довольно рѣзко высказывался. Вообще ретроградомъ Красавина назвать было нельзя, либераломъ—тоже нельзя, а для нашего родного консерватора онъ былъ слишкомъ уменъ... Самъ про себя Красавинъ говорилъ, что онъ „свободомыслящій“...

Былъ здѣсь директоръ гимназіи, сухой, желчный старичекъ, съ геморроидальнымъ страданіемъ на лицѣ, съ сѣдыми съ виска на високъ зачесанными волосами. Былъ помощникъ Красавина, который въ прошломъ году—„болталъ не меньше часу“. Былъ старшій врачъ больницы, субъектъ колоссальныхъ размѣровъ, съ брюшкомъ, съ толстой въ складкахъ шеей и съ мутно-оловянными глазами на выкатѣ, сильно сопѣвшій и напоминавшій Петра Петровича Пѣтуха. Былъ городской голова изъ купцовъ первой гильдіи, плотный, коренастый, съ бородой лопатою и со своимъ „знакомъ“. Было много педагоговъ, судейскихъ, врачей, двое городскихъ судей, земскій начальникъ Оболдуй-Тараканов и еще много другихъ.

— Господа! Вотъ рекомендую, нѣкто Крюковъ, бывшій питомецъ университета, — закричалъ Порѣцкій, вводя въ залъ Крюкова.

Нѣкоторые обратили вниманіе, а очень многіе даже не посмотрѣли.

— Ну, ты прокуроръ! вотъ познакомься! Матеріалъ для тебя... Слышишь? А ты его не бойся, — добавилъ Порѣцкій, обращаясь къ Крюкову.

Прокуроръ, хмельной, но еще вполнѣ приличный, нѣсколько сконфузился и молча подалъ руку Крюкову.

— А вотъ нашъ старѣйшій „питомецъ“... Эскулапъ, старшій врачъ больницы... Нѣсколько тысячъ ужъ отправилъ ad patres!

Эскулапъ тянулъ какую-то жидкость изъ стакана и поздоровался съ рекомендуемымъ тоже молча, глядя куда-то мимо...

— А вотъ и тотъ студіозъ, братъ Варинъ, о которомъ я говорилъ тебѣ... Послѣднее „изданіе“! Тоже сидитъ, какъ сычъ, въ углу, не пьетъ, не кушаетъ, молчитъ; однимъ словомъ, вы—два сапога пара!

— Игнатовичъ! — серьезно отрекомендовался студентъ, слабо пожалъ руку Крюкова и опять сѣлъ въ кресло, въ углу.

— Крюковъ! бывшій студентъ, — отвѣтилъ Крюковъ.

Дальнѣйшая рекомендація оборвалась, ибо Порѣцкій, приглашенный кѣмъ-то выпить, бросилъ обоихъ „сычей“, ушелъ и забылъ объ ихъ существованіи.

Крюковъ взялъ свободный стулъ и подсѣлъ къ Игнатовичу.

— Давно вы здѣсь?—спросилъ Крюковъ.

— Только сегодня пріѣхалъ.

— Надолго?

— Не знаю.

— За что?

— Тоже не знаю... — тихо отвѣтилъ Игнатовичъ, искоса посмотрѣвъ на сосѣда...

Посидѣли, помолчали. Разговоръ не клеился. Игнатовичъ оказался человѣкомъ несловоохотливымъ.

Крюковъ поднялся со стула и пошель бродить по комнатамъ.

Публика разбилась на группы: болѣе солидные сидѣли за столомъ, другіе уединенно бесѣдовали по угламъ, сидя и стоя. Изъ пріемной слышалось: „Трефы! Мои. Бубны! Мои. Пасъ! Вистъ!“

Помощникъ Красавина взялъ Крюкова за талію и

началъ съ нимъ разговоръ о студенчествѣ, вспомнилъ „наше время, когда“, не совсѣмъ лестно отозвался о своемъ принципалѣ, Красавинѣ, пожаловался на скудость практики въ Н—скѣ и не безъ паѳоса произнесъ:

— Развѣ мы, идеалисты, можемъ когда-нибудь устроить свое благосостояніе? У насъ — разные принципы, убѣжденія!.. Все это подлецамъ на руку... Я, напримѣръ... да развѣ я не имѣлъ бы давно уже состоянія, если бы захотѣлъ? Мы, батенька, жертвы своей собственной порядочности...

— Виноватъ!.. Я сейчасъ... извините!—проговорилъ Крюковъ и оставилъ вертляваго господина въ пенснэ и съ широкой закинутой за ухо тесьмой. Этотъ господинъ раздражалъ Крюкова; долго онъ сдерживался, терпѣлъ, но больше не стало силъ: — улизнулъ отъ „идеалиста“.

XII.

Освѣжившись отъ потока шумныхъ и безтолковыхъ впечатлѣній и успокоивъ вызванное разговоромъ съ „идеалистомъ“ раздраженіе мимолетной бесѣдой съ Варварой Петровной, Крюковъ опять пошелъ въ залъ.

Въ одномъ углу сгруппировалась кучка гостей и крикливо спорила. Подойдя поближе, Крюковъ услышалъ, что стоящіе то и дѣло упоминаютъ о „марксистахъ“. Это его заинтересовало; онъ пододвинулся еще поближе.

Центръ группы составляли три лица: молодой земскій врачъ въ очкахъ, съ пышной шевелюрой и съ семинарскимъ выговоромъ на „о“; кандидатъ на судебныя должности, худой, съ длинной шеей и чахоточнымъ лицомъ, и, къ удивленію Крюкова,—земскій начальникъ Оболдуй-Тараканов.

Вокругъ нихъ стояло нѣсколько человѣкъ, которые хотя непосредственнаго участія въ спорѣ не принимали,

но, тѣмъ не менѣе,—проявляли это участіе: мимикой, жестами, односложными восклицаніями „вѣрно!“, „чепуха!“, „само собою разумѣется!“ и т. п.

Подошелъ еще Порѣцкій, послушалъ, вмѣшался и влѣзъ въ центръ. Земскій врачъ съ семинарскимъ акцентомъ ругалъ самыми обидными словами марксистовъ. Упоминались журнальныя полемическія статьи и произносились буквальныя выдержки изъ нихъ. Кандидатъ на судебныя должности защищалъ марксистовъ. Оболдуй-Тараканов ругалъ всѣхъ: и народниковъ, и марксистовъ, и либераловъ...

Крюковъ долго слушалъ и не стерпѣлъ: присоединился къ земскому врачу, явившись весьма солиднымъ для него подкрѣпленіемъ. Оболдуй-Тараканова побили. Этотъ постепенно уступалъ и началъ переходить на сторону земскаго врача и Крюкова. Зато къ кандидату на судебныя должности присоединился докторъ Порѣцкій... Начался горячій бой, хотя и достаточно безтолковый, хаотическій, въ которомъ ораторъ не только не щадилъ врага, но очень часто наносилъ крѣпкіе удары даже самому себѣ, не говоря уже о союзникахъ...

— Все для народа и все посредствомъ народа, — пѣвуче формулировалъ что-то Крюковъ.

— Позвольте-съ! А если это одно лишь пожеланіе? Благими желаніями адъ вымощенъ...

— А какъ это „посредствомъ“? — загремѣлъ баритонъ Порѣцкаго.—Какъ-съ? Это посредствомъ того народа, который тебя, интеллигента, какъ пса смердящаго, убиваетъ, когда ты идешь защищать его отъ холеры? Который не понимаетъ, кто его другъ, который въ нуждѣ и невѣжествѣ своемъ...

— Позвольте!—сильно ударяя на „о“, перебиваетъ земскій врачъ, поправляя спадающія очки.—Надо этой нуждѣ помогать, надобно просвѣщать, надобно...

Чахоточный кандидатъ на судебныя должности не даетъ ему докончить:

— Эка, Америку открыли! Эка... Не надо быть, кажется, и радикаломъ, чтобы...

— Позвольте-съ! дайте мнѣ докончить мысль! — кричитъ земскій врачъ. Но кандидатъ не обращаетъ вниманія и кричитъ еще громче, съ пѣной у рта:

— Не надо быть радикаломъ, чтобы вѣрить, что ученье свѣтъ, а неученье тьма! Достаточно не быть только идіотомъ. Я говорю о болѣе широкихъ задачахъ и программахъ... Вы мнѣ докажите...

— Позвольте-съ!

— Вы намъ докажите, что ваша община способна создать въ будущемъ новое общество, близкое къ идеаламъ...

Тутъ кандидатъ вытянулъ шею, посмотрѣлъ, гдѣ сидитъ прокуроръ, и шопотомъ докончилъ:

— Соціализма...

Какъ только кандидатъ началъ шопотомъ, Порѣцкій ударилъ баритономъ, громкимъ и смѣлымъ:

— Извѣстно, господа, что теперь даже ваши единомышленники сознаются, что община и всѣ другіе ваши „киты“ не развиваются, а разрушаются... Стало быть, вопросъ можно поставить такъ: способны ли мы, интеллигенція въ широкомъ смыслѣ этого слова, остановить это разрушеніе; замѣтно ли такое направленіе и есть ли шансы къ самой возможности повернуть клячу, именуемую прогрессомъ, въ бокъ, въ сторону?...

— Есть, есть! — послышались голоса изъ публики.

— А я вамъ скажу: есть только одно ваше желаніе... Вопросъ въ томъ, гдѣ вожжи и кнутъ, чтобы стегнуть клячу?.. Вы стоите и думаете: „да если бы мнѣ въ руки вожжи и кнутъ, такъ я бы!“...

Раздался общій дружный хохотъ.

Заинтересовался, видно, споромъ и молчаливый Игнатовичъ: онъ подошелъ и сталъ, скептически улыбаясь, слушать, но никакого желанія вмѣшиваться не выказывалъ.

— А въ телѣгѣ сидитъ господинъ капиталъ и, если вы вознамѣритесь присѣсть хоть на задокъ (вы, интеллигенты!),—онъ стегнетъ васъ кнутикомъ...—съ апломбомъ говорилъ Порѣцкій. — Почему кляча вдругъ, ни съ того, ни съ сего, повернетъ въ сторону?..

— Какъ ни съ того, ни съ сего?

— А идеи? Наука?...

— Господа! — выступилъ опять кандидатъ: — позвольте!

— Вы говорите, что капиталъ съѣстъ самъ себя?— закричалъ на „о“ земскій врачъ:—Почему? Гдѣ доказательства? А можетъ быть, стадіи его развитія будутъ безконечно повторяться, какъ повторяются видимыя фазы луны?...

— Оставимъ это! Что тамъ будетъ въ туманѣ временъ,—перебилъ кандидатъ,—намъ, положимъ, неизвѣстно. Но что происходитъ въ данный моментъ,—мы видимъ...

— Ничего не видимъ!—крикнулъ чей-то голосъ изъ публики.

— Жаль! возьмите глаза въ зубы!—огрызнулся на сторону кандидатъ и продолжалъ:—цифры, факты, дѣйствительность, ежедневный опытъ даютъ намъ полное основаніе думать, что мы не ошибемся, если послѣдуемъ за передовыми людьми Запада... если мы подготовимся и воспользуемся наглядным урокомъ исторіи...

— Это мерси-съ! Это вы насчетъ „котла“, что ли?— „заокалъ“ врачъ изъ семинаристовъ...

— Это насчетъ „переварки“? Ха-ха-ха!

— Глупо!

— Совсѣмъ по-идіотски!

— Господа, господа! Оставьте!...

Кружокъ спорящихъ вдругъ разомъ разсыпался въ стороны, словно въ средину его была брошена разрывная бомба. Роль этой бомбы сыграли аккорды рояля: Варвара Петровна, чтобы остановить висѣвшую въ воз-

духѣ ссору, подошла къ роялю и заиграла вдругъ что-то громкое и бравурное.

На мгновеніе аккорды заглушили смѣшанный гулъ голосовъ, криковъ, смѣха и звона посуды... Когда Варвара Петровна громко окончила бравурную вещь,—въ залѣ сравнительно стихло. Помощникъ Красавина, „идеалистъ“ въ пенснэ съ широкимъ закинутымъ за ухо шнуромъ, стоялъ позади хозяйки, склонившись надъ нотами, и скашивалъ свой взоръ на приколотую къ груди ея розу... Потомъ онъ что-то тихо сказалъ ей, отодвинулся, всталъ въ позу, поправилъ на носу пенснэ и громко крикнулъ:

— Я прошу одну минуту вниманія! Господа!..

Когда всѣ обратили на него вниманіе, онъ выпятилъ впередъ грудь заложилъ правую руку за бортъ сюртука и началъ съ чувствомъ декламировать, картавя на буквѣ „р“, стихотвореніе Надсона:

Мы спорили долго, до слезъ напряженья...
Мы были всѣ въ сборѣ, но были одни...

Паѳосъ декламатора возрасталъ, голосъ подымался все выше, переходя въ непріятно-крикливые визги... Но вотъ этотъ голосъ упалъ и замеръ: „идеалистъ“, жадно пожирая Варвару Петровну очами, почти зашепталъ:

И молча тогда подошла ты къ рояли,
Коснулась задумчиво клавишъ нѣмыхъ,
И страстная пѣсня любви и печали,
Звеня, изъ-подъ рукъ полилася твоихъ...

Когда декламаторъ кончилъ—загремѣли апплодисменты... Даже жирный эскулапъ, все ниже и ниже склонявшійся надъ стаканомъ и все громче и громче пыхтѣвшій, пріоткрылъ посоловѣлые глаза и лѣниво, двумя пальцами, похлопалъ по ладони...

Крюковъ еще не успокоился послѣ спора. Онъ ходилъ крупными шагами по комнатамъ, отиралъ плат-

комъ выступившій на его лбу и шеѣ потъ; на лицѣ его нервно вздрагивалъ глазной мускулъ и въ горлѣ ощущалась какая-то сухость... Крюковъ о чемъ-то усиленно думалъ, иногда улыбался торжествующей, а иногда досадною улыбкою, потиралъ руки и, наконецъ, подсѣлъ къ угрюмому Игнатовичу...

— Невозможно говорить: всѣ кричатъ разомъ, не даютъ говорить и не слушаютъ...—заговорилъ онъ, опускаясь на сосѣдній стулъ...

— Какъ на сходкѣ...—согласился Игнатовичъ.

— Вы что же молчали?—спросилъ Крюковъ.

— Въ данномъ случаѣ считалъ безполезнымъ говорить. Интересно было только послушать... этотъ базаръ...

—Никакъ опять этотъ господинъ хочетъ декламировать?.. Вотъ субъектъ!

— Гадина!

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ!..

раздалось въ минорномъ тонѣ.

Игнатовичъ и Крюковъ переглянулись и подарили другъ друга многозначительными улыбками.

— Это мнѣ нравится... —иронически замѣтилъ Игнатовичъ.

Крюковъ оживился и почувствовалъ себя хорошо съ Игнатовичемъ. Симпатичный парень; кажется, довольно дѣльный... Во всякомъ случаѣ, здѣсь это единственный человѣкъ, который ему близокъ, съ которымъ онъ можетъ говорить прямо и искренно...

— Что же вы будете здѣсь дѣлать?

— Еще и самъ не знаю... Буду искать работы.

— Паршивый городишко!.. Трудно. Я вотъ ночнымъ корректоромъ служу въ „Вѣстникѣ“ за 25 рублей въ мѣсяцъ. Эксплоатируютъ нашего брата...

— Въ порядкѣ вещей... Мы — маленькія колесики одной большой машины... Стерлось это колесико, сло-

мался у него какой-нибудь зубчикъ,—и къ чорту! Такихъ колесиковъ имѣется въ распоряженіи легіонъ... Да и вообще мы, интеллигентный пролетаріатъ, въ этомъ отношеніи ничѣмъ не отлйчаемся отъ обыкновеннаго, неинтеллигентнаго...

Декламаторъ пѣлъ и кричалъ, а Игнатовичъ съ Крюковымъ, сидя въ дальнемъ углу, тихо бесѣдовали.

Читали „Кошмаръ“ Ивановича? — спросилъ Крюковъ съ улыбкой удовольствія и надеждой сочувствія со стороны собесѣдника.

— Читалъ.

— Ловко онъ отхлесталъ нашихъ марксистовъ?

— Не нахожу. Кошмаръ... Именно кошмаръ! Ненормальное состояніе всѣхъ способностей, — рѣзко отвѣтилъ Игнатовичъ:—Очень удобный пріемъ для полемики: устроить себѣ чучело въ видѣ человѣка, заставить это чучело говорить всякую чушь, дребедень и потомъ разбивать эти собственныя глупости и кричать „ура“. Ивановичъ прекрасный чучельникъ, отличный чревовѣщатель и очень громко можетъ кричать „ура“,— вотъ все, что онъ доказалъ своимъ „Кошмаромъ“.. Впрочемъ, теперь кто только не лягается?.. Пусть! Полаютъ и отстанутъ...

Игнатовичъ говорилъ это рѣзко, злобно, отрывисто. Около губъ его пробѣгала язвительно-презрительная усмѣшка, глаза метали молніи, а рука нервно царапала ручку кресла.

Крюковъ долго молчалъ, смотрѣлъ куда-то въ пространство, а когда переводилъ бѣглый взглядъ на собесѣдника, то въ этомъ взглядѣ проскальзывала уже непріязнь.

— Со многимъ я все-таки согласенъ,—глухо произнесъ наконецъ Крюковъ.

— А именно?

— Да вотъ хотя бы относительно квіетизма... Если

все совершается въ силу какой-то естественно-исторической необходимости, то не о чемъ намъ съ вами и стараться! Все образуется само собой...

— На такое возраженіе, право, какъ-то не хочется и отвѣчать... Прочитайте хоть у Каутскаго о роли, отводимой экономическимъ матеріализмомъ личности въ исторіи! Что же, вы полагаете, что многое совершается въ силу неестественно-исторической необходимости?—ехидно спросилъ Игнатовичъ.

— На подобный вопросъ я считаю лишнимъ отвѣчать вамъ.

— Очень жаль! А я хотѣлъ задать вамъ еще нѣсколько вопросовъ... Мнѣ было бы, напримѣръ, интересно узнать, что дѣлаютъ въ настоящее время народники? Ноютъ? Плачутъ? Твердятъ, какъ сороки про Якова, о томъ, что нужно поддерживать общину, и плачутъ, когда ихъ не слушаютъ? Поддерживать кустарей, уже разбившихся на группы зажиточныхъ буржуа и простыхъ наемныхъ рабочихъ! Или еще что-нибудь новое придумали?

— Что же, мы вѣдь тоже—продуктъ естественно-исторической необходимости, — произнесъ Крюковъ угрюмо и недружелюбно.

— Безъ сомнѣнія... Не съ неба, конечно, свалились... Что же однако отсюда слѣдуетъ? Квіетизмъ... Ахъ вы, народные печальники! Что вы-то теперь дѣлаете? Проливаете слезы горькія тайкомъ? Ха-ха-ха!

Крюковъ вдругъ вспыхнулъ и соскочилъ со стула. Глаза его злобно искрились, губы дрожали, на лбу собрались морщины...

— Да знаете ли вы, молодой человѣкъ. что когда еще материно молоко на вашихъ губахъ не подсохло, я былъ ужъ тамъ?—хрипло, задыхаясь, прокричалъ Крюковъ и показалъ рукою куда-то въ пространство.— Какъ вы смѣете мнѣ это говорить?.. Это нахальство! не больше-съ!

— Вѣжливость!—тихо и сдержанно сказалъ Игнатовичъ и тоже всталъ со стула, принявъ оборонительную позу.

Со всѣхъ сторонъ потянулись любопытные.

— Какъ вы смѣете?—шипѣлъ Крюковъ, наступая на Игнатовича.

И вотъ два интеллигентныхъ, честныхъ человѣка, такъ же по существу своему близкіе другъ другу, какъ дѣти одной матери, стояли врагами, самыми злѣйшими врагами, готовыми безжалостно оскорблять другъ друга и все то, что дорого каждому изъ нихъ, унижать и оплевывать!..

— Молокососъ!—крикнулъ Крюковъ, потрясая дрожащей рукою въ воздухѣ.

— Психопатъ!—громко отвѣтилъ Игнатовичъ.

Все это совершилось такъ быстро, неожиданно и гадко, омерзительно гадко...

XIII.

Когда Крюковъ выскочилъ изъ дома Козочкина на улицу, и холодный морозный воздухъ пахнулъ въ разгоряченное лицо его, онъ куда-то побѣжалъ... Въ глазахъ его были слезы, а душу угнетало сознаніе чего-то непоправимо-скверная и пошлаго. Къ этому примѣшивалось еще чувство глубокаго оскорбленія. Въ ушахъ его все еще отдавался нелѣпый язвительный хохотъ Игнатовича и это безжалостно-брошенное ему вдогонку слово „психопатъ“.

На улицѣ было мертво и безлюдно. Всѣ окна и двери магазиновъ уже были заперты и только кое-гдѣ изъ обывательскихъ оконъ еще вырывались полосы свѣта. Иногда лихо пролеталъ мимо рысакъ, и комья снѣга разбрасывалъ кованными ногами во всѣ стороны. Изрѣдка встрѣчались дѣвушки въ бѣлыхъ платочкахъ, какъ тѣни скользившія по панелямъ; заискивающе за-

глядывали онѣ въ лицо Крюкова и покашливали, подчеркивая этимъ свою несчастную профессію...

— Молодой человѣкъ!—обратилась одна изъ такихъ дѣвушекъ къ Крюкову.

— Что, голубушка?—ласково и смиренно отвѣтилъ Крюковъ, остановившись.

Онъ чувствовалъ какую-то приниженность, потребность стать на одну доску и слиться со всѣми униженными и оскорбленными. Ему хотѣлось какъ-нибудь проявить, передать это другому человѣку... „Всѣ мы—жалкіе, ничтожные людишки, пошлые, злые, безпощадные... А зачѣмъ эта злоба? зачѣмъ эти заушенія? Изъ за чего? За что?..“

— Угостите, молодой человѣкъ, папиросочкой!

— Не курю, голубушка!.. И не молодой я человѣкъ... Нѣтъ! Прошла она молодость... давно прошла.

— Проводите меня!

— Нѣтъ. Зачѣмъ? Вамъ холодно и скверно? Я знаю. И мнѣ скверно и холодно... Вамъ вѣдь нужны деньги, потому вы и унижаетесь, приглашая меня воспользоваться вашимъ безвыходнымъ положеніемъ? Я вамъ дамъ денегъ такъ, безъ униженій и оскорбленій... Вотъ возьмите!.. Немного... Сколько есть,—говорилъ Крюковъ, роясь дрожащею рукою въ своемъ кошелькѣ.

— Это за что же?—удивленно и растроганно спросила дѣвушка, растерявшись отъ неожиданности

— За что? За то, что вы несчастный человѣкъ и за то, что мы всѣ виновны передъ вами... Просто по человѣчеству, отъ души. Всѣ вѣдь мы жалкіе и, главное,—рѣдко понимаемъ другъ друга... Чужіе, одинокіе... Да, одинокіе...

Крюковъ сунулъ въ руку дѣвушки свой послѣдній двугривенный, беззвучно заплакалъ какъ-то однѣми губами и, быстро отвернувшись, зашагалъ по панели...

— Спасибо!—крикнула ему вслѣдъ дѣвушка и, спря-

тавъ двугривенный въ муфточку, куда-то пошла торопливой походкою...

„Ну, что же теперь дѣлать? что?“—шепталъ Крюковъ, шагая по панели. Губы его дрожали, складываясь въ мину готоваго расплакаться ребенка, и холодная дрожь пробѣгала волнами по тѣлу.

„Надо итти... Надо все это разсказать“, — думалъ Крюковъ.

Такой выходъ былъ единственнымъ, потому что, что же можно было сдѣлать въ его положеніи, кромѣ того, что разсказать, пойти къ кому-нибудь и разсказать и тѣмъ облегчить свои муки.

А итти было некуда и разсказать некому, кромѣ Воронина.

Къ нему и пошелъ Крюковъ.

Воронинъ, растрепанный, съ опухшимъ лицомъ и воспаленными глазами, ходилъ взадъ и впередъ по чердаку, мягко ступая обутыми въ резиновыя калоши ногами, горбился и тщательно запахивалъ полы старенькаго лѣтняго пальтишко.

Въ комнатѣ было холодно и страшно накурено. Въ облакахъ табачнаго дыма мигалъ желтый огонекъ жестяной лампы съ бумажкой вмѣсто абажура. Свѣтъ лампы падалъ на некрашенную доску стола и на стѣнку, гдѣ висѣла гравюра „Послѣднія минуты жизни Бѣлинскаго“. На столѣ стояла бутылка, валялась растерзанная вобла и объѣдки чернаго хлѣба. На лежанкѣ, въ общей кучкѣ, было свалено рваное цвѣтное одѣяло, бѣлье, книги; рукавъ крахмальной рубашки, отдѣлившись отъ всей этой рухляди, болтался на воздухѣ...

Когда Крюковъ вошелъ въ комнату, лицо Воронина омрачилось и передернулось судорогою...

— Опять? Спасать пришли?—закричалъ онъ дрожащимъ голосомъ:—Спасители! Вы станете мнѣ опять говорить, что надо бросить пить, что это скверно, подло, вредно? Ахъ, все это я, господа, знаю, давно знаю... Ну,

а еще что?—закричалъ онъ, хватаясь обѣими руками за голову.—Вамъ меня жалко? Это я тоже тысячу разъ слыхалъ и... вѣрю!.. Оставьте только меня въ покоѣ... Я никому не нуженъ, и мнѣ никто не нуженъ...

— Воронинъ!.. Я пришелъ къ вамъ такъ... просто... Тяжело мнѣ сейчасъ и, кромѣ васъ, не къ кому пойти..

— Ну, прости!.. Если такъ, спасибо тебѣ, спасибо и еще спасибо!.. Прости меня!.. Ты меня понимаешь и понимаешь, что здѣсь хлопотать не о чемъ. Вотъ когда сдохну, схоронить надо...

Крюковъ опустился на табуретку. Онъ чувствовалъ полный упадокъ силъ; его ноги дрожали, мучила одышка...

— Высоко вы живете. Насилу взлѣзъ... усталъ...—переводя духъ, прошепталъ Крюковъ.

— Философу, братъ, необходимо жить не ниже третьяго этажа... Стою я вотъ здѣсь у окна и смотрю: крыши домовъ, трубы, купола церквей, пернатыя... Вверху—небеса, а внизу улица... Людишки, такіе крохотные, пигмеи, толкутся, копошатся... Собаки тоже бѣгаютъ... Стою и смотрю. И все, братъ, мнѣ отсюда кажется такимъ маленькимъ, ничтожнымъ, мелочнымъ и пустымъ! Да оно такъ, братецъ, и есть. Отсюда я вижу всю суть жизни, вижу, что всѣ людишки жрать хотятъ... Въ этомъ весь секретъ!.. А у меня, братъ, никакого аппетита нѣтъ... Катарръ... И, стало быть, мнѣ нечего суетиться и можно выпить...

Воронинъ подошелъ къ столу и выпилъ залпомъ двѣ рюмки.

— Можетъ быть, и ты выпьешь? На! чего тутъ сторониться? Тебѣ тяжело—выпей!..

Крюковъ протянулъ дрожащую руку за поданной ему Ворониным рюмкой, плеская водку, донесъ рюмку до рта и опрокинулъ.

— Вотъ молодецъ! Давно бы такъ!.. Нѣтъ вѣры, и никто не возвратитъ ея намъ... Зачѣмъ обольщаться?

Всѣ прохвосты! И я прохвостъ, и ты прохвостъ, а если не прохвостъ, то тебя заставятъ сдѣлаться прохвостомъ... И наплевать!.. Пропаду я, пропадешь ты,—кому до насъ дѣло? Всѣмъ наплевать. И намъ наплевать!.. Пей еще, другую!..

— Нѣтъ, не могу... Не могу, Воронинъ!

Что-то тяжелое, давящее стало подступать къ горлу Крюкова и душить его. Захотѣлось разрыдаться, громко разрыдаться...

— Прощай... я пойду, — едва слышно прохрипѣлъ Крюковъ и, не простившись съ Ворониным, вышелъ за дверь...

Такъ и не разсказалъ.

„Что разсказывать? Кому это нужно и кому интересно? Надо итти домой, въ свою одинокую каморку и остаться тамъ одному, безъ людей... Богъ съ ними, со всѣми!“...

И Крюковъ пошелъ домой.

Тамъ онъ легъ на свою постель и долго смотрѣлъ въ темноту ночи застывшимъ, какимъ-то удивленнымъ взоромъ; лежалъ почти неподвижно, лишь изрѣдка перекладывая руку съ груди на постель, какую-то тяжелую, словно чужую руку, совсѣмъ лишнюю и ненужную... Подъ самое утро онъ закрылъ глаза и задремалъ, и эта дрема была какимъ-то полусознательнымъ состояніемъ, въ которомъ поперемѣнно вставали сладкія и тяжелыя грезы, проплывали мимо лица „бывшей Вари“ и пьянаго Воронина, корректурные оттиски и гигантскія буквы... И то „Варя“ крѣпко жала ему руку, прощаясь у воротъ дома, гдѣ она жила лѣтъ двадцать тому назадъ, то секретарь редакціи совалъ въ руку оригиналы рукописи и просилъ быть внимательнѣе...

Когда глаза Крюкова раскрылись — было уже утро. Лучше бы не просыпаться, а дремать долго, долго и ловить въ призракахъ сна сладкія грезы прошлаго...

Странное чувство охватило Крюкова, когда онъ снова

закрылъ глаза... Какая-то теплота и пріятная слабость изнеможенія разлились по всѣмъ членамъ... Гдѣ-то тамъ играли на рояли гаммы и экзерсиціи, гдѣ-то разговаривали, гдѣ-то смѣялись, гдѣ-то стукали маятникомъ часы... Но все это его не касалось и только глухо отдавалось въ ушахъ. Гдѣ-то тамъ есть квартирная хозяйка, которой Крюковъ обѣщалъ сегодня отдать деньги за комнату... Но какое ему дѣло до хозяйки, до какихъ-то тамъ денегъ? Смѣшно!

— Дмитрій Павлычъ!—окликнула хозяйка въ двери.

Но Дмитрій Павлычъ, хотя и слышалъ этотъ окрикъ, но, во-первыхъ, онъ прозвучалъ для Крюкова гдѣ-то далеко, а во-вторыхъ, такъ и остался звукомъ: гдѣ-то кто-то сказалъ „Дмитрій Павлычъ".

— Дмитрій Павлычъ! Вы обѣщали принести деньжонокъ,—снова прозвучалъ голосъ, а Крюкову вдругъ стало смѣшно и онъ расхохотался больнымъ разслабленнымъ смѣхомъ.

— Я васъ безъ шутокъ прошу... Дровъ не на что купить!..

— „Дровъ... дровъ"... Кому-то тамъ нужно дровъ... Это странно и смѣшно.

И Крюковъ опять началъ смѣяться, подскакивая въ постели и впиваясь кистями рукъ въ подушку.

— Да вы что?—уже тревожно спросила хозяйка.

Послѣдовала продолжительная пауза, а потомъ вдругъ истерическія рыданія словно прорвались, понеслись изъ комнаты постояльца и всполошили не только хозяйку, но и все населеніе квартиры.

— Дмитрій Павлычъ! Дмитрій Павлычъ! Что съ вами, батюшка?.. О чемъ это, голубчикъ? — участливо говорила хозяйка, наклонившись надъ Крюковымъ, все тѣло котораго судорожно подскакивало въ постели и дрожало.

— Что вы, голубчикъ?.. Володя! Принеси-ка стаканчикъ холодной водицы,—сказала она своему сынишкѣ,

который стоялъ въ дверяхъ съ перепуганнымъ, тревожнымъ личикомъ.

— Полноте, батюшка! Да что же это такое? Дмитрій Павлычъ! Умеръ, что ли, кто у васъ?

— Да, да... умеръ... —сквозь всхлипыванія и рыданья прокричалъ, наконецъ, постоялецъ...

— Пейте-ка вотъ! вода холодная... Пройдетъ!..

Гимназистъ стоялъ у постели и удивленно-испуганными глазами смотрѣлъ на большого и лысаго человѣка, который, приподнявшись на локтѣ, плакалъ въ своей постели, какъ маленькій, самый маленькій гимназистъ, получившій „единицу“.

— Пейте! еще пейте! Лучше будетъ...

Крюковъ жадно пилъ холодную воду и громко глоталъ ее, высоко вверхъ закидывая свою лысую голову.

— Ну, чего вы собрались?—огрызнулась хозяйка на собравшуюся въ дверяхъ публику изъ кухарокъ и горничныхъ.—Человѣкъ боленъ, не въ себѣ, а они лѣзутъ!? Экая, подумаешь, невидаль...

Публика конфузливо ретировалась.

— Ну... хорошо теперь... Спасибо... уйдите...—шопотомъ сказалъ Крюковъ, опускаясь на подушку...

— Какъ это можно уйти, бросить человѣка?..—возразила хозяйка нѣжнымъ, заботливымъ голосомъ.

— Уйдите! Ради Бога, оставьте меня...—умоляюще прохрипѣлъ постоялецъ.

И его оставили.

Онъ провалялся въ постели весь день и всю ночь, вздрагивая тѣломъ, и думалъ, настойчиво думалъ о томъ, зачѣмъ жить, зачѣмъ вся эта канитель, называемая жизнью? Зачѣмъ и о чемъ плакать, кому нужны эти глупыя ребячьи слезы?.. Думалъ долго и настойчиво о томъ, что въ сущности жизнь уже прошла, что впереди ничего, ровно ничего, не осталось, и нечего ждать, и нечего искать, что онъ—больной, разбитый и изломанный человѣкъ, смѣшной окружающимъ и ни-

кому ненужный, что онъ человѣкъ, который давно уже умеръ...

XIV.

Когда наступило утро, зимнее, яркое, солнечное утро, съ веселымъ, чистымъ небомъ, и привѣтливо заглянуло въ комнату Крюкова, онъ поднялся съ постели и сталъ задумчиво ходить изъ угла въ уголъ, потомъ наскоро надѣлъ свое лѣтнее пальто, накинулъ на плечи сѣрый пледъ съ бахромой, взялъ свою шляпу, измятую, съ растянутой, безжизненно-обвисшей вокругъ тульи резинкою, и пошелъ...

Дойдя до двери, Крюковъ остановился, подумалъ и вернулся. Бросивъ пледъ въ сторону, онъ подсѣлъ, въ пальто и шляпѣ, къ столу, взялъ листъ бумаги, перо и началъ быстро и некрасиво писать:

„Удаляясь со сцены жизни, я хочу вамъ, господинъ Игнатовичъ, сказать нѣсколько словъ на прощанье. Безъ злобы, безъ всякой непріязни къ вамъ я скажу вамъ эти послѣднія слова. Да, хотя мы съ вами и разстались врагами, но вѣдь это была ошибка, ужасная ошибка!.. Въ сущности, мы друзья, въ ослѣпленіи не узнающіе другъ друга. Вѣдь смѣшно, мой хорошій, честный юноша, еще самому себѣ создать враговъ изъ людей, съ которыми связанъ общимъ интересомъ, общей задачей жизни—послужить, по мѣрѣ силъ своихъ, униженнымъ и оскорбленнымъ. Я хочу вамъ сказать еще, юноша, что вы были жестоки и безсердечны ко мнѣ, старику... Пусть я—психопатъ, никуда негодный человѣкъ, инвалидъ, смѣшной на вашъ взглядъ и окончательно безполезный... Но вѣдь я отдалъ всю свою жизнь, съ ея юностью, молодостью, съ ея житейскими радостями и благополучіемъ, на служеніе идеѣ, которая дѣлаетъ насъ братьями... Пусть все мое прошлое — одна сплошная ошибка, миражъ въ вашихъ глазахъ, но вѣдь

для меня-то это прошлое—все, чѣмъ я жилъ и чѣмъ былъ живъ... Вы еще молоды, и Богъ вѣсть, что выйдетъ въ будущемъ, когда ваша голова станетъ сѣдой и лысой, какъ у меня... Быть можетъ, на смѣну вамъ придутъ новые люди, которые признаютъ ваши взгляды и вашу дѣятельность тоже ошибкой... Какъ все это знать? Надо все это принимать во вниманіе... Я, дѣйствительно, больной и исковерканный человѣкъ, но неужели я былъ достоинъ такого оскорбленія? Я вамъ и самъ скажу: да, я боленъ, боленъ и нравственно, и физически и никуда не годенъ... Вы меня оскорбили и этимъ оскорбленіемъ только напомнили мнѣ о томъ, что я зналъ и о чемъ давно думалъ, а именно о томъ, что моя пѣсенка спѣта, и больше мнѣ нечего дѣлать. И моимъ послѣднимъ дѣломъ я считаю послѣдній братскій, товарищескій совѣтъ вамъ, совѣтъ искренняго друга: не будьте жестоки къ людямъ!.. Исправляйте ошибки, но исправляйте ихъ осторожно, щадя человѣка; не думайте, что это легко и просто... Передайте мой послѣдній привѣтъ вашей сестрѣ и скажите ей то, чего я никогда ей не говорилъ: скажите, что когда-то, давно-давно, двадцать лѣтъ тому назадъ, я любилъ ее чистой, святой любовью юности и сохранилъ память объ этой любви незапятнанной до послѣднихъ дней моей жизни. Д. Крюковъ".

Написавъ все это, Крюковъ началъ искать конвертъ, но конверта не было. Подержавъ въ дрожащей рукѣ свое письмо, онъ изорвалъ его вдругъ въ клочки, упалъ на столъ головою и горько, какъ маленькій ребенокъ, расплакался, обливаясь теплыми слезами...

И не было у него силъ подняться съ мѣста, и не хотѣлось вовсе подниматься... Такъ тяжело было шевельнуть рукой и поднять голову...

Когда вошла хозяйка, чтобы сообщить постояльцу, что за нимъ прислали изъ типографіи, она испуганно остановилась въ дверяхъ: постоялецъ лежалъ на полу,

въ пальто: шляпа и пледъ валялись тутъ же. Осторожно на цыпочкахъ подошла она къ Крюкову и, нагнувшись, заглянула въ его лицо...

Это лицо, измученное, истощенное, искривленное судорожнымъ сокращеніемъ лицевыхъ мускуловъ, со впалыми щеками и съ рѣзко очерченными глазными орбитами, съ сухими, побѣлѣвшими и слегка раскрытыми губами, совершенно напоминало мертвеца... Но постоялецъ дышалъ учащеннымъ темпомъ, изъ угловъ глазъ его медленно скатывались слезы, а пальцы рукъ тонкіе, желтые какіе-то, дрожали и сгибались.

— Дмитрій Павлычъ!.. Что съ вами?..

— Мнѣ хочется спать... — тихо прошептали губы больного.

— Да вы раздѣньтесь! Лягте на постель!..

— Хорошо...—больнымъ, слабымъ голосомъ сказалъ Крюковъ, шевельнулъ ногами и сдѣлалъ попытку сѣсть...

Но силы его совершенно ослабли, и онъ снова медленно опустился на полъ.

— Ну, держитесь за меня!.. Вотъ такъ!.. тихонько!..

Крюковъ, не раскрывая глазъ, на колѣняхъ, доползъ при помощи хозяйки до постели и съ ея же помощью улегся.

— Вамъ бы надо покушать!.. Цѣлыя сутки въ ротъ ничего не брали... Конечно, человѣкъ ослабѣетъ... Развѣ можно?!.

Но Крюковъ, шевельнувъ губами, попытался сдѣлать рукой отрицательный жестъ и отвернулся къ стѣнѣ.

— Ну, усните!.. Сонъ подкрѣпитъ маленько силы-то! я уйду... Не послать ли Володю за вашимъ знакомымъ докторомъ?..—шопотомъ спросила она, возвращаясь къ постели.

Но Крюковъ молчалъ и не шевелился.

— Охъ, Господи!—вздохнула хозяйка и ушла, осторожно притворивъ за собою дверь.

— Боленъ онъ, не можетъ,—сказала она типографскому мальчику, присланному секретаремъ редакціи за корректоромъ.

— А что сказать велѣлъ? Какой отвѣтъ будетъ?..

— Скажи, что боленъ. Что же человѣка безпокоить?.. Онъ заснулъ теперь...

Спустя часъ, мальчикъ снова явился.

— Секретарь сказалъ, что если онъ не придетъ сегодня, то другого наймутъ!..

— Неужто у васъ и захворать человѣку нельзя?..— возмущенно спросила хозяйка.

— Кто ихъ знаетъ! Такъ сказалъ...

Хозяйка тихонько вошла въ комнату постояльца и прислушалась... Крюковъ часто-часто дышалъ, съ боку на бокъ ворочалъ на подушкѣ свою голову и разметалъ руки... „Совсѣмъ больной человѣкъ. Куда же ему итти? Онъ въ жару лежитъ“.

Хозяйкѣ было жалко разбудить постояльца, но она боялась, что его прогонятъ съ „мѣста“. А мѣсто найти трудно. Надо держаться ужъ... „Экій грѣхъ, прости Господи“, — прошептала она и, выйдя изъ комнаты, сказала ожидающему въ передней мальчику:

— Скажи, что завтра придетъ... Проситъ ужъ извинить... Такъ и скажи: проситъ извинить, боленъ лежитъ, а завтра непремѣнно придетъ... Проситъ, молъ, никого не нанимать на его мѣсто... Постарается...

Но пришло „завтра“, а постоялецъ не всталъ съ постели и ничего не отвѣчалъ, когда его спрашивали, не хочетъ ли онъ съѣсть кусочекъ хлѣбца съ чайкомъ... Раскрывъ на мгновеніе горѣвшіе какимъ-то страннымъ блескомъ глаза, съ большими зрачками, постоялецъ снова впадалъ въ забытье и былъ совершенно индиферентенъ къ окружающему. „Дѣло плохо... захворалъ не на шутку“,—думала хозяйка и, отправляя своего Володю въ гимназію, наказала ему непремѣнно зайти по пути къ доктору Порѣцкому и сказать, что его

пріятель опасно захворалъ и проситъ его навѣстить.

Не было еще десяти часовъ утра, какъ къ воротамъ, граціозно перебирая ногами, подкатила пара вороныхъ. Изъ удобныхъ и легкихъ саней, ловко откинувъ отороченный медвѣжьей шкурою пологъ, выскочилъ высокій господинъ въ николаевской шинели и бобровой шапкѣ и, войдя во дворъ, сталъ смотрѣть по сторонамъ на домики и лачужки, видимо, кого-то отыскивая...

— Скажите, пожалуйста, гдѣ тутъ найти господина Крюкова? — спросилъ онъ пріятнымъ баритономъ шедшую къ помойной ямѣ съ лоханью въ рукахъ простоволосую бабу, съ засученными до локтей рукавами.

Баба сперва вылила помои, а потомъ уже посмотрѣла на господина и сказала:

— Кого вамъ?

— Крюкова,

— Что-то не слыхать здѣсь этакого... Да онъ кто такой? Чѣмъ занимается?

— Въ газетѣ служитъ...

— А-а!.. это вонъ тутъ, должно быть, налѣво!.. Туда газету приносятъ... Поджарый такой, въ платкѣ ходитъ?

— Да, да.

— Ну, тамъ! вонъ крыльцо отворено!..

— Сюда, сюда, батюшка!—закричала, выскочивъ на крыльцо, хозяйка Крюкова, увидавшая доктора черезъ окошко.

Докторъ послѣдовалъ за хозяйкой. Дверь была такъ узка, что пришлось пройти бочкомъ, съ опасностью зацѣпиться за что-нибудь шинелью и изорвать ее. Въ передней было только одно окно, выходящее къ брандмауеру сосѣдняго дома, поэтому здѣсь было темновато; проникавшій чрезъ это окно свѣтъ имѣлъ какой-то желтоватый печальный оттѣнокъ, при томъ еще здѣсь пахло жаренымъ лукомъ, постнымъ масломъ и

еще чѣмъ-то, непріятно-рѣжущимъ непривычное къ такой обстановкѣ обоняніе. Докторъ потянулъ носомъ и, поморщившись, сбросилъ на руки кухарки свою шинель.

— Гдѣ больной?..

— Сюда пожалуйте!.. Вторыя сутки лежитъ, батюшка... Вотъ въ коридорчикъ, а тамъ дверь направо! — поясняла хозяйка, идя за докторомъ. Докторъ согнулся, чтобы не стукнуться головою, и осторожно, съ боязнью въ чемъ-нибудь тутъ еще испачкаться, прошелъ по полутемному коридору къ двери направо.

— Ну-съ, что тутъ съ тобой случилось? — пріятной октавой произнесъ докторъ, растворяя эту дверь.

Докторъ подошелъ къ постели, взялъ за плечо Крюкова и потрясъ.

— Дмитрій? А, Дмитрій? Слышишь?

Крюковъ раскрылъ глаза, долго неподвижно смотрѣлъ на стоявшаго надъ нимъ человѣка, а потомъ слабо улыбнулся больной, дѣтскою улыбкой и снова смежилъ вѣки...

— Плохо, братъ!.. Давно свалился?..—спросилъ докторъ, не обертываясь къ хозяйкѣ, стоявшей молча у порога.

Та разсказала все подробно, какъ постоялецъ плакалъ, какъ онъ былъ найденъ ею на полу, какъ она послала Володю за докторомъ...

Стянувъ выше, къ локтямъ, рукава сѣренькой визитки и обшлага рубашки, докторъ началъ возиться около больного. Разстегнулъ на его груди жилетъ и рубаху, слушалъ грудь, мялъ животъ, поднималъ пальцемъ вѣко глаза, по золотымъ часамъ слѣдилъ за пульсомъ...

— Плохо, Дмитрій Павловичъ! Плохо-съ! Дайте, пожалуйста, воды!

— Вамъ холодной? Можетъ быть, ледку нужно?

— Нѣтъ, руки только помыть...

— Ахъ, такъ пожалуйте вотъ сюда, къ рукомойнику!.. Я вамъ сейчасъ мыльце принесу...

Хозяйка принесла для доктора душистое мыло, которымъ умывала только свое лицо и никому не давала, прятала. Докторъ, не спуская поднятыхъ рукавовъ, подошелъ къ рукомойнику и постучалъ тамъ его желѣзнымъ стержнемъ безъ шишечки. Хозяйка подала ему чистое, аккуратно сложенное полотенце.

— Гм... да... Плохо... Будьте добры, прикажите моему кучеру въѣхать на дворъ, къ крыльцу, и прійти сюда... Я возьму больного съ собой.

— А какъ же, батюшка, съ комнатой? За ними вѣдь деньжонки остались!..—отвѣтила хозяйка.

— Комната... гм...

Докторъ обвелъ взоромъ комнату, поморщился и сказалъ:

— Вы не безпокойтесь!.. Пусть комната остается пока за нимъ. Сколько тамъ надо будетъ, я заплачу.

— Съ удовольствіемъ... Я для Дмитрія Павлыча съ удовольствіемъ... Хорошій человѣкъ, смирный... Съ удовольствіемъ!

Пришелъ кучеръ Павелъ, бравый, здоровый, съ окладистой бородою, въ синей поддевкѣ, съ широкимъ кушакомъ, поднятымъ много выше таліи, и съ серьгой въ одномъ ухѣ.

— Чѣмъ же мы его одѣнемъ? Гдѣ его шуба?—проговорилъ докторъ, разсѣянно блуждая взоромъ по комнатѣ.

— У нихъ вѣдь нѣтъ шубы, батюшка!.. у нихъ пальто...—замѣтила хозяйка, видя, что докторъ ищетъ глазами несуществующую шубу.

— Пальто? гм... Ну, гдѣ это пальто, по крайней мѣрѣ?..

— Пальто на нихъ!.. Какъ свалились въ пальто, такъ и не раздѣвались... Пледъ еще у нихъ есть! Вотъ пледъ!

— Плохо-съ.

— Пологомъ, баринъ, закроемъ... Пологъ на мѣху, что твоя шуба!—посовѣтовалъ кучеръ.

— Совершенно вѣрно... Ну, проворнѣй! Застегни на немъ пальто, обверни сверху пледомъ и неси въ сани,—приказалъ докторъ кучеру.

Павелъ началъ укупоривать постояльца.

— Эка бѣда какая! И пуговицъ-то мало,—шепталъ онъ съ искреннимъ сожалѣніемъ. Потомъ развернулъ пледъ и началъ завертывать въ него больного. Голова Крюкова послушно болталась подъ руками сильнаго и энергичнаго Павла, и все это вялое тѣло какъ-то безжизненно переваливалось и мирилось со всякимъ положеніемъ своихъ частей.

— Словно мертвый, пра-во! — разсуждалъ съ собой Павелъ.

Въ этотъ моментъ въ передней поднялся страшный крикъ и шумъ. Визжала хозяйка, визжала кухарка, и оглушительно гремѣлъ басъ, хриплый и страшный. Володя альтомъ кричалъ, и лаяла старая комнатная собачонка.

— Господинъ докторъ!—жалобно заговорила хозяйка, появившись въ дверяхъ комнаты.—Пришелъ этотъ... пьяница и ломится, требуетъ пустить его къ Дмитрію Павлычу... Я говорю ему, что нельзя, что Дмитрій Павлычъ боленъ, а онъ лѣзетъ... Ничего не можемъ сдѣлать!

— Какой пьяница?..

— Я, я, я—пьяница! — хрипло пробасилъ голосъ, и за хозяйкой встало лицо Воронина, въ шапкѣ, съ папиросой, съ нагло смѣющимися глазами...

— Что вамъ, господинъ Воронинъ, угодно?—съ сердцемъ спросилъ докторъ.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, господинъ Порѣцкій, что тебѣ здѣсь нужно?—отвѣтилъ дерзкій голосъ.—Я знаю, что мнѣ нужно, а вотъ ты не знаешь!

— Ну-съ, пожалуйста — вонъ! Сейчасъ не мѣсто и не время разговаривать съ вами! Выйдите вонъ!.. Павелъ!

— Да я съ такими прохвостами и не желаю разговаривать... Я пришелъ къ другу-человѣку... Митя! Другъ мой, братъ мой!—заоралъ Воронинъ, потрясая комнату своимъ мощнымъ голосомъ.

— Павелъ! Убери!--сказалъ докторъ.

Павелъ оставилъ больного.

— Уходи! Ну... Съ Богомъ! — спокойно заговорилъ онъ, наступая на Воронина.

— Молчать, холуй!—закричалъ Воронинъ.

Послѣдовала возня, борьба съ криками, руганью, ударами.

— Сходите за полиціей! - крикнулъ докторъ.

— Меня въ полицію? Ахъ ты, передовой человѣкъ! Прохвостъ ты передовой.

Опять борьба, удары, визгъ хозяйки и лай комнатной собачки. Потомъ все стихло. Павелъ вернулся въ комнату красный, вспотѣвшій.

— Силища въ немъ какая!.. Смотри, пожалуйста, пьяный, а чуть-чуть сладилъ...—заговорилъ онъ, возвращаясь къ прерванному дѣлу.

Павелъ взялъ въ охапку Крюкова и понесъ его изъ комнаты. Докторъ слѣдовалъ за нимъ и только бросалъ „осторожнѣй! осторожнѣй!“ Долго укладывали больного въ сани: очень трудно было помѣстить этотъ живой грузъ подъ пологомъ; голова и плечи остались непокрытыми, на сидѣньѣ.

— Хорошо! Самъ я какъ-нибудь... Прекрасно! Трогай! Только на ухабахъ поосторожнѣй...

И удобныя санки двинулись со двора и потомъ быстро покатились вдоль улицы, поскрипывая желѣзными полозьями по снѣгу.

Докторъ сидѣлъ въ санкахъ на отскочкѣ, и одна нога его, въ тяжелой высокой калошѣ, неудобно бол-

талась въ воздухѣ. Лѣвой рукою онъ поддерживалъ голову Крюкова, лежавшую на сидѣньѣ санокъ и на ухабахъ толкавшую доктора въ бедро.

Укладывая въ сани Крюкова, докторъ рѣшилъ везти его къ себѣ, но рѣшеніе это было сдѣлано сгоряча, и теперь, по пути къ дому, докторъ начиналъ уже колебаться... Чѣмъ ближе былъ домъ, тѣмъ сильнѣе было колебаніе и раздумье.

Не удобнѣе ли и не лучше ли будетъ, даже и для самого Крюкова, лечь въ больницу? Безусловно такъ. Варя въ такомъ положеніи, когда всякое волненіе, всякій пустякъ, испугъ и неожиданность могутъ имѣть скверныя послѣдствія... И это будетъ такъ, да! Съ другой стороны, кто же будетъ сидѣть у постели больного? Некому. Та же наемная сестра милосердія, что и въ больницѣ. Затѣмъ, гдѣ его положить?

Докторъ мысленно разсматривалъ комнаты своей обширной квартиры, дѣлалъ въ ней размѣщенія, переносилъ мебель, разставлялъ кровати и т. д., и выходило все какъ-то, что, несмотря на обширность помѣщенія, подходящей для больного комнаты не было, все выходило неудобно; неудобно главнымъ образомъ для самого больного, а затѣмъ и для нихъ.

— Въ больницу! На Никитскую!—крикнулъ вдругъ докторъ, ткнувъ пальцемъ въ спину Павла.

Сани со скрипомъ медленно повернулись назадъ, лошади дернули и снова помчались веселой рысью...

Навстрѣчу ѣхали все въ теплыхъ шубахъ, въ ергакахъ и въ мохнатыхъ шапкахъ; мелькали запушенныя бѣлымъ снѣгомъ бороды и усы, лошадиныя морды съ сосульками у раздувавшихся ноздрей, женскія ротонды, въ которыхъ утопали маленькія, раскраснѣвшіяся отъ мороза личики съ лукавыми глазками и со спрятанными носами... Нѣкоторымъ изъ этихъ личикъ докторъ привѣтливо раскланивался и получалъ въ награду такую милую улыбку, стрѣльбу глазъ! Это были па-

ціентки доктора, умѣвшія цѣнить въ немъ опытность и искусство врачевателя женскихъ болѣзней...

Докторъ ѣхалъ и думалъ о томъ, что въ больницѣ будетъ удобнѣе во всѣхъ отношеніяхъ, спокойнѣе для него и для нихъ, да въ смыслѣ ухода тоже больницѣ надо отдать предпочтеніе... А главное, какъ же это онъ такъ опростоволосился? Вѣдь съ *нимъ*, можетъ быть, тифъ или какая-нибудь другая пакость... Какъ же ввести себѣ въ домъ такого больного? Даже глупо!..

Думая такъ, докторъ искоса поглядывалъ на голову Крюкова и на блѣдную, какъ у мертвеца, щеку его и заботливо прикрывалъ капюшономъ своей шинели...

Утро было великолѣпно... Въ ясномъ морозномъ воздухѣ блистали на солнцѣ снѣжинки; дымъ изъ домовыхъ трубъ, окрашенный въ лиловатый и оранжевый оттѣнки, поднимался столбами къ небу. Деревья садовъ и бульваровъ стояли, запушенныя мохнатымъ инеемъ. Снѣгъ пріятно похрустывалъ подъ ногами дѣловыхъ утреннихъ пѣшеходовъ. Куполы церквей ярко горѣли на холодномъ солнцѣ и благовѣстъ большого соборнаго колокола сотрясалъ воздухъ своей могучей октавой...

Бодрость, свѣжесть такая была во всѣхъ деталяхъ этой картины зимняго утра!

Но Крюкову было все равно и не было никакого дѣла ни до людей, ни до этого чуднаго, яркаго зимняго утра, съ опушенными инеемъ деревьями, съ лиловымъ дымомъ и блѣдносинимъ холоднымъ и безстрастнымъ небомъ...

БЛУДНЫЙ СЫНЪ.

I.

Петръ Трофимовичъ спустилъ съ кровати ноги въ однихъ чулкахъ и сталъ ощупью искать на полу валенки... Въ сосѣдней комнатѣ, столовой, топилась галанка; красный отблескъ раскаленныхъ углей бросалъ дрожащія свѣтовыя пятна на полъ, а чрезъ пріотворенную дверь проникалъ и въ комнату Петра Трофимовича, слабо вспыхивая на головъ темени старика... Должно быть, ужъ поздно: Васильевна топитъ печи два раза въ день, на разсвѣтѣ и еще на ночь, потому что стоятъ морозы, и въ барскомъ старомъ домѣ плохо держится тепло.

— Это ты, Васильевна?—спросилъ старикъ, заслыша возню около печки.

— Я, батюшка...

Васильевна начала бить желѣзной кочергою головешки, угли затрещали, и свѣтъ яркой полосой запрыгалъ на полу и дверномъ косякѣ. Часы медленно пробили девять. Значитъ, теперь пришелъ уже на ближайшій къ нимъ полустанокъ поѣздъ, съ которымъ долженъ пріѣхать и второй сынъ старика, Григорій.

— Уѣхалъ Никаноръ на станцію?—спросилъ Петръ Трофимовичъ хриплымъ съ просонья голосомъ.

— Уѣхалъ; поди скоро будутъ...

— А Сергѣй Петровичъ?

— Уѣхали братца встрѣчать.

— Надо имъ поѣсть чего-нибудь приготовить... Спроворь самоваръ... яичницу, что ли! Озябнутъ... Слышишь?

Старикъ говорилъ хрипло и отрывисто, и казалось, что онъ сердится. Но онъ только волновался, ожидая блуднаго сына. Сердце улеглось. Богъ съ нимъ! Несчастный человѣкъ. Не видались около двѣнадцати лѣтъ. Теперь намыкался по свѣту и ѣдетъ къ отцу отдыхать, пишетъ, что усталъ наконецъ... Да, неудача имъ въ дѣтяхъ: старшаго, Сергѣя, выгнали изъ пятаго класса гимназіи, лѣтъ пять онъ щеголялъ въ формѣ вольноопредѣляющагося, года три томился подпрапорщикомъ и кое-какъ вылѣзъ въ подпоручики; другого, Григорія, тоже выгнали, изъ университета ужъ, потомъ отправили куда-то, потомъ отпустили и скоро опять куда-то отослали; потомъ онъ самъ уже сталъ мыкаться, какъ бродяга, по свѣту; мать такъ и умерла, не видавши Григорія съ тѣхъ поръ, какъ его выгнали изъ университета...

Петръ Трофимовичъ надѣлъ валенки, зажегъ въ столовой лампу и, плотно запахнувшись въ пальто, которое носилъ вмѣсто халата, сѣлъ въ кресло и началъ думать о своей покойной женѣ, о Григоріи, о томъ, что Сергѣй любитъ водочку и сильно поигрываетъ въ карты... Если бы Григорій кончилъ курсъ,— теперь не было бы нужды унижаться предъ всякими тамъ Виноградовыми... Сталъ бы Григорій у нихъ земскимъ начальникомъ, жилъ бы въ своемъ имѣніи... *Дуракъ.* Теперь, вѣрно, кается, да поздно, близокъ локоть, да не укусишь!..

Старикъ пыхтѣлъ, покашливалъ и что-то шепталъ, и *казалось*, ему жизнь въ тягость, и въ тягость самая радость встрѣчи съ Григоріемъ. За окномъ въ трубѣ гудѣлъ вѣтеръ, ставень стучалъ гдѣ-то

желѣзнымъ болтомъ, — и дряхлый домъ вздрагивалъ подъ порывами зимней вьюги... Глухо донесся собачій лай, такой злобный, съ подвываніемъ. Кажется, звенятъ колокольчики? да, ѣдутъ... Старикъ дрожащими руками зажегъ свѣчу и торопливо направился къ передней—встрѣчать. Темнота разступалась передъ нимъ, и подъ свѣтомъ раздувающагося пламени свѣчи вставали угрюмыя стѣны, сѣрыя, съ пятнами на облупившейся штукатуркѣ, занесенныя снѣгомъ окна, съ ледянымъ бордюромъ по стекламъ, старомодная, тяжелая и некрасивая мебель... Половицы иногда жалобно поскрипывали подъ обутыми въ валенки ногами Петра Трофимовича, и весь онъ былъ похожъ на какого-то сказочнаго старика въ этомъ большомъ и молчаливомъ домѣ...

— Сейчасъ! Сейчасъ!

Дверь распахнулась, и въ бѣлыхъ облакахъ ворвавшагося пара зашевелились три несуразныя фигуры, чѣмъ-то обвязанныя, обмотанныя, занесенныя съ ногъ до головы снѣгомъ. Который изъ нихъ Григорій—не разберешь.

— Ни пути, ни дороги!—произнесъ Никаноръ, опуская на полъ чемоданъ пріѣзжаго. Это вотъ Сергѣй: пуговицы свѣтятся, а это, стало быть, Григорій... Борода въ снѣгу, усы въ снѣгу, на головѣ торчитъ башлыкъ пикой.

— Здравствуй, отецъ!

— Здравствуй, здравствуй! Здоровъ ли?.. Снимай башлыкъ-то! Одинъ носъ видно... Ахъ ты, этакій... Ну, теперь подойди ближе!..

Они поцѣловались нѣсколько разъ. Потомъ Григорій сталъ снимать пальто, а Петръ Трофимовичъ все смотрѣлъ ему въ лицо, особенно въ глаза, и думалъ: „совсѣмъ мать, вылитая мать!“ и сердце старика заполнялось нѣжностью къ этому „безпутному субъекту“— какъ называлъ отецъ Григорія, – и ему хотѣлось смѣяться

отъ радости и плакать о томъ, что вотъ Гриша наконецъ пріѣхалъ, а Марьи Ѳеодоровны нѣтъ, и она не знаетъ объ этомъ и не можетъ посмотрѣть, какая большая борода выросла у Гриши... Старикъ похлопалъ Григорія по плечу и сказалъ:

— А меня, чай, не узналъ? Совсѣмъ я старикомъ сталъ, въ могилу гляжу... Идите въ столовую, тамъ тепло... четырнадцать градусовъ... Ну, ну! Всѣ теперь... Только матери нѣтъ...

Петръ Трофимовичъ засуетился, сбѣгалъ въ кухню и поругалъ Васильевну за промедленіе съ яичницей. Потомъ онъ подсѣлъ къ Григорію и снова сталъ похлопывать его по плечу и заглядывать ему въ глаза.

— Всѣ теперь въ сборѣ... Да!.. Только матери нѣтъ... да! ушла она, наша мать, не дождалась тебя, Григорій!.. да!

— Будетъ ужъ, папаша!—недовольно замѣтилъ густымъ басомъ подпоручикъ:—что толковать ужъ!

А Григорій вдругъ заморгалъ глазами... Ему, такому большому и серьезному, отвыкшему за двѣнадцать лѣтъ не только отъ родительской ласки и опеки, но даже отъ мысли о родителяхъ, давно уже ставшему чужимъ человѣкомъ для семьи и всѣхъ своихъ родственниковъ, вдругъ сдѣлалось страшно жаль мать и мучительно больно сознавать, что онъ никогда уже болѣе не увидитъ своей „мамаши“... Теперь только смерть матери сдѣлалась для него какимъ-то чудовищнымъ, невѣроятнымъ фактомъ!.. Ему захотѣлось узнать про мать: когда она умерла, отъ чего, гдѣ она похоронена, не спрашивала ли она на смертномъ одрѣ про него, Григорія.

— Отъ чего умерла мать?

— Да будетъ ужъ! Ну, умерла, значитъ умерла... Не все ли равно? Что тутъ говорить!— опять пробасилъ Сергѣй и недовольно и сердито выпустилъ „хм!“, словно

приказалъ прекратить непріятные разговоры и тяжелыя воспоминанія.

Васильевна принесла сковородку съ яичницей и не уходила. Она встала въ дверяхъ и внимательно и печально разсматривала своего молочнаго сына съ бородой и усами, такого обдерганнаго и лохматаго, съ остановившимися въ глазахъ слезами...

— Ненаглядный ты мой, касатикъ, соколъ мой ясный, Григорій Петровичъ! Вѣдь выкормила я тебя!.. Не привелъ Богъ родной матери, такъ хоть я на тебя погляжу!..—жалобно начала она. Но Сергѣй вышелъ изъ терпѣнія:

— Замолчи! Еще ты начнешь каркать? маршъ! Чортъ знаетъ... Пріѣхалъ отдохнуть, а вмѣсто этого всю душу измотаютъ... Точно на кладбищѣ себя чувствуешь... Право!.. Есть у васъ водка?

— Посмотри въ буфетѣ... Кажется, осталось тамъ, въ графинѣ...

— Ничего не осталось!—съ сердцемъ захлопнувъ дверцу буфета, пробасилъ подпоручикъ и сѣлъ.

Тихо стало за столомъ. Старикъ сердился на Сергѣя, но сдерживалъ свое негодованіе. Онъ опустилъ глаза на полъ и только покрякивалъ и пыхтѣлъ. Григорій курилъ папироску и искоса посматривалъ на брата. Грубая, неинтеллигентная физіономія; что-то фельдфебельское отпечаталось на этомъ лицѣ, и было трудно примириться съ фактомъ, что это и есть Сережа, тотъ самый гимназистъ, старшій братъ, другъ и товарищъ, съ которымъ въ далекомъ дѣтствѣ они имѣли столько общихъ радостей и печалей... Совсѣмъ чужой человѣкъ, далекій, внушающій антипатію...

— А ты, Григорій, худой какой! Кашляешь...—замѣтилъ отецъ.

— Да. Ничего, это пройдетъ, — отвѣтилъ Григорій.

— Продуло,—хмуро бросилъ Сергѣй и, вставъ со

стула, началъ прохаживаться взадъ и впередъ по комнатѣ и насвистывать „Я—цыганскій баронъ“.

— Сергѣй! Если хочешь свистать, уйди въ залу... Я тебя просилъ,—тихо, но раздраженно сказалъ отецъ.

— Вотъ еще, какія нѣжности при нашей бѣдности... Скажите, пожалуйста!.. Могимъ уйти-съ...

Онъ ушелъ и продолжалъ свистать. А за окномъ тоскливо вторилъ ему вѣтеръ, и иногда трудно было разобрать: буранъ это или подпоручикъ выводитъ тоскливыя нотки.

— Ты, Гриша, усталъ вѣдь съ дороги?.. Ты ложись здѣсь на софѣ, здѣсь тепло, четырнадцать градусовъ... Дверь въ залу затвори, чтобы тепло не уходило... А я сплю все на старомъ мѣстѣ... И все тамъ осталось по-старому, какъ было при матери... И зеркало ея осталось на столикѣ. Пусть стоитъ! Эхе-хе. Худой ты какой! Сергѣй вонъ плотный, какъ стальной, а ты—плохой... Тебѣ надо отдохнуть, бросить всѣ эти глупости, успокоиться... Что толку? Пора и къ пристани, Гриша! Мать передъ смертью сказала: если вернется Гриша, скажи, что я ему прощаю... Да! Ну спи! Завтра поговоримъ, ты усталъ...

Въ спальнѣ у Петра Трофимовича горѣла лампадка. Лежа въ постели съ закрытыми глазами, старикъ былъ полонъ тихой грусти и радости, и сознаніе, что теперь Григорій вернулся и спитъ тутъ, рядомъ, какъ-то успокаивало, баюкало его, и онъ отдувался, и улыбка время отъ времени скользила по старому лицу. Но Григорій кашлялъ, и это портило настроеніе тихой радости и успокоенія. Этотъ кашель, такой сиплый и безсильный, отдавался прямо въ сердцѣ старика, тревога прокрадывалась въ его душу, и не было силъ заснуть... „Вылитая мать!“—мысленно повторялъ Петръ Трофимовичъ, вспоминая выраженіе глазъ Григорія, и въ мозгу его снова всплывали воспоминанія объ умершей два года тому назадъ женѣ, о ея привычкахъ, о

послѣднихъ минутахъ жизни—и тогда старикъ ворочался въ большой и широкой постели и все ему казалось, что онъ лежитъ неудобно...

И Григорію тоже не спалось. Онъ испытывалъ такое ощущеніе, словно долго-долго все куда-то шелъ, и путь былъ такой утомительный, а когда онъ, усталый и измученный, прилегъ отдохнуть, то, оглянувшись кругомъ, къ своему удивленію, увидѣлъ, что онъ лежитъ на томъ самомъ мѣстѣ, откуда вышелъ въ дорогу...

Въ той комнатѣ, гдѣ лежалъ теперь Григорій, когда-то была дѣтская, а на мѣстѣ софы, на которой онъ теперь спалъ,—кроватка Гриши... Все это было очень давно, но теперь прошлое какъ-то сократилось, прожитые годы казались такими маленькими и мелькали въ памяти, какъ дни, и Григорію казалось, что онъ только уѣзжалъ куда-то по дѣлу и опять пріѣхалъ... Такъ мягко, тепло и удобно было лежать на софѣ; казалось, что вся усталость, скопившаяся за время всей прожитой жизни, теперь уходила куда-то назадъ, и на душѣ прояснялся покой и миръ... Прислушиваясь къ тиканью часовъ и къ пѣснямъ зимней метели за окномъ, Григорій тоже улыбался, какъ выздоравливающій больной, въ которомъ пробуждается трепетъ безсознательной радости жизни... Похоже на то, что Григорій дѣйствительно причалилъ къ пристани, бросилъ якорь... Онъ усталъ, невыносимо усталъ жить этой нервной, полной безчисленныхъ превратностей и терзаній жизнью интеллигентнаго пролетарія, усталъ отъ безполезныхъ, никому ненужныхъ страданій, отъ лжи и фарисейства, въ которыхъ тонетъ культурный человѣкъ, усталъ отъ надоѣвшихъ безполезныхъ споровъ, больныхъ самолюбій, взаимныхъ непониманій и оскорбленій... А можетъ быть, онъ ушелъ теперь и отъ сознанія, страшнаго сознанія своей ненужности, этого итога прожитой жизни... Теперь онъ

никуда не принадлежитъ, не задается никакими принципіальными планами и задачами жизни... Теперь онъ просто больной и усталый человѣкъ, который хочетъ покоя и отдыха. Здѣсь онъ возьметъ клочекъ земли и будетъ работать и жить просто, безъ всякихъ плановъ, какъ живутъ милліоны людей... Чѣмъ гордиться? Какъ считать себя предназначеннымъ къ какой-то особой высокой миссіи, если въ результатѣ получилась одна усталость и сознаніе своего безсилія и ненужности? Онъ будетъ теперь жить на своемъ клочкѣ земли, и пусть его оставятъ въ покоѣ... Онъ останется съ глазу на глазъ съ природой, съ ея ясными и непреложными законами, съ ея собственной справедливостью, красотой и правдивостью, отдыхая отъ всякихъ мукъ, сомнѣній, ссоръ и всей этой безсмысленной сутолоки... У него болитъ грудь, истрепаны нервы, нѣтъ вѣры въ необходимость страданій... Онъ будетъ отдыхать... Уфъ!

Приступъ кашля, сиплаго и настойчиваго, оборвалъ тихія думы Григорія. Онъ долго не могъ остановить этотъ кашель и усталъ, когда онъ прекратился.

— Ты все кашляешь...

Григорій раскрылъ глаза и увидѣлъ отца: онъ стоялъ въ дверяхъ, завернувшись въ пестрое одѣяло, со свѣчой въ рукахъ.

— Надо выпить воды съ вареньемъ, тогда стихнетъ.

— Не безпокойся... Теперь прошло...

Старикъ, гремя посудой, порылся въ буфетѣ, принесъ изъ своей комнаты графинъ съ водой и, сдѣлавъ питье, подалъ сыну.

— Вотъ... выпей! Помогаетъ... У меня былъ кашель, ужасный кашель, такъ я только этимъ и спасался...

И пока Григорій пилъ, старикъ смотрѣлъ ему въ лицо и думалъ: „вылитая мать!“ Потомъ онъ подсѣлъ на софу, въ ногахъ у Григорія, и сказалъ:

— Не спится что-то... Все думаю о томъ, о семъ... Какъ это все устроится... Я думаю тебѣ здѣсь сдѣлать кабинетъ,—ты любишь почитать и пописать,—а столовую можно перенести рядомъ... Здѣсь тепло, а ты все кашляешь. Теперь ужъ отдыхай, береги здоровье, можетъ быть, еще все устроится. Дѣла у меня пошатнулись, а все-таки, если жить экономно и осмотрительно, то прожить можно, проживемъ... да! Вотъ только бы Богъ помогъ намъ развязаться съ мерзавцемъ Виноградовымъ... Я взялъ у него подъ вторую закладную... Бѣда нынче нашему брату, хозяину... да! Однихъ процентовъ я выплачиваю этому подлецу до пятисотъ рублей ежегодно... А имѣніе всего-то въ хорошій годъ даетъ полторы тысячи... Горки мы вѣдь давно ужъ продали этому мерзавцу за безцѣнокъ..

Потомъ старикъ сталъ подробно разсказывать, какъ они разорились и, упоминая о Виноградовѣ, всегда прибавлялъ къ нему „подлецъ“ или „мерзавецъ“.

— Если я умру, будьте съ нимъ осторожнѣй, не довѣряйте, Боже васъ избави! Я ничего съ собой не возьму, все останется вамъ съ Сергѣемъ. Сергѣй все таки на ногахъ, а тебѣ надо будетъ крѣпче держаться за имѣнье. Надо подняться. Можетъ быть, со временемъ, ты зарекомендуешь себя предъ начальствомъ, поправишь свою репутацію и можно будетъ поступить на службу... Все это возможно. Бывали случаи. Хорошо бы—въ земскіе начальники!..

Григорій слушалъ и молчалъ, но когда старикъ началъ говорить о поправленіи репутаціи и о поступленіи въ земскіе начальники, то нетерпѣливо произнесъ:

— Ахъ оставь, отецъ! Все это—неисполнимые проекты...

— Что же, ты вѣдь ничего не укралъ, никого не ограбилъ... Ты только потерялъ въ жизни маякъ... да! А теперь ты его нашелъ. Не всякое лыко въ строку.

Бывали случаи. Не надо отчаиваться, Григорій... Вотъ ты кашляешь,—это нехорошо...

Григорію хотѣлось сказать, что онъ ни въ чемъ не раскаивается и что никакого маяка не нашелъ еще въ жизни, что онъ не желаетъ поправлять свою репутацію и ни передъ кѣмъ не хочетъ себя зарекомендовывать. Но зачѣмъ? Только обидишь старика, потому что онъ не пойметъ. Пусть думаетъ и говоритъ, что хочетъ и что думаетъ...

— Поживешь тутъ смирненько, безъ всякихъ такихъ идей... Поможешь мнѣ вести хозяйство. Одному трудно. Народъ теперь — вольница; кричатъ, что онъ голодаетъ, а онъ пьянствуетъ... Звѣрье дикое, грубое!.. Берутъ задатки и бѣгутъ, и ничего не подѣлаешь... Что тамъ ни говори, а рано дали ему свободу. Покуда волкъ ручнымъ не станетъ, его нельзя спускать съ цѣпи... А за этихъ лѣнтяевъ и пьяницъ мечтатели себя губятъ. Вотъ поживешь — увидишь! А когда я умру, и ты самостоятельно будешь вести хозяйство,—ты не разъ вспомнишь отца. Я тебѣ говорилъ это и раньше... И вотъ что изъ всего этого вышло: потеряна карьера, ты кашляешь... Я тебѣ всегда говорилъ. Мы съ матерью не желали тебѣ худа... Ну, что жъ... Теперь какъ-нибудь все это устроится... Не надо отчаиваться. Мать сказала: если вернется Гриша, скажи ему, что я прощаю... да! Ну, Богъ съ тобой. Спи! Я тебѣ все мѣшаю... Эхе-хе! Мечтатели!..

Старикъ покачалъ головой и пошелъ. Григорій смотрѣлъ ему вслѣдъ недоумѣвающими глазами и, когда старикъ исчезъ за дверью, вздохнулъ и закрылъ глаза. Онъ вдругъ страшно усталъ; что-то стало тяготить его душу, и исчезло прежнее настроеніе, будто онъ наконецъ пришелъ... За окномъ бѣсновалась вьюга, и это безпокоило Григорія, словно ему предстояло итти куда-то дальше въ эту вьюгу, по какому-то важному дѣлу, и словно онъ прилегъ здѣсь только отдохнуть на пере-

путьи и говорилъ сейчасъ не съ отцомъ, а съ хозяиномъ постоялаго двора, гдѣ остановился.

II.

Было морозное веселое утро. Иней сверкалъ на солнцѣ, и снѣгъ скрипѣлъ подъ ногами и казался такимъ бѣлымъ, что слѣпилъ глаза. Всѣ печи въ жилыхъ постройкахъ хутора топились, и дымъ поднимался надъ нимъ высокими фіолетовыми столбами. Въ Горкахъ, которыя Петръ Трофимовичъ продалъ мерзавцу Виноградову, былъ храмовой праздникъ, и старикъ поднялся очень рано и сталъ собираться въ Горки къ обѣднѣ. Онъ ѣздилъ туда каждое воскресенье, а на этотъ разъ хотѣлъ взять съ собой Сергѣя и Григорія, чтобы послѣ обѣдни отслужить панихиду на могилѣ Марьи Ѳеодоровны. Сперва старикъ разбудилъ Сергѣя, а будить Григорія медлилъ, жалѣлъ: „пусть поспитъ еще немножко!“ Сергѣй всталъ злой; ему было лѣнь подниматься съ теплой постели; поэтому онъ громко кашлялъ, плевался и дико кричалъ на Васильевну, какъ онъ привыкъ кричать на своего деньщика.

— Дурища, эка дурища!—гремѣлъ его басъ на всѣ комнаты.—Ну! Живо!

Отъ этого крика проснулся и Григорій. И ему было лѣнь вставать, и онъ не поѣхалъ бы въ Горки, если бы не панихида по матери. Не поѣдешь,—обидишь старика, потому что онъ придастъ этому особенный смыслъ и значеніе. Григорій сталъ одѣваться.

— Ты ужъ всталъ? Добре, добре!..—сказалъ отецъ, проходя мимо.—Ну, умывайся, да надѣвай сюртукъ,—добавилъ онъ, окинувъ Григорія бѣглымъ взглядомъ.

— У меня сюртука нѣтъ. Я думаю,—можно и въ этомъ...

Старикъ еще разъ обозрѣлъ Григорія и, вѣрно, ему

что-нибудь не понравилось, потому что онъ сморщилъ брови.

— Надо сюртукъ. Ѣхать такъ неудобно. Послѣ панихиды мы проѣдемъ къ Виноградовымъ, тебѣ надо познакомиться, сдѣлать визитъ, потому что этотъ прохвостъ можетъ тебѣ пригодиться. Тебѣ надо какъ-нибудь подняться, поправить репутацію...

Григорій, котораго старикъ раздражалъ проектами исправленія репутаціи, закашлялся и, когда кашель утихъ, съ досадой сказалъ:

— Мерзавцы и прохвосты мнѣ не могутъ пригодиться. Можно обойтись безъ визита.

— Это все старая закваска!—отвѣтилъ старикъ и недовольно прибавилъ:

— А впрочемъ, твоя воля... Я тебѣ, Григорій, худа не желаю... Какъ хочешь, только послѣ не пеняй...

— Не буду пенять—повѣрь ужъ!..

Вошелъ Сергѣй. Онъ былъ въ парадной формѣ, съ эполетами на приподнятыхъ плечахъ, съ выпяченной колесомъ грудью, съ перетянутой серебрянымъ кушакомъ таліей и съ густо нафабренными и закрученными въ струнку усами, которые издали были похожи на два сложенныхъ шляпками гвоздя.

— Шашку!—закричалъ онъ громовымъ голосомъ и, когда перепуганная Васильевна впопыхахъ прибѣжала и подала ему шашку, — перекинулъ лакированный ремень ея черезъ плечо и спросилъ Григорія:

— А ты что, въ этомъ обдергайчикѣ развѣ поѣдешь?

— Въ обдергайчикѣ.

— Мило! У Виноградовыхъ тебя примутъ за нашего лакея!

— Я къ Виноградовымъ не собираюсь.

— Да и въ церковь—неудобно! Тамъ бываютъ порядочные люди...

Григорій ухмыльнулся, но промолчалъ; онъ бросилъ

на брата иронический взглядъ и подумалъ: „настоящій фельдфебель“.

У крыльца топталась малорослая вятская лошадка, такая кругленькая, сытая и сильная. Время отъ времени она кому-то кланялась, позванивая привязанными къ уздѣ бубенчиками, и тогда казалось, что гдѣ-то сыплется дождь изъ мелодичныхъ колокольчиковъ. Никаноръ похаживалъ около кошевки и покуривалъ папироску, ожидая выхода господъ. На немъ былъ сѣрый пиджакъ на ватѣ и картузъ мѣщанина на головѣ; только большія рукавицы, которыми Никаноръ похлопывалъ, чтобы согрѣть руки, да валеные сапоги съ краснымъ горошкомъ изобличали мужика. Снѣгъ хрустѣлъ подъ этими громадными валенками, и гигантскіе слѣды отпечатывались около санокъ.

Сергѣй стоялъ у окна и смотрѣлъ на лошадку и Никанора. Онъ слегка барабанилъ по стеклу пальцами и пристукивалъ каблукомъ своего лакированнаго сапога. Ему хотѣлось еще поговорить съ братомъ на ту же тему, но не подвертывалось подходящаго повода.

— Удивительное дѣло,—сказалъ онъ наконецъ, какъ бы размышляя и ни къ кому не обращаясь.—Удивительное дѣло: мужики стараются походить на господъ, а господа—на мужиковъ. Все шиворотъ-на-выворотъ!.. Что мужикъ старается вылѣзть изъ мужиковъ—мнѣ это понятно, всякому хочется подняться, а что вотъ нѣкоторые господа лѣзутъ въ мужики и стараются сдѣлаться мужиками,—этого, ей-Богу, никакъ въ толкъ не возьму!..

„Выстрѣлилъ!“—подумалъ Григорій, но не отвѣтилъ на вызовъ. Очевидно, этотъ выстрѣлъ былъ направленъ въ Григорія: вчера онъ размечтался и вскользь подѣлился своимъ намѣреніемъ взять клочекъ земли и жить, какъ живутъ милліоны людей. Не стоило говорить, потому что они не въ состояніи понять внутренній смыслъ

такого рѣшенія. Отецъ появился во фракѣ и въ большихъ громыхающихъ по полу калошахъ.

— Готовы? А ты, Григорій, все-таки въ этомъ...

— Въ обдергайчикѣ,—отвѣтилъ за брата Сергѣй.

— Я не поѣду,—сказалъ Григорій.

— Твое дѣло, твое дѣло... - недовольно бросилъ на ходу старикъ и пошелъ, и было слышно, какъ онъ сердито хлопнулъ гдѣ-то дверью.

Они уѣхали. Григорій остался одинъ. Вошла Васильевна и сказала:

— А ты, Григорій Петровичъ, не поѣхалъ на могилку къ мамашѣ?

И въ ея голосѣ послышался упрекъ и обида.

— Сколько слезъ за тебя мамаша-то пролила!.. Какъ она убивалась за тебя!.. Не грѣхъ бы тебѣ за нее помолиться... Охо-хо! Прости намъ, окаяннымъ, Господи! — вздохнувши, закончила Васильевна и вышла, печальная и задумчивая.

Григорій долго и упорно ходилъ по комнатамъ, и въ мозгу его совершалась какая-то торопливая, но безсознательная тревожная работа.

Чего-то не доставало, словно онъ потерялъ что-то или съ нимъ случилось что-то очень скверное, но что именно потерялъ или что случилось—было непонятно. И это его безпокоило, и безпокойство все росло, росло, и весь организмъ заполнялся какой-то тоской и отчаяніемъ, и онъ не находилъ мѣста въ этомъ большомъ домѣ, гдѣ онъ родился... Присѣвъ на диванъ, въ залѣ, Григорій взялъ со стола альбомъ съ фотографическими портретами и отыскалъ мать: на карточкѣ она была снята молодой, съ двумя дѣтьми: Сергѣй стоялъ, а Григорій, такой полненькій съ голыми ножками карапузъ, сидѣлъ на рукахъ у матери, съ удивленно вытаращенными глазами... Долго Григорій смотрѣлъ на этотъ портретъ, и какія-то смутныя воспоминанія начинали бродить въ его памяти, а со дна души поднима-

лось сожалѣніе о чемъ-то потерянномъ и невозвратномъ... И чѣмъ больше Григорій смотрѣлъ, тѣмъ больше прояснялись эти воспоминанія, и одинъ моментъ показалось, что Григорій даже помнитъ, какъ ихъ снимали... Но, конечно, то былъ обманъ воображенія, потому что этому карапузу съ голенькими ножками, перетянутыми у ступней ниточкой, было не больше трехъ лѣтъ... Григорій смотрѣлъ на молодую мать и ему не хотѣлось вѣрить, чтобы мама, съ такими добрыми и ласковыми глазами, съ такой любящей, полной материнскаго счастія, улыбкой на лицѣ, не могла понять, что онъ, Григорій,—былъ только честнымъ человѣкомъ и что онъ не виноватъ ни въ чемъ передъ ними. Григорій думалъ, что только одна мать могла бы, можетъ быть, понять теперь, какъ и почему все такъ случилось съ нимъ, и если не понять, то повѣрить, что онъ всю жизнь отдалъ людямъ и что теперь онъ усталъ и обезсилѣлъ, что у него болитъ грудь и больше нѣтъ силъ скитаться... Вынувъ изъ кармана пиджака носовой платокъ, онъ приложилъ его къ глазамъ и порывисто вскочилъ съ мѣста...

Въ полдень пріѣхали изъ Горокъ отецъ съ Сергѣемъ. На лицѣ старика была торжественность и то особое выраженіе серьезности и умиленія, которое запечатлѣвается обыкновенно на лицѣ вѣрующаго человѣка при совершеніи религіозныхъ таинствъ и обрядовъ. Онъ ходилъ тихо, словно носилъ въ рукахъ что-то хрупкое, голову держалъ прямо, и какая-то тайная высокая дума, казалось, не покидала его даже тогда, когда онъ сѣлъ за обѣдъ. Онъ былъ молчаливъ и смотрѣлъ куда-то далеко, словно не видѣлъ сидѣвшихъ противъ него Сергѣя и Григорія.

Сергѣй былъ румянъ, бодръ и веселъ, и казалось, жизнь играла въ этомъ здоровомъ и крѣпкомъ тѣлѣ. Онъ былъ очень доволенъ собой: въ бѣдномъ сельскомъ храмѣ, гдѣ молились все темные и пугливые

люди, появленіе Сергѣя было цѣлымъ событіемъ; блестящая форма заставляла эти темныя головы предполагать въ Сергѣѣ очень важную и крупную особу, въ родѣ исправника или даже губернатора, и когда Сергѣй звонко прищелкивалъ шпорами по каменному полу церкви, то всѣ торопливо сторонились, разступались и, давая ему дорогу, шептали сосѣдямъ: „пропусти! али не видишь?“ Впереди, вблизи клиросовъ стояла чистая публика: мужчины—направо, женщины—налѣво; налѣво пестрѣло нѣсколько шляпокъ съ яркими цвѣтами, и Сергѣй не разъ съ удовольствіемъ замѣчалъ, что всѣ шляпки повертываются въ его сторону, и что женщины въ шляпкахъ заботятся о собственномъ впечатлѣніи на Сергѣя, лишь только онъ по-орлиному повернетъ голову налѣво... Его отмѣтили даже священнослужители: для него была нарушена привилегія станового пристава первымъ приложиться къ кресту и поздороваться съ батюшкой, а дьячекъ, съ похожей на хвостикъ косичкой позади, подавая Сергѣю просфору на блюдцѣ, подобострастно улыбнулся и сказалъ: „Съ праздничкомъ, ваше высокоблагородіе!“ и всѣ это слышали, а становому не понравилось...

Обѣдъ былъ торжественный. Сперва Васильевна подала кутью, чтобы помянуть покойницу, Марью Ѳеодоровну. Отецъ перекрестился и осторожно, съ благоговѣніемъ, съѣлъ нѣсколько ложекъ этого символическаго кушанья. Сергѣй тоже съѣлъ нѣсколько ложекъ съ почтеніемъ, а потомъ наложилъ себѣ кутьи на тарелку и сталъ ѣсть, какъ кашу. Отецъ взглянулъ въ сторону Григорія, и тому показалось, что старикъ хотѣлъ посмотрѣть, ѣстъ ли Григорій кутью. Грогорій чувствовалъ къ кутьѣ брезгливость; она осталась у него съ дѣтства и появилась послѣ того, какъ законоучитель въ гимназіи объяснилъ значеніе кутьи такъ: „зернышекъ много, — и покойниковъ много, изюминки сладки,—и покойничкамъ *тамъ* сладко“. Чтобы не оби-

дѣть однако отца, Григорій взялъ вилку и, отбрасывая въ сторону изюминки, сталъ ѣсть одни рисовыя зерна.

— Это не игрушка!—недовольно сказалъ старикъ и отодвинулъ блюдо съ кутьей отъ Григорія.

— По-ихнему, папаша, все это одна комедія и предразсудки! — насмѣшливо пробасилъ Сергѣй и, проглотивъ послѣднюю ложку своей порціи кутьи, вытеръ усы салфеткой и весело сказалъ:

— А теперь можно раздавить и чепурышечку!

И выпивъ рюмку водки, онъ съ удовольствіемъ пустилъ „брр!“

Григорій сидѣлъ за столомъ и чувствовалъ себя неловко и натянуто, словно онъ и въ самомъ дѣлѣ въ чемъ-то провинился передъ этими людьми. Еще онъ чувствовалъ, что отецъ съ Сергѣемъ говорили между собою о немъ, Григоріи, и въ чемъ-то оказались согласны, солидарны другъ съ другомъ. По временамъ они обмѣнивались взглядами, по временамъ отецъ исподлобья взглядывалъ на Григорія, и въ этомъ взглядѣ Григорій улавливалъ, кромѣ недружелюбія, еще озабоченность и безпокойство. Можетъ быть, отецъ опять говорилъ о немъ со становымъ...

— Тебѣ, Григорій, не мѣшало бы остричься, космы отросли, какъ у дьячка!—сказалъ старикъ, между прочимъ, кончая обѣдать.

— Это, братецъ, теперь ужъ вышло изъ моды,— замѣтилъ Сергѣй, отдуваясь отъ излишка принятой пищи,—нигилисты нынче подтянулись: стригутся „подъ польку“ и не носятъ красныхъ рубахъ.

И сказавъ это, Сергѣй бросилъ взглядъ на отца съ такимъ выраженіемъ, когда человѣкъ бываетъ убѣжденъ, что встрѣтитъ поддержду.

— Оставьте меня въ покоѣ! — крикнулъ Григорій. Въ его голосѣ зазвенѣла злоба, и онъ сталъ кашлять. Этотъ кашель встряхивалъ все его тощее тѣло, и казалось, что въ груди у Григорія что-то сидитъ и дер-

жится когтями, а онъ всѣми силами легкихъ старается выбросить это „что-то“ вонъ и никогда не выбросить...

За вечернимъ чаемъ они сидѣли молча и тяготились другъ другомъ. Отцу нездоровилось: онъ кряхтѣлъ, и на лицѣ его было такое выраженіе, словно ему бередили незажившую рану. Сергѣй читалъ „Новое Время“, звонилъ чайной ложечкой о стекло стакана и время отъ времени произносилъ „хм!“

— Я всѣхъ бы ихъ перевѣшалъ и дѣлу конецъ!— вслухъ подумалъ онъ, отбросивъ газету и принимаясь за чай.

— Кого ты это?—хмуро спросилъ отецъ.

— Жидовъ. Началъ бы съ этого самаго Дрейфуса и кончилъ послѣднимъ пархатымъ жидомъ!

— А что?

— Помилуйте! Изъ-за одного какого-то, съ позволенія сказать, паршиваго жида трясется все государство, оскорбляется честь арміи! Повѣсить на первую осину и дѣлу конецъ! Хм!.. А ты, милѣйшій, чему же смѣешься?—вызывающе обратился вдругъ онъ къ Григорію, замѣтивъ на лицѣ того ироническую улыбку.

— Слишкомъ ужъ ты строгъ, хотя и несправедливъ... Если бы тебя, Сергѣй, неожиданно сдѣлали, какъ Санчо Панса, губернаторомъ какого - нибудь острова, то навѣрное тамъ скоро не осталось бы жителей...

— А я думаю, братецъ, что и такихъ, какъ ты, Донъ-Кихотовъ ставить къ дѣлу не годится...

— И это правильно! — спокойно отвѣтилъ Григорій.—Такіе Донъ-Кихоты, какъ я, не годятся даже на пушечное мясо...

Сергѣй вспыхнулъ.

— Это пушечное мясо, милѣйшій, проливаетъ кровь за отечество, не щадитъ своего живота, а не мѣшаетъ помнить, что сказано: нѣтъ выше подвига, какъ положить душу за други своя... Вотъ что, братецъ!

— Ты говоришь такъ, словно ужъ не пощадилъ живота и положилъ душу, — замѣтилъ Григорій, и ему стало такъ смѣшно и весело, что онъ громко расхохотался.

— И потомъ, Сергѣй, это сказано про душу, а не про животы... Придетъ время, когда не надо будетъ такъ безпощадно относиться къ своимъ и чужимъ животамъ, и тогда... тогда вамъ нечего будетъ класть!

Сергѣй вскочилъ со стула и, стукнувъ по столу кулакомъ, закричалъ дико:

— Прошу со мной не шутить! Я могу забыть, что ты мой братъ!..

Съ этими словами Сергѣй вышелъ въ залъ, захлопнулъ дверь за собой такъ сильно, что чайная посуда на столѣ вздрогнула. Григорій сидѣлъ, съ недоумѣвающей улыбкою на лицѣ, и смотрѣлъ какъ-то себѣ въ бороду. Отецъ покрякивалъ и насупилъ брови. Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи, а потомъ старикъ началъ:

— Григорій! Я тебя попросилъ бы не разводить передъ нами нигилизма и атеизма, — это во-первыхъ! а во-вторыхъ...

— Во-вторыхъ?

— Во-вторыхъ, не оскорблять насъ съ Сергѣемъ своими неумѣстными шуточками. Я слишкомъ старъ, чтобы служить для нихъ мишенью, а Сергѣй какъ-никакъ представитель русскаго дворянства, отъ котораго ты открещиваешься, и... русской арміи... да! Я долженъ тебѣ сказать...

Григорій смотрѣлъ широко раскрытыми глазами на отца и не зналъ, вѣрить ли своимъ ушамъ. Онъ и не замѣтилъ, какъ нанесъ столь тяжкія оскорбленія отцу и брату!.. Оперши голову на руки, Григорій слушалъ, какъ плавно, методично, словно дождевая вода съ крыши, лилась обличительная рѣчь старика, и въ тактъ словамъ и ударѣніямъ поматывалъ головою, словно соглашался во всемъ...

— Ты мнѣ писалъ, что усталъ нравственно и физически, и я думалъ, что ты наконецъ образумился, бросилъ свои разныя этакія идеи и хочешь успокоиться и жить, какъ живутъ всѣ благоразумные, честные люди... А ты, оказывается, вовсе не думалъ уставать и намѣренъ воспользоваться моимъ приглашеніемъ для своихъ соціальныхъ затѣй, хочешь что-то тамъ учредить на моей землѣ... Тебя не останавливаетъ ни благородное происхожденіе, ни то, что мать простила тебѣ передъ смертью всѣ твои гадости, ни болѣзнь твоя, ни мысль, что когда-нибудь надо же взяться за честное дѣло... Я тоже усталъ, дѣйствительно усталъ, и нравственно, и физически... Я старъ и, кто знаетъ, дни мои, можетъ быть, сочтены... Хоть бы передъ гробомъ-то ты... пожалѣлъ... да... меня...

Голосъ старика изъ методичнаго и сухого сдѣлался вдругъ неровнымъ, задрожалъ, глаза стали моргать, а ввалившіяся въ беззубый ротъ губы — конвульсивно кривиться.

— Сколько горя мы уже пережили черезъ тебя Григорій! Если бы собрать всѣ слезы, которыя мы... съ матерью...

Старикъ махнулъ рукой, замолчалъ и сталъ всхлипывать, какъ ребенокъ послѣ продолжительнаго плача. Когда Григорій слушалъ методическую рѣчь, на его лицѣ вспыхивали красныя пятна, и въ душѣ закипало негодованіе, по временамъ ему хотѣлось зло расхохотаться прямо въ лицо старику или оборвать его дикія слова и оскорбленія крикомъ „замолчи!“ и стукнуть кулакомъ по столу, какъ это сдѣлалъ давеча Сергѣй,— но когда Григорій услышалъ эти всхлипыванія и когда увидалъ моргающіе глаза и искривленныя губы, — то онъ вдругъ почувствовалъ себя совершенно беззащитнымъ, и ему самому захотѣлось плакать, но не было слезъ, а было только трудно дышать, не хватало воздуха и что-то давило на мозгъ... А старикъ все всхли-

пывалъ, голова его, съ голымъ теменемъ и съ клочьями сѣдыхъ волосъ, тряслась на рукахъ, а плечи вздрагивали...

Григорій соскочилъ вдругъ со стула и, приблизившись къ отцу сзади, обнялъ рукой его шею и, перекинувшись черезъ плечо, сталъ цѣловать его колючую, мокрую и соленую отъ слезъ щеку.

— Перестань, отецъ! успокойся... Мы не можемъ только понять другъ друга. Я, отецъ,—не злой человѣкъ... Нѣтъ... Я ни въ чемъ не виноватъ... Что горя я причинилъ вамъ много—это такъ, правда!.. Ну, за это прости меня, какъ мать!.. Я не виноватъ... Нѣтъ...— говорилъ Григорій и весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ...

— Богъ съ тобой, Григорій! Мы... съ матерью не могли тебѣ желать худа... да!.. Мы знали, что сердце у тебя доброе... Но тебя смутили... Эти... будь они прокляты!—со стономъ выкрикнулъ старикъ и какъ-то трагически погрозилъ въ пространство кому-то пальцемъ.

Вошелъ Сергѣй. Онъ услыхалъ плачъ отца и весь кипѣлъ негодованіемъ.

— Развѣ у нихъ есть сердце, папаша? Хм... они не признаютъ брака, а слѣдовательно, не могутъ чувствовать и сыновней любви, жалости къ отцу... У нихъ „вѣнчали вокругъ ели, а черти пѣли...“ А насчетъ собственности у нихъ: „что мое, то мое, а что твое,— тоже мое!“

Григорій отошелъ въ сторону. Онъ мелькомъ взглянулъ на брата, и взглядъ этотъ былъ безстрастенъ и безразличенъ, словно Григорій видѣлъ предъ собою не Сергѣя, а такъ, какой-то неодушевленный предметъ... Онъ тихо пошелъ прочь, съ опущенной головой, и въ походкѣ его, какъ и во всей фигурѣ, было что-то беззащитное и безвыходное.

III.

Григорій ходилъ по своей комнатѣ и курилъ папироску за папироской. Чтобы не мѣшать прихворнувшему отцу спать, онъ снялъ ботинки и ходилъ въ однихъ чулкахъ. Шаги его мягко и глухо отдавались въ тишинѣ ночи и заставляли чуткую Васильевну прислушиваться и безпокоиться: она не могла понять, гдѣ ходятъ, и по обыкновенію предполагала воровъ на подволокѣ, гдѣ у нихъ стоитъ сундукъ съ разнымъ хламомъ.

Ночь была лунная и тихая. Снѣгъ блисталъ синими огоньками, и въ комнатѣ дрожалъ мягкій голубоватый отблескъ луннаго сіянія. Было такъ тихо въ домѣ и на дворѣ, что казалось, будто снѣгъ подъ ногами караулившаго хуторъ мужика хруститъ въ комнатахъ, а протяжный звонъ колокола Горской церкви, отбивавшаго „часы“, слышался такъ ясно и отчетливо, словно церковь стояла на дворѣ, а не въ Горкахъ, за четыре версты отъ хутора... Когда Григорію надоѣдало ходить взадъ и впередъ, онъ подходилъ къ окну и смотрѣлъ на лунную ночь... Тамъ было такъ спокойно и тихо, словно всѣ люди на землѣ умерли и остался одинъ только онъ, Григорій, да этотъ лунный свѣтъ, такой странный и загадочный... Ночь точно о чемъ-то думала. Казалось, она что-то знаетъ, но хранитъ втайнѣ и никогда не скажетъ того, что она знаетъ... Быть можетъ, она думаетъ о людяхъ и жалѣетъ этихъ несчастныхъ пигмеевъ, устроившихъ себѣ адъ на землѣ въ ожиданіи рая на небѣ, гдѣ теперь безстрастно и величаво остановилась луна...

Дверь въ залъ раскрыта; на полу легли тѣни отъ переплета оконныхъ рамъ; въ углу стоятъ старыя забытыя клавикорды... На этихъ клавикордахъ мать играла когда-то „Молитву дѣвы“; когда, на-дняхъ, Сергѣй началъ играть на этихъ клавикордахъ, то они

словно заплакали и закашляли проволокой... И все-таки они стоятъ и стоятъ, а матери, которая играла на нихъ „Молитву дѣвы“, нѣтъ. Да, матери нѣтъ... И того Сережи, гимназиста, съ которымъ въ дѣтствѣ они жили душа въ душу, жили одной жизнью и понимали другъ друга съ полуслова,—тоже нѣтъ... Онъ исчезъ безслѣдно, и кажется, что его подмѣнилъ кто-то большимъ и грубымъ человѣкомъ, который кричитъ, стучитъ, говоритъ: „ну-ка, раздавимъ чепурышечку!“ и насвистываетъ: „я—цыганскій баронъ“... И отца нѣтъ, предъ которымъ онъ когда-то благоговѣлъ и каждому слову котораго вѣрилъ... И никого нѣтъ на свѣтѣ, кто бы понялъ, какъ онъ усталъ и какъ болитъ у него грудь... Отъ этого одиночества жутко и холодно, и никуда отъ него не уйдешь, потому что оно, какъ тѣнь, идетъ по слѣдамъ...

Григорій прилегъ на софу. У него закружилась голова, можетъ быть, отъ думъ, какъ вихрь, кружащихся въ мозгу, а можетъ быть, просто отъ долгаго хожденія по комнатѣ. Когда онъ закрылъ глаза, то ему чудилось, что софа, вмѣстѣ съ его тѣломъ, двигается плавно и безшумно, какъ лодка по тихой водѣ. И опять ему казалось, что онъ все время куда-то ѣхалъ, потомъ остановился немного отдохнуть и опять поѣхалъ дальше... Куда? Это неясно... А когда онъ уснулъ, то ему приснился глупый сонъ, будто онъ летаетъ на этой самой софѣ по воздуху и нигдѣ не можетъ остановиться, потому что, какъ только софа начнетъ опускаться на землю, появляется откуда-то Сергѣй, въ полной парадной формѣ, и кричитъ „шашку!“—и тогда софа, покачавшись на мѣстѣ, опять поднимается и летитъ...

Утромъ онъ всталъ вялый, развинченный, и всѣ члены его болѣли, словно за ночь его избили. Въ головѣ носился туманъ, знобило, и во рту ощущалась сухость. Первымъ дѣломъ онъ вытащилъ изъ-подъ

софы свой чемоданъ, раскрылъ его и задумался. Въ этомъ положеніи его засталъ отецъ. Теперь старикъ ходилъ мягко, смотрѣлъ кротко, и въ глазахъ его свѣтилась добрая задумчивость.

— Сегодня я видѣлъ во снѣ нашу мать, — заговорилъ онъ и вздохнулъ.—Будто она пила съ нами чай и все торопилась... А когда я спросилъ ее, зачѣмъ она торопится, то она сказала, что пришла ненадолго, чтобы повидаться съ тобой, Григорій! Да! съ тобой! А потомъ кто-то — должно быть, ты — стукнулъ, и я проснулся...

Григорій задвинулъ чемоданъ подъ софу и сталъ ходить рядомъ съ отцомъ и все порывался о чемъ-то заговорить съ нимъ. Старикъ былъ съ нимъ ласковъ: онъ былъ увѣренъ, что Григорій вчера обнималъ его и цѣловалъ потому, что наконецъ раскаялся, и съ этимъ раскаяніемъ онъ связывалъ свой сонъ, который казался старику чрезвычайно знаменательнымъ...

— Тебѣ, можетъ быть, надо что-нибудь изъ бѣлья?— заговорилъ онъ, вспомнивъ, что засталъ Григорія за раскрытымъ чемоданомъ.—У тебя, вѣрно, какая-нибудь нехватка? Ты говори, не стѣсняйся. У меня есть лишнее. Покойная мать много нашила мнѣ всякой всячины, на всю жизнь мою хватитъ и еще останется... Нечего церемониться...

— Нѣтъ, не надо...

Григорій еще походилъ около отца молча и наконецъ тихо сказалъ:

— Бѣлья не надо... Вотъ если бы ты далъ мнѣ рублей десять—пятнадцать на дорогу, я былъ бы тебѣ очень благодаренъ. Когда получу,—вышлю тебѣ...

Старикъ вопросительно посмотрѣлъ на Григорія и ничего не понялъ.

— Сегодня я, отецъ, думаю ѣхать,—пояснилъ Григорій, глядя въ землю.

— Куда?

— Да покуда въ Самару, а потомъ... посмотрю тамъ.

— Зачѣмъ?!

— Надо. Можетъ быть, найду тамъ какую-нибудь работу и устроюсь...

— Вотъ тебѣ и разъ! Самъ усталъ, кашляетъ, а самъ опять — работу! Ты что-то, Григорій, неладно думаешь... Можетъ быть, ты думаешь, что ты... какъ это сказать... что ты будешь мнѣ мѣшать, или что при тебѣ будетъ лишній расходъ? Ты это оставь, Григорій! Зачѣмъ передъ отцомъ гордиться?! Проживемъ какънибудь...

И опять Григорій почувствовалъ какую-то безвыходность и не зналъ, какъ ему объяснить свое рѣшеніе уѣхать, чтобы не оскорбить и не огорчить старика, такъ нѣжно и кротко настроеннаго. Опять у Григорія стало тяжело на душѣ, и опять стало трудно дышать, и въ вискахъ застучало громко, какъ молотками по наковальнѣ...

— Я къ тебѣ пріѣду весной, а теперь... надо ѣхать. Ты, пожалуйста, не сердись... Что же дѣлать? Никто не виноватъ тутъ, а просто я... не могу...

— Ну, что жъ... если не можешь, ничего не подѣлаешь. Я неволить не стану... да! А самъ говорилъ, что усталъ... Въ родномъ домѣ, гдѣ ты родился и воспитывался, около отца, въ деревнѣ — лучшаго отдыха, Григорій, не найдешь, помяни мое слово: не найдешь!.. Ну, что же?.. Опять я одинъ останусь... Сергѣй тоже уѣдетъ скоро—отпускъ у него кончится, и ты уѣдешь... Ты, можетъ быть, разсердился на то, что я вчера говорилъ? На отца не стоитъ сердиться... Можетъ быть, немножко лишняго я вчера сказалъ, погорячился...

— Нѣтъ, не въ томъ, отецъ, дѣло... Это пустяки... А такъ... Поѣду...

— Ну, что жъ... Денегъ я тебѣ дамъ. Мнѣ не жалко, когда есть... А когда ты поѣдешь?

— Сегодня...

— Какъ это у васъ все вдругъ, Григорій!.. Ни съ того, ни съ сего... Ужъ погостилъ бы, вмѣстѣ съ Сергѣемъ и поѣхали бы...

Когда отецъ упомянулъ о Сергѣѣ, Григорій отрицательно замоталъ головой и сказалъ:

— Намъ съ нимъ не по пути...

— Вотъ тебѣ и разъ! До станціи-то поѣхали бы вмѣстѣ,—я про то и говорю...

— Нѣтъ, отецъ, ужъ все равно... Скорѣй лучше...

— Жалко, жалко... Опять я одинъ... да!..

Весь день старикъ ходилъ какой-то задумчивый, сосредоточенный и печальный, и все вываливалось у него изъ рукъ, и все онъ кряхтѣлъ и съ тоской останавливалъ свои глаза на лицѣ Григорія, словно все хотѣлъ разгадать что-то или хорошенько разсмотрѣть это лицо, въ которомъ было для него столько дорогого, близкаго и вмѣстѣ съ тѣмъ чуждаго и непонятнаго...

Сергѣй ходилъ съ холоднымъ презрѣніемъ, тоже сосредоточенный, держалъ руки въ карманахъ тужурки, узкой, плотно обтянувшей его сзади, и насвистывалъ: „я—цыганскій баронъ“; когда онъ проходилъ залъ до конца, то быстро повертывался на каблукахъ и, позванивая шпорами, опять шелъ... Сергѣй приписывалъ сборы Григорія въ отъѣздъ исключительно своему воздѣйствію и тому, что онъ стукнулъ кулакомъ по столу и сказалъ: „я прошу со мной не шутить“, но онъ предполагалъ. что братъ не уѣдетъ и что онъ ломаетъ только комедію, желая, чтобы его упрашивали остаться. „Пусть извинится, больше никакихъ!“—думалъ онъ и ждалъ, что вотъ-вотъ Григорій подойдетъ и начнетъ извиняться. Но Григорій медлилъ, и Сергѣй терялъ терпѣніе.

— Куда изволите собираться?—спросилъ онъ, останавливаясь около брата и выдѣлывая какія-то „па“ ногами.

— Домой!—со вздохомъ отвѣтилъ Григорій, не обернувшись.

— Такъ-съ... А позвольте узнать, гдѣ у васъ домъ?

— Далеко. Отсюда не видать, — спокойно отвѣтилъ Григорій, крѣпко стягивая ремни чемодана.

— Такъ-съ... Однако будетъ комедію ломать! Ты, вѣроятно, считаешь себя оскорбленнымъ? Я, Григорій, вынужденъ былъ такъ отвѣтить... Если ты извинишься, я готовъ взять свои слова назадъ... — началъ Сергѣй снисходительнымъ тономъ. — Я, Григорій, поступилъ какъ...

— Какъ „честный офицеръ“,— докончилъ Григорій серьезно.

— Въ такомъ случаѣ — давай руку и развязывай чемоданъ!—довольно улыбаясь, пробасилъ Сергѣй.

Григорій руку подалъ, но чемоданъ развязывать не сталъ.

Послѣ обѣда, который прошелъ томительно, въ какомъ-то напряженномъ молчаніи, отецъ отозвалъ Григорія въ сторону и сказалъ: „поди-ка ко мнѣ въ комнату на два слова“.

— Ты, Григорій, можетъ быть, дѣйствительно, того... изъ-за ссоры съ Сергѣемъ хочешь уѣхать? Надо плюнуть. Онъ вѣдь грубъ и глупъ, ему извинительно... У нихъ у всѣхъ такія замашки: стучать, кричать и свистать... Ты ему извини ужъ! Не стоитъ на него обижаться. Ты поумнѣе и плюнь!

— Я и не обижаюсь... Я—не потому... Нѣтъ! Надо все-таки ѣхать...

— То-то!.. да... Такъ, можетъ быть, ты отложишь до завтра?

— Надо ѣхать, отецъ!.. Все равно ужъ... Скорѣе. Сегодня въ ночь.

— Ну, Богъ съ тобой! какъ хочешь... да! денегъ тебѣ надо. Вотъ, возьми четвертную!

— Много. Довольно пятнадцати.

— Ну, ну! полно! Что гордиться? Все-таки я тебѣ— отецъ, не чужой... бери, бери! А то въ конецъ обидишь меня... Умру,—все ваше будетъ.

— Я разсчитываю получить... Вышлю тебѣ.

— Нѣтъ, ужъ, пожалуйста, не дѣлай этого!.. Какіе съ отцомъ счеты?! Зачѣмъ гордиться!..

Васильевна ходила съ заплаканными глазами. Она жалѣла Григорія и думала, что его всѣ обижаютъ. Она нѣсколько разъ принималась на кухнѣ плакать и причитать, но, появляясь въ комнатахъ, не подавала виду: она помнила, какъ Сергѣй Петровичъ закричалъ „маршъ“, когда она пожалѣла Григорія Петровича. А Григорій Петровичъ—мягкій, сердце у него ласковое и всякій его можетъ обидѣть, а заступиться некому,— нѣтъ родной матери...

Въ семь часовъ у крыльца стояла уже запряженная въ кошевку маленькая лошадка, и когда она, потряхивая головой, разсыпала колокольчики, то и у старика, и у Сергѣя, и у Григорія вздрагивало сердце и дѣлалось грустно, грустно. Они пили вмѣстѣ послѣдній чай.

— Я тебѣ налью еще стаканчикъ?—говорилъ старикъ, оттягивая минуту разлуки.

— Пожалуй, налей... Хотя не хочется.

— Пей, пей! На желѣзной дорогѣ надо платить 10 коп. за каждый стаканъ!.. Какъ не стало матери, я самъ началъ разливать чай... Привыкъ!.. А раньше не могъ, все забывалъ, что наливать некому, и ждалъ, когда мнѣ нальетъ мать... Ты пей съ хлѣбомъ! Я тебѣ положилъ курицу-то въ узелокъ... Зубовъ у меня мало и все равно я только пососу, а ничего не сдѣлаю съ курицей... А тебѣ въ дорогу пригодится... На желѣзной дорогѣ за эту штуку заплатишь гривенъ шесть...

Григорій черезъ силу пилъ чай и то и дѣло смотрѣлъ на часы. Но въ комнату заглянулъ Никаноръ и сказалъ:

— А что, господа честные, не опоздаемъ мы на чугунку?

Тогда Григорій всталъ и, словно спохватившись, произнесъ: „пора! пора!“...

— Весной буду ждать,—началъ отецъ,—весной у насъ хорошо, благодать! На пруду есть лодка, будешь рыбачить... Ты не разлюбилъ это занятіе?

— Нѣтъ.

— Будешь охотиться на утокъ...

— Прошлой весной этихъ самыхъ утокъ было...— неожиданно воодушевившись, началъ было говорить Никаноръ, но Сергѣй показалъ ему на чемоданъ, и Никаноръ не окончилъ фразы: схвативъ чемоданъ, онъ понесъ его въ санки.

— Ну, прощайте,—глухо сказалъ Григорій.

— Надо присѣсть передъ дорогой... Такой ужъ обычай... Сядь, Сергѣй!

Они посидѣли, потомъ разомъ всѣ встали, старикъ помолился передъ образомъ, подошелъ къ Григорію, перекрестилъ его и долго держалъ въ объятіяхъ и цѣловалъ, а когда выпустилъ, то сталъ тяжело отдуваться, приговаривая:

— Ну, Богъ съ тобой! Счастливый путь тебѣ!.. Весной, смотри, буду ждать... Пиши, какъ тамъ будешь жить... Деньги если понадобятся,—не гордись...

— Прощай, Гриша!—сказалъ Сергѣй и тоже громко поцѣловалъ брата три раза.

— Смотри, не сердись! Я вѣдь горячій, — добавилъ онъ.

Всѣ вышли провожать Григорія на крыльцо. Васильевна стояла тутъ же. Когда всѣ еще разъ простились съ Григоріемъ, она схватила его руку и поцѣловала.

— Прости насъ, окаянныхъ... А самъ молись за мамашу-то!—наставительно прошептала она ему на ухо, и Григорій почувствовалъ, какъ горячая слеза упала ему на руку.

— Ну, трогай!

Завизжали полозья саней, забулькали бубенчики и Григорій поѣхалъ.

— На Козьемъ вражкѣ осторожнѣй, Никаноръ! Подъ уздцы спусти!—крикнулъ старикъ упавшимъ голосомъ.

— Спустимъ! — отвѣтилъ Никаноръ, не оборачиваясь, ударилъ лошадку, и кошевка плавно покатилась по снѣгу, мимо амбаровъ, погребовъ и каретниковъ, къ воротамъ...

Сергѣй ушелъ въ комнаты, а отецъ съ Васильевной остались. Васильевна утирала слезы рукавомъ кофты и что-то шептала. А старикъ смотрѣлъ вслѣдъ уплывавшимъ санкамъ, изъ которыхъ торчалъ башлыкъ на головѣ Григорія, и моргалъ глазами, и ему было такъ грустно, словно онъ во второй разъ похоронилъ Марью Ѳеодоровну...

Когда лошадка выѣзжала изъ воротъ, Григорій оглянулся. На крыльцѣ еще темнѣла чья-то фигура; Григорій хотѣлъ помахать рукой, но не успѣлъ: крыльцо спряталось за какую-то постройку и незачѣмъ было махать.

Когда выѣхали въ поле,—подулъ въ лицо рѣзкій вѣтеръ. Григорій накрылъ лицо наглухо башлыкомъ, оставивши только маленькую дырочку для воздуха и закрылъ глаза... Полозья съ желѣзными подрѣзами визжали по снѣгу, бубенчики сыпались по дорогѣ непрерывнымъ дождемъ мелодичныхъ колокольчиковъ и, прислушиваясь къ этой своеобразной мелодіи, Григорій начиналъ мало-по-малу погружаться въ нирвану.

Ему казалось, что онъ ѣдетъ давно, давно, что онъ никогда не останавливался и никогда не остановится, а будетъ безъ конца все куда-то ѣхать...

ЧУЖЕСТРАНЦЫ.

Посвящается А. И. Морозъ.

Въ столицѣ шумъ, гремятъ витіи,
Кипитъ словесная война...
А тамъ, тамъ, въ глубинѣ Россіи,
Тамъ вѣковая тишина!

Некрасовъ.

I.

— Очень можетъ быть, что я заблуждаюсь, ваше превосходительство... Но не ошибается только тотъ, кто ничего не дѣлаетъ,—отвѣтилъ чиновникъ особыхъ порученій, щеголевато одѣтый молодой брюнетъ въ пенснэ, и красивымъ склоненіемъ головы изъявилъ полную готовность сдѣлать такъ, какъ хочется его превосходительству.

— Да, да... Такъ, пожалуйста, сдѣлайте именно такъ, а не иначе. И, молодой человѣкъ, посѣдѣлъ на службѣ и мнитъ считать себя болѣе опытнымъ. Вы ошибаетесь.

Не смѣю противорѣчить и въ точности исполню [illegible] порученіе. Буду весьма радъ убѣдиться [illegible] ошибкѣ, увидѣть себя въ заблужденіи.

— [illegible] со временемъ поймете. Только [illegible] учитъ молодежь уваженію [illegible]

— Простите, ваше превосходительство, я позволю себѣ вспомнить изреченіе Байрона.

И молодой человѣкъ, съ пріятною улыбкою на устахъ, мягкимъ баритономъ продекламировалъ:

Познанья наши—только дѣтскій бредъ;
Такъ сбивчивы и шатки наши мнѣнья,
Что сомнѣваться можно и въ сомнѣньи.

— Да, да... Прекрасно сказано,—одобрилъ генералъ снисходительнымъ тономъ. — Видно, что сказалъ это человѣкъ пожилой.

— Байронъ, ваше превосходительство. Нельзя сказать, чтобы—человѣкъ старый, но во всякомъ случаѣ очень почтенный.

— Да, да... Такъ, пожалуйста — именно такъ, а не иначе...

— Слушаюсь.

Молодой человѣкъ опять красиво склонилъ голову и произнесъ:

— Надѣюсь, что ваше превосходительство не посѣтуете на меня за то, что я откровенно высказалъ свой взглядъ, хотя бы даже и ошибочный...

— Вамъ должно быть извѣстнымъ, что я люблю, когда мнѣ говорятъ правду въ глаза,—строго, но вѣжливо отвѣтилъ генералъ.—Слава Богу, Александръ Васильевичъ, прошли тѣ времена, когда люди вашего положенія должны были только соглашаться... Я, слава Богу, вѣдь не Фамусовъ...

Генералъ расхохотался; круглое брюшко его запрыгало вмѣстѣ со всѣмъ тяжеловѣснымъ корпусомъ, а толстая шея въ складкахъ покраснѣла.

— Я не сомнѣваюсь въ этомъ,—улыбаясь произнесъ Волчанскій.

— Да, да... Только, пожалуйста, не обижайтесь; я вчера былъ въ театрѣ, „Горе отъ ума“ шло... Ну вотъ и вспомнилъ... Этотъ... какъ его? Ну!

— Молчалинъ, ваше превосходительство?

— Да, да, Молчалинъ. Онъ мнѣ, знаете ли, именно и не нравится тѣмъ, что льстивъ... Въ сущности изъ него, знаете ли, могъ бы выйти порядочный чиновникъ, но лесть, лесть! Я такихъ не люблю; больше: я такихъ терпѣть не могу.

— Имѣю честь кланяться.

Генералъ полуобернулся, протянулъ свою мягкую руку; Волчанскій пожалъ ее безъ приторнаго богопочтенія, съ видомъ сознающей себя равноправности, и вышелъ изъ кабинета увѣренной, даже немного гордой походкою.

„Прекрасный молодой человѣкъ“,—подумалъ генералъ,—„воспитанный, самостоятельный... И какъ это у него все выходитъ мило, съ достоинствомъ“...

— А гдѣ же Александръ Васильевичъ?—произнесла генеральша, появившись въ дверяхъ, и быстрымъ недовольнымъ взоромъ окинула кабинетъ мужа.

Сравнительно съ генераломъ это была молодая еще дама, очень изящная, съ претензіей на кокетство въ костюмѣ, въ прическѣ, въ манерѣ щурить свои каріе глаза, шатенка, съ чувственными слегка раскрытыми губами, которыя до сихъ поръ привлекали вниманіе генерала и вызывали игривую улыбку на его отцвѣтшемъ и обрюзгшемъ лицѣ.

— Сердитесь, ваше превосходительство?—пошутилъ генералъ, любуясь и теперь недовольно надутыми губками барыни (tête à tête они всегда называли другъ друга вашимъ превосходительствомъ).

— Я хотѣла поговорить съ нимъ о спектаклѣ въ пользу слѣпыхъ...

— Слѣпыхъ?.. Это очень хорошо... Всѣ мы, ваше превосходительство, слѣпы, до извѣстной степени слѣпы...

— Особенно—вы!

Генеральша расхохоталась беззаботно-веселымъ смѣ-

хомъ. Лицо генерала сразу измѣнилось: сдѣлалось серьезнымъ.

— Что вы хотите этимъ сказать? — произнесъ онъ, покручивая свой военный усъ.

— Сердитесь, ваше превосходительство?—спросила въ свою очередь генеральша, прищуривъ глаза, и, не дождавшись отвѣта, добавила: „я пошутила“ и потрепала мужа по двойному колючему подбородку ладонью руки.

— Намъ, другъ мой, не до спектаклей. По горло дѣла. Вы всегда воображаете, что всѣ мои подчиненные существуютъ исключительно для вашихъ надобностей... Это—ваша ошибка.

— Зачѣмъ—всѣ? Куда мнѣ ихъ? Избавьте отъ вашихъ увальней и мужиковъ. Волчанскій — единственный человѣкъ, съ которымъ можно и пріятно говорить. Позвольте мнѣ располагать однимъ Волчанскимъ, а остальныхъ отдаю вамъ, безраздѣльно... Мы ставимъ „Блуждающіе огни“, и Волчанскій будетъ играть Макса. Вы ужъ его не отвлекайте своими дѣлами пока... Успѣете...

— Да, прекрасный молодой человѣкъ. Что ни говорите, а столичный чиновникъ — совершенно особый видъ: въ немъ есть что-то этакое... тонкое, благородное... И, знаете, мнѣ всего больше нравится въ немъ прямота и достоинство, съ которымъ онъ держится.. Нашъ провинціалъ изогнется въ три дуги и говоритъ только, какъ попугай: „что прикажете“ и „какъ прикажете“. А этотъ имѣетъ собственное мнѣніе. Я самъ—человѣкъ прямой и люблю, чтобы мнѣ говорили въ глаза правду... Представьте, ваше превосходительство, я ему говорю, что надо сдѣлать такъ, а онъ говоритъ: что — эдакъ... Насилу убѣдилъ. Полезный человѣкъ, образованный, юристъ. А какъ ни говорите: умъ хорошо, а два—еще лучше. Иногда и я могу ошибаться... да, да... Барановъ сказалъ, ваше превосходительство,

что бредъ—всѣ наши мнѣнія, когда... когда въ душѣ одни сомнѣнья... Это очень вѣрно сказано...

— А я думаю, что въ Волчанскомъ есть излишекъ этого достоинства... Иногда это бываетъ въ ущербъ деликатности... Онъ зналъ, что...

— Ахъ, ваше превосходительство! Надо помнить, что фамусовскія времена прошли. Мнѣ именно и нравится въ немъ отсутствіе той провинціальной деликатности, которая принимаетъ на себя обязанности лакея... Конечно, онъ только начинаетъ свою карьеру и наткнись на другого человѣка, испортилъ бы...

— Вы говорите глупости,—перебила генеральша и, когда мужъ началъ было развивать свою мысль о карьерѣ, повторила нѣсколько разъ:

— Глупости, ваше превосходительство! Глупости! Глупости!

— Но...

— Ничего не хочу слышать. Глупости! — звонкимъ металлическимъ контральто выкрикнула генеральша, потомъ зажала свои уши тонкими пальчиками и стремительно выскочила изъ кабинета.

— Когда вы начинаете говорить глупости, у меня начинается мигрень,—сказала она изъ другой комнаты, и холодный шелестъ шелковыхъ юбокъ засвидѣтельствовалъ объ исчезновеніи капризной барыни.

„Знаемъ мы васъ!.. Не ухаживаетъ, не воскуриваетъ фиміамовъ, не бѣгаетъ за вашимъ хвостомъ,—вотъ и мигрень появляется“—самодовольно ухмыляясь, подумалъ генералъ и началъ сосредоточенно и напряженно прочитывать свѣжіе циркуляры, смыслъ которыхъ онъ понималъ вообще туго, и, не довѣряя себѣ, перечитывалъ всегда по нѣскольку разъ, отыскивая въ этихъ циркулярахъ чего-нибудь непріятнаго лично для себя. Хотя они, эти циркуляры, пишутся *вообще*, но генералъ отлично зналъ, что такое обобщеніе сплошь и рядомъ проистекаетъ изъ нежеланія Петербурга оскорблять или

дѣлать замѣчанія заслуженнымъ провинціальнымъ администраторамъ.

II.

Члены правленія общества „Мизерикордія“ съѣзжались довольно лѣниво. Засѣданіе было назначено въ 7 часовъ вечера; было уже около восьми, а никто не появлялся. Наталья Дмитріевна, предсѣдательница правленія, ходила въ возбужденномъ состояніи духа по пустынной амфиладѣ комнатъ и съ тревогою ждала лакея съ докладомъ о первомъ появившемся членѣ правленія.

Генеральша была сильно утомлена: сегодня она выдержала два засѣданія, принимала визитеровъ, посѣтила пріютъ подкидышей и теперь, послѣ обѣда, чувствовала потребность переодѣться въ свободный пеньюаръ и поваляться на оттоманкѣ съ романомъ Марселя Прево. Но это было невозможно: повѣстки давно разосланы, отложить засѣданіе не догадались. Надо было нести крестъ свой. И Наталья Дмитріевна смирилась бы съ положеніемъ вещей, если бы ее не угнетало еще одно маленькое обстоятельство: а вдругъ Волчанскій, секретарь общества, возьметъ да и не явится сегодня въ засѣданіе, а Наталья Дмитріевна не можетъ припомнить, зачѣмъ созвано правленіе. Съ одной стороны Натальѣ Дмитріевнѣ пріятно улыбалась надежда, что засѣданіе не состоится, но съ другой стороны ее пугало, что Волчанскаго до сихъ поръ нѣтъ, между тѣмъ какъ члены могутъ еще съѣхаться.

Такъ и есть: звонокъ!..

— Отецъ Герасимъ!—доложилъ лакей.

— А за Волчанскимъ послано?

— Посылали. Ихъ нѣтъ дома-съ.

— Это возмутительно!—съ сердцемъ вырвалось изъ устъ Натальи Дмитріевны. Мимоходомъ она взглянула въ трюмо, поправила волосы и дѣловитымъ шагомъ

прослѣдовала въ библіотечную комнату, гдѣ за большимъ круглымъ столомъ, въ обыденное время заваленнымъ книгами, газетами и юмористическими журналами, а теперь покрытымъ зеленымъ сукномъ и окруженнымъ вѣнскими стульями, должно было произойти засѣданіе.

— Мое почтеньице! Какъ ваше драгоцѣнное здравіе? — произнесъ отецъ Герасимъ, вставая со стула и направляясь навстрѣчу Натальѣ Дмитріевнѣ съ протянутою рукою, мягкой и пухлой, какъ у дебелой женщины. (Это былъ самый ревностный и аккуратный изъ членовъ правленія).

— Не особенно, батюшка. Садитесь!

— Все хлопочете?..

— Сегодня ужасно устала,—тяжело вздыхая и опускаясь на диванъ, отвѣтила Наталья Дмитріевна.

— Что же-съ!.. Труды богоугодные. Потрудитесь во славу Божію!— замѣтилъ отецъ Герасимъ, поглаживая свою широкую бороду и откидывая кистью руки густые вьющіеся волосы.

— Я рада, но что сдѣлаете, батюшка, съ такимъ народомъ: до сихъ поръ никто, кромѣ васъ, не пришелъ; даже секретарь нашъ не пожаловалъ... Непремѣнно надо десять разъ напомнить, просить, словно объ одолженіи, притти, а потомъ еще и посыльныхъ разсылать на извозчикахъ...

— Я маленечко опоздалъ, но у меня есть законныя къ тому основанія,—смущенно заговорилъ отецъ Герасимъ, и на его жирномъ лицѣ появились капли пота.

— Я знаю... Я—о другихъ...

— А позвольте полюбопытствовать, какіе вопросики изволите предложить сегодня на обсужденіе? — спросилъ отецъ Герасимъ, отирая клѣтчатымъ платкомъ свою физіономію.

— Вопросы?.. Нѣсколько вопросовъ... Разные...

— А его превосходительство у себя?

— Спитъ.

— Почиваютъ. Всеконечно, послѣ трудовъ праведныхъ отдохнуть слѣдуетъ. Я вотъ къ этому не привыкъ, а многіе признаютъ за правило послѣ обѣда соснуть... А въ медицинѣ на сей счетъ разногласіе существуетъ...

Послѣдовала продолжительная пауза. Потомъ отецъ Герасимъ опять началъ разсуждать, и его сентенціи были убійственно скучны и мучительны: все это были набившія оскомину истины, не только не требующія доказательствъ, но даже не подающія репликъ къ разговору. Натальѣ Дмитріевнѣ такъ захотѣлось вдругъ спать, что она отдала бы все на свѣтѣ за право сейчасъ же улечься на этомъ самомъ диванѣ, безъ подушки, одѣтой, отвернуться отъ батюшки къ стѣнѣ и сомкнуть вѣки. Но лечь было нельзя. Наталью Дмитріевну одолѣвала позѣвота, ей дѣлалось прямо дурно отъ скуки и неисполнимаго желанія—лечь. А батюшка продолжалъ занимать ее разговорами.

— Съ вольнаго воздуха это, — говорилъ онъ, замѣтивъ частыя позѣвыванія генеральши.—Когда человѣкъ загуляется на чистомъ воздухѣ, его всегда позѣвота безпокоитъ... Хорошая эта комната. Потолокъ высокій, обширная, воздуху сколько угодно. По гигіенѣ полторы кубическихъ сажени на человѣка полагается, а у васъ— сверхъ нормы. Для здоровья это весьма важно.

— Вы меня, батюшка, извините... Я сейчасъ же вернусь...

— Сдѣлайте одолженіе! Не стѣсняйтесь!

Наталья Дмитріевна поспѣшно вышла и радостно устремилась въ свой будуаръ. Тамъ она будетъ оставаться до тѣхъ поръ, пока не придетъ еще кто-нибудь.

Явилась Елена Михайловна Стоцкая, молодая вдова покойнаго предводителя дворянства. Отецъ Герасимъ встрѣтилъ ее тѣмъ же: „Мое почтеньице! Какъ ваше здоровіе?“, не вставилъ только „драгоцѣнное“.

— Здравствуйте. Ухъ, какъ здѣсь хорошо! На улицѣ, батюшка, пурга, страшная пурга!—звонко и весело заговорила Елена Михайловна, снимая съ головы бобровую шапочку.

— А главное — воздуху здѣсь много. Пища и воздухъ—это самое главное дѣло...

— Ну, не единымъ хлѣбомъ, батюшка, мы сыты бываемъ...

— Это—всеконечно, всеконечно...

— А чѣмъ еще? Счастьемъ, любовью... Не правда ли? — съ лукавымъ огонькомъ въ глазахъ торопливо добавила Елена Михайловна.

Отецъ Герасимъ вышелъ изъ затруднительнаго положенія очень просто: онъ вынулъ изъ глубокаго кармана рясы клѣтчатый платокъ и сталъ сморкаться, отклонивъ такимъ образомъ щекотливый вопросъ легкомысленной вдовы, которую въ душѣ отецъ Герасимъ всегда называлъ блудницею.

— Скажите, батюшка, вы вѣрите въ спиритизмъ?

— Какъ-съ?

— Въ спиритизмъ.

— Какъ вамъ сказать... Всеконечно, съ точки зрѣнія богословской, такія занятія не могутъ считаться дозволенными, но, безъ сомнѣнія, сверхчувственное наблюдается... наблюдается...

И отецъ Герасимъ разсказалъ случай: у его покойной тещи были часы, которые лѣтъ пять не били, но въ тотъ часъ, какъ умереть ея мужу, отлучившемуся съ требой въ сосѣднюю деревню,—часы пробили „три“, тесть пріѣхалъ въ два, поѣлъ окрошки — дѣло было лѣтомъ, дни стояли жаркіе,—а въ три скончался.

— Какъ объясните такое загадочное явленіе?—разводя руками, спросилъ отецъ Герасимъ.

— Что же тутъ объяснять, батюшка? Объѣлся окрошкой и умеръ!

— Тутъ дѣло не въ окрошкѣ, а въ моментѣ; замѣтьте: часы пробили три, въ три онъ и опочилъ...

Но Елена Михайловна не хотѣла ничего замѣчать: она смѣялась, осыпала отца Герасима искрами своихъ черныхъ, какъ уголь, насмѣшливыхъ глазъ и смущала собесѣдника щекотливыми вопросами.

Въ комнату вошли еще два члена: одинъ высокій, въ сѣрой англійской парѣ, въ золотомъ пенснэ, съ головой, остриженной бобрикомъ, другой — массивный, громоздкій, несуразный; первый сейчасъ же разсыпался мелкимъ бѣсомъ передъ Еленой Михайловной; красивое лицо его засіяло удовольствіемъ, въ голосѣ задрожали какія-то особо-музыкальныя баритональныя нотки; другой, грузно переваливаясь, сперва подошелъ подъ благословеніе отца Герасима, а потомъ уже сталъ здороваться съ остальными, холодно и лѣниво, безразлично къ полу и возрасту...

Первый былъ редакторъ мѣстной газеты „Вѣстникъ“, Борисъ Дмитріевичъ Сорокинъ, второй—купецъ-благотворитель, Тарасовъ.

Дольше скрываться въ будуарѣ было уже неудобно,— и Наталья Дмитріевна пошла къ членамъ. Слѣдомъ за ней влетѣлъ въ комнату, съ портфелемъ подъ мышкой, и Волчанскій, запыхавшійся, какой-то растерянный, съ безпокойнымъ взоромъ и мокрыми отъ снѣга усами и бородкой.

Комната огласилась веселымъ говоромъ, смѣхомъ, шорохомъ дамскихъ платьевъ, шаговъ, стукомъ выдвигаемыхъ стульевъ. Вообще, съ появленіемъ Волчанскаго какъ-то всѣ вдругъ словно проснулись и повеселѣли. Явился еще одинъ членъ.

Отецъ Герасимъ считалъ, пригибая къ ладони пальцы, наличность членовъ, а потомъ возглашалъ: „приступимъ!“, но его никто не слушалъ: всѣ были заняты посторонними разговорами: о городскихъ новостяхъ, о дѣлѣ Золя, о спиритизмѣ, о „Блуждаю-

щихъ огняхъ“ и другихъ вещахъ, не имѣющихъ рѣшительно ничего общаго съ „Мизерикордіей“.

— Приступимъ!—гудѣлъ отецъ Герасимъ, боявшійся, что засѣданіе затянется, и онъ, какъ и въ прошлую субботу, опять не успѣетъ сходить въ баню.

— О чемъ намъ надо было переговорить?—спросила Наталья Дмитріевна секретаря, когда члены усѣлись наконецъ вокругъ стола.

Волчанскій немного насмѣшливо взглянулъ въ сторону предсѣдательницы и началъ громко, ясно и увѣренно говорить о томъ, что было постановлено на предшествовавшемъ засѣданіи.

— Въ числѣ разрѣшенныхъ вопросовъ,—говорилъ онъ,—есть одинъ: о продажѣ принадлежащей обществу коровы. Постановленіе наше состояться, господа, не можетъ: корова настолько плоха, что едва ли кто-нибудь пожелаетъ купить ее за назначенную собраніемъ сумму—60 руб. Мясники болѣе 35 руб. не дадутъ. Нашей уважаемой предсѣдательницѣ пришла весьма счастливая мысль: разыграть корову въ лотерею. Это именно предложеніе и подлежитъ, господа, нашему обсужденію.

Предложеніе было принято единогласно. Опять начался оживленный обмѣнъ мнѣній по поводу посторонникъ предметовъ. Опять послышался смѣхъ, восклицанія, веселая болтовня Елены Михайловны съ редакторомъ. Многіе повскакали съ мѣстъ.

— Позвольте, господа! Засѣданіе еще не окончено.

Снова усѣлись. Пока Волчанскій излагалъ наскоро придуманный имъ вопросъ о собираніи негодной бумаги, газетъ и сургучныхъ печатей для продажи этого хлама на фабрики и увеличенія такимъ путемъ скудныхъ средствъ общества,—подписной листъ на корову гулялъ по столу, отъ сосѣда къ сосѣду, оставаясь чистымъ.

— Виноватъ... Я не при деньгахъ,—сказалъ о. Герасимъ, передавая листъ купцу Тарасову. Тотъ вынулъ

изъ кармана толстый бумажникъ, молча написалъ на листѣ: „отъ выигрыша отказываюсь. Алексѣй Тарасовъ и сыновья“ и, положивъ на бумагу 60 руб., отодвинулъ ее къ серединѣ стола. Правленіе прервало разсмотрѣніе вопроса о негодной бумагѣ, и секретарь выразилъ Тарасову благодарность отъ имени общества.

— Какіе еще есть вопросы? — спросилъ Тарасовъ, щелкнувъ крышечкой массивныхъ золотыхъ часовъ.

— Такъ вотъ, господа, я и предлагаю обратиться ко всѣмъ частнымъ и правительственнымъ учрежденіямъ съ просьбою о пожертвованіи негодной бумаги, газетъ, конвертовъ, сургучныхъ печатей...

Купецъ Тарасовъ привсталъ, молча поклонился всѣмъ членамъ и на цыпочкахъ, съ сильнымъ скрипомъ сапогъ, вышелъ за дверь.

— Имѣйте, господа, въ виду, что у меня въ редакціи можете получать массу газетъ, рукописей со стихами и прозой и прочаго бумажнаго хлама, кромѣ сургучныхъ печатей, относительно которыхъ я...

Всѣ расхохотались. Кто-то усомнился въ цѣлесообразности предложенія и воскликнулъ: „игра не стоитъ свѣчъ!“

Начался горячій споръ. Отецъ Герасимъ, видя, что засѣданіе затянулось, вышелъ подъ предлогомъ покурить въ коридоръ, а отсюда незамѣтно—въ швейцарскую и за дверь...

Спускаясь по лѣстницѣ, онъ услышалъ за собою чьи-то шаги и подозрительно оглянулся: то былъ еще одинъ сбѣжавшій членъ.

— Затянулось, а мнѣ рѣшительно нельзя,—произнесъ этотъ господинъ, пряча лицо въ поднятомъ воротникѣ ергака.

— И мнѣ равнымъ образомъ, — отвѣтилъ о. Герасимъ, ускоряя шаги.

III.

По пятницамъ у Елены Михайловны Стоцкой происходили сеансы. Это было одно изъ наиболѣе интересныхъ и пріятныхъ занятій Елены Михайловны. Нельзя сказать, чтобы эта молодая и красивая женщина, полная жизненной энергіи, веселости, смѣха, жаждущая земныхъ утѣхъ и наслажденій, имѣла склонность къ мистицизму или сколько-нибудь серьезно желала завязать сношенія съ безплотными духами... Нѣтъ, грѣховная оболочка тянула ея душу къ землѣ и ни на минуту не отпускала полетать на просторѣ отвлеченныхъ идей и туманныхъ мечтаній. Непричастные къ спиритическимъ сеансамъ обыватели, когда рѣчь заходила о томъ, что Елена Михайловна—спиритка, лукаво подмигивали другъ другу и посмѣивались въ бороду, а обывательницы восклицали возможно громче: „знаемъ мы этихъ спиритокъ!“ Эти сеансы начались еще при покойномъ Стоцкомъ, который въ угоду своей молодой женѣ готовъ былъ заниматься, чѣмъ ей вздумается. Душой этихъ сеансовъ была, впрочемъ, не Елена Михайловна, она была только душой общества.

Въ центрѣ кружка стояла Ольга Семеновна Турбина, жена управляющаго акцизными сборами, статская совѣтница, жаждавшая сдѣлаться дѣйствительной статской совѣтницей и таявшая отъ удовольствія, когда деликатные акцизные чиновники, желая польстить самолюбію начальницы, производили ее въ генеральскій чинъ собственной властью. Ольга Семеновна была спиритка высшей пробы. Она вѣрила въ спиритизмъ со страстностью сектантки и была убѣждена, что ея миссія на землѣ—привлекать послѣдователей своего ученія. Она выписывала „Ребусъ“, покупала всѣ новинки литературы по спиритизму, медіумизму и гипнотизму и изъ науки, буддизма и „Ребуса“ создала свое ученіе, нѣчто крайне безтолковое, уснащенное научными

терминами и полное абсурдовъ глубокаго невѣжества. Ольга Семеновна авторитетно развивала передъ слушателями основы спиритизма, наглядно и общедоступно объясняла имъ теорію переселенческаго движенія душъ, теорію стадій очищенія, связаннаго съ мѣстожительствомъ душъ человѣческихъ на различныхъ планетахъ, и при этомъ объясняла такъ страстно и такъ увлекательно, что трудно было даже допустить, чтобы она сама не понимала того, что говорила; никто не рѣшался вступать съ ней въ споръ, потому что она чувствовала себя по части загробной жизни и жизни духовъ, свѣтлыхъ и темныхъ, совершенно какъ у себя дома, — и слушателю невольно думалось: не прошла ли Ольга Семеновна самолично всѣхъ стадій очищенія и не жила ли она на Марсѣ? Съ Ольгой Семеновной было столько разнообразныхъ случаевъ изъ области спиритическихъ и медіумическихъ явленій, что, если она облюбовала себѣ покорнаго слушателя, то уже не отпускала его до тѣхъ поръ, пока тотъ не сбѣгалъ самымъ наглымъ образомъ, чувствуя, что еще пять-десять минутъ,—и съ нимъ начнутся медіумическія явленія или онъ впадетъ въ каталепсію: глаза слушателя соловѣли; вѣки тяжелѣли и закрывались, челюсти сводило отъ позѣвоты, и во всемъ тѣлѣ чувствовалась какая-то странная, непріятная тягость.

— Не смотрите, голубчикъ, мнѣ въ глаза! Я замѣчаю, что вы уже начинаете поддаваться гипнозу... У меня—страшная сила!—говорила Ольга Семеновна, замѣчая, что слушателю дѣлается не по себѣ. А у голубчика дѣйствительно слипались глаза, и онъ таращилъ ихъ, пересиливая одолѣвавшую его дремоту и стараясь выказать полное вниманіе къ чудеснымъ событіямъ изъ жизни Ольги Семеновны.

На сеансы Ольга Семеновна всегда пріѣзжала съ секретаремъ мужа, однимъ изъ первыхъ ея адептовъ по акцизному вѣдомству, человѣкомъ пожилымъ, туч-

нымъ и при томъ обремененнымъ многочисленнымъ семействомъ, съ Ѳомой Лукичемъ. Ѳома Лукичъ изъ деликатности вѣрилъ въ спиритизмъ, изъ деликатности ѣздилъ съ женою начальника на сеансы, изъ деликатности облачался, вмѣстѣ съ другими, въ бѣлый балахонъ поверхъ вицъ-мундира, неподвижно, какъ изваяніе римскаго сенатора, просиживалъ по три часа сряду и всегда видѣлъ и слышалъ то же самое, что видѣла и слышала Ольга Семеновна, а въ концѣ-концовъ получалъ такую нахлобучку отъ супруги, что всю ночь до разсвѣта чесался, вздыхалъ и покашливалъ, не рѣшаясь заговорить съ отвернувшейся къ стѣнѣ лицомъ женою. Мужъ Ольги Семеновны, предсѣдатель музыкально-драматическаго общества, былъ страстно влюбленъ въ віолончель, въ спиритизмъ не вѣрилъ и зло подсмѣивался надъ спиритами, а жену называлъ больной женщиной. Это обстоятельство усугубляло тягостное положеніе Ѳомы Лукича: онъ мучился сомнѣніемъ, не зная, что ему выгоднѣе: — вѣрить, или не вѣрить въ спиритизмъ?..

Кромѣ названныхъ трехъ лицъ, въ кружкѣ принимала участіе еще одна худая старая барышня, тоскующая о какомъ-то молодомъ человѣкѣ, который лѣтъ пятнадцать тому назадъ утонулъ въ рѣкѣ, не успѣвъ сдѣлать ей предложенія, и пестренькій юноша лѣтъ 19, безнадежно влюбленный въ Елену Михайловну и окончательно глупѣвшій въ ея присутствіи.

Елена Михайловна раздѣляла взглядъ Ольги Семеновны относительно адептовъ: ей казалось, что ихъ кружокъ слишкомъ тѣсенъ и что было бы очень хорошо расширить его, пополнивъ мужскимъ элементомъ, слабо и неудачно выраженнымъ въ лицѣ Ѳомы Лукича и глупаго юноши; не сходились онѣ лишь во взглядахъ на тѣ условія, которымъ должны были удовлетворять вновь поступающіе. Ольга Семеновна была въ этомъ отношеніи очень строга, требовала, чтобы

адептъ, прежде чѣмъ стать полноправнымъ членомъ кружка, выдержалъ какой-то искусъ, детально познакомился съ ея ученіемъ, проникся сознаніемъ глубокаго смысла, важности сеансовъ, не сомнѣвался и вѣрилъ.

Елена Михайловна относилась къ этому значительно проще и легкомысленнѣе; ей казалось, что все это придетъ само собой, что „ученіе тутъ не особенно важно, и что не бѣда, если человѣкъ чуточку не вѣритъ". Исходя изъ такихъ взглядовъ, Елена Михайловна рѣшила, во что бы то ни стало, обратить въ спирита Александра Васильевича Волчанскаго, интереснаго, красиваго и умнаго молодого человѣка, изъ разряда тѣхъ, кои, по выраженію Елены Михайловны,—возбуждаютъ кокетство. На послѣднемъ засѣданіи правленія общества „Мизерикордія" Елена Михайловна взяла съ Волчанскаго честное слово — быть у ней на ближайшей пятницѣ и, хотя тотъ отговаривался невѣріемъ и еще какимъ-то годовымъ отчетомъ, все-таки настояла на своемъ.

— Ну и не вѣрьте! Не надо! (Не говорите только этого Ольгѣ Семеновнѣ). Сначала всѣ не вѣрятъ, а потомъ убѣждаются. Мнѣ хочется васъ убѣдить... Итакъ, даете слово?..—пронизывая Волчанскаго огненнымъ взоромъ и не выпуская его руки, настаивала Елена Михайловна.

— Что жъ дѣлать!.. буду,—сказалъ тотъ, смущаясь подъ ея пристальнымъ взглядомъ.

И вотъ настала пятница.

Всѣ члены кружка были въ сборѣ и успѣли уже облачиться въ свои странныя бѣлыя хламиды. Огни исчезли. Въ вышинѣ подъ потолкомъ забрезжилъ огонекъ занавѣшеннаго темномалиновой матеріей фонарика,—и гостиная погрузилась въ какія-то странныя, больныя сумерки, напоминающія сумерки осенняго вечера, когда разсѣянные лучи исчезнувшаго въ крова-

вомъ пурпурѣ заката солнца уже почти побѣждены тѣнями ночи. Длинныя, бѣлыя фигуры спиритовъ, тихо бродившихъ по комнатамъ, напоминали вставшихъ изъ могилъ, закутанныхъ въ саваны мертвецовъ, и нельзя было различить, кто изъ нихъ женщина и кто мужчина. Выдѣлялся только Ѳома Лукичъ; по массивности фигуры и по короткому, не по росту халату его можно было узнать сразу. Елена Михайловна, въ бѣлоснѣжномъ шелковомъ капотѣ, обвѣянномъ паутиною тонкихъ пышныхъ кружевъ, сидѣла въ креслѣ, мечтательно склонивъ свою голову, и молчала. „Нѣтъ, не придетъ. Обманулъ“,—думала она о Волчанскомъ, и ей дѣлалось скучно и не хотѣлось заниматься спиритизмомъ. Юноша, скрестивъ по-наполеоновски руки съ длинными некрасивыми кистями, стоялъ напротивъ и напрягалъ всю силу своего зрѣнія, чтобы пронизать ненавистный мракъ и получить законченное впечатлѣніе отъ туманнаго образа „дивной феи лѣсовъ“—какъ мысленно называлъ онъ теперь Елену Михайловну.

Ольга Семеновна, исполнявшая роль сектантскаго попа, пригласила наконецъ свою паству на молитву. Всѣ встали и сгрудились. Ѳома Лукичъ выдвинулся своей громоздкой фигурой впередъ, прочиталъ молитвы по положенію, перекрестился и отошелъ въ сторону. Ольга Семеновна взяла подъ руку медіума, (ту самую старую барышню, которая потеряла въ рѣкѣ жениха) и повлекла его за невысокую ширму, къ оттоманкѣ. Здѣсь медіумъ долженъ былъ лечь и подъ вліяніемъ взгляда Ольги Семеновны и тока, проходящаго изъ ея организма черезъ руку, погрузиться въ трансъ.

Медіумъ не заставилъ ждать долго: спустя 10 — 15 минутъ священнодѣйствія за ширмою, оттуда вышелъ бѣлый призракъ Ольги Семеновны и жестами далъ знать, что все совершилось. Общество усѣлось вокругъ столика и соединило руки въ цѣпь. Ольга Семеновна тихо спросила: „будешь ли, [illegible] духъ, гово-

рить съ нами"? Столикъ стукнулъ дважды, что значило „да".

— Задавайте, господа, вопросы!—самодовольно произнесла Ольга Семеновна.

Елена Михайловна заявила, что она задастъ вопросъ мысленно. Столикъ отвѣтилъ „да", и въ этотъ моментъ долгій электрическій звонокъ затрещалъ и гулко разнесся въ погруженныхъ въ тьму и тишину комнатахъ. Елена Михайловна вздрогнула и откинулась на спинку стула; у ней застучало сердце, и невидимый для посторонняго глаза румянецъ окрасилъ ей щеки и уши.

Дверь распахнулась и,— бодрый, весь пропитанный свѣжестью морознаго вечера, Волчанскій вошелъ въ залъ, протирая платкомъ запотѣвшія стекла пенснэ и пристально вглядываясь своими близорукими глазами впередъ и вокругъ.

— А я думала, что вы, по обыкновенію, обманете— встрѣтила его фея лѣсовъ.—Вы меня простите за мой оригинальный костюмъ... Но у насъ иначе нельзя. Дайте вашу руку: я познакомлю васъ съ членами нашего кружка... Съ Ольгой Семеновной, вы, конечно, знакомы?

— Знакомы, знакомы,—сердито отвѣтила Ольга Семеновна, нехотя подавая руку.

Ольга Семеновна была недовольна. Появленіе Волчанскаго, который, какъ она знала, смѣется надъ спиритами, казалось ей какимъ-то святотатствомъ, особенно въ такой моментъ, когда медіумъ лежалъ уже въ трансѣ, а духи начали говорить. Гость, обезкураженный мракомъ и бѣлыми хламидами, удивленно вглядывался въ представляемыхъ ему членовъ кружка и когда очередь дошла до Ѳомы Лукича, разсмѣялся и сказалъ:

— Какъ? И вы, почтеннѣйшій Ѳома Лукичъ? Вотъ ужъ не ожидалъ!

— Позвольте спросить: почему?

— Да такъ...—замялся Волчанскій.

Все общество, за исключеніемъ Елены Михайловны, было смущено появленіемъ Волчанскаго и, видимо, тоже—недовольно. А Ольга Семеновна, такъ та прямо повела себя демонстративно: сдернула матерію съ фонарика и ушла за ширму.

Пока Волчанскій бесѣдовалъ съ Ѳомой Лукичемъ о винной монополіи, Елена Михайловна куда-то сходила и вернулась съ бѣлымъ халатомъ въ рукахъ. У нихъ иначе нельзя: если Волчанскій хочетъ принять участіе въ сеансѣ, то долженъ надѣть эту хламиду покойнаго мужа Елены Михайловны.

— Избавьте, Елена Михайловна! Ну не все ли равно духамъ, какъ я одѣтъ? Вѣдь это—абсурдъ,—отговаривался Волчанскій, умоляюще прижимая руку къ сердцу.

— Нельзя. Говорятъ вамъ—надѣвайте! Ну! маршъ въ столовую и являйтесь въ бѣломъ!—кокетливо приказала Елена Михайловна, топнувъ обутой въ шелковую туфлю ножкой.

— Это совершенно лишнее,—произнесла Ольга Семеновна, возвращаясь изъ-за ширмы подъ руку съ медіумомъ.

— Ольга Семеновна? Что это значитъ?—удивленно спросила Елена Михайловна.—Мнѣ кажется, что ничто не мѣшаетъ намъ продолжать сеансъ...

— Нѣтъ я, голубчикъ, не люблю шутокъ. Разъ заниматься, такъ заниматься серьезно. Это—не забава. Къ чему? Кто не хочетъ вѣрить, того ничто не убѣдитъ. Вы знаете мой взглядъ на вещи...

— Но позвольте, Ольга Семеновна, вы мнѣ сами говорили, что раньше не вѣрили и смѣялись, а теперь жалѣете тѣхъ, кто не вѣритъ. Быть можетъ, и я повѣрилъ бы, если бы убѣдился воочію,—заговорилъ Волчанскій.

— Васъ, Александръ Васильевичъ, трудно убѣдить.

— Но не невозможно?

— Невозможно. Я не знаю, во что вы вѣрите и вѣрите ли во что-нибудь.

Загорѣлись огни. Ѳома Лукичъ ходилъ около медіума со стаканомъ воды и приставалъ:

— Выпейте! хлебните!

Юноша смотрѣлъ въ ротъ Елены Михайловны. А Елена Михайловна болтала съ Волчанскимъ о разныхъ пустякахъ, строила ему глазки и обжигала его молніей взоровъ. Они сидѣли на двухмѣстномъ диванчикѣ, и близость этой женщины, безпечной и веселой, свободной отъ мелочныхъ хлопотъ повседневной жизни, близость ея разгоряченнаго тѣла съ одурманивающимъ ароматомъ весны, близость ея лица, съ такими пунцовыми губками, приводили въ смущеніе красиваго сосѣда. Волчанскій чувствовалъ, какъ въ немъ начинаетъ пошевеливаться звѣрь...

„Она напоминаетъ Карменъ“,—думалъ Волчанскій, сидя въ санкахъ, которыя мчали его по направленію къ дому. А Елена Михайловна, проводивъ гостей, долго ходила по залѣ, смотрѣлась въ громадное трюмо, улыбалась своему личику и тихо напѣвала:

Люблю ли тебя я, не знаю,
Но кажется мнѣ, что люблю...

IV.

Обособленно, совершенно въ сторонѣ отъ мѣстнаго культурнаго общества, жила кучка интеллигентовъ. Бывшіе студенты, акушерка безъ практики, художникъ-самоучка, готовящійся на аттестатъ зрѣлости юноша,— всѣ эти люди, связанные между собою тайными узами духовнаго сродства, толкавшаго ихъ другъ къ другу, занимали совершенно исключительное положеніе среди обывателей города. Казалось, что это были какіе-то

иностранцы на чужбинѣ, инстинктивно влекомые другъ къ другу единствомъ родины, языка, религіи и обычаевъ. Они жили своимъ кругомъ и не имѣли рѣшительно никакихъ соприкосновеній съ общественной жизнью города, чуждые его интересовъ, злобъ дня, дрязгъ и сплетенъ. У нихъ были свои интересы, свои разговоры, свои правила жизни, свои взгляды и привычки,—и все это такъ разнилось отъ интересовъ и правилъ жизни горожанъ, что эти люди и сами чувствовали себя иностранцами. Въ то время, какъ городъ волновался какимъ-нибудь событіемъ мѣстной жизни, какой-нибудь своей исторіей, какимъ-нибудь вопросомъ городского хозяйства, выборами головы, членовъ управы, назначеніемъ на открывшуюся вакансію базарнаго смотрителя,—они волновались вопросами общегосударственной важности, событіями политической жизни въ западной Европѣ, злобами литературы, наукй и искусства, хозяйствомъ цѣлыхъ народовъ. Среди нихъ не было администраторовъ, но они входили въ обсужденіе различныхъ административныхъ проектовъ по различнымъ вѣдомствамъ; среди нихъ не было политическихъ дѣятелей, но они ждали съ нетерпѣніемъ выборовъ въ палату депутатовъ и въ рейхстагъ, близко къ сердцу принимая побѣду той или иной партіи; среди нихъ не было собственниковъ, даже болѣе—среди нихъ не было людей, имѣющихъ вѣрный кусокъ хлѣба на завтрашній день, но они съ пѣной у рта дебатировали вопросъ о томъ, какія цѣны на хлѣбъ выгоднѣе, и кому именно; не было профессоровъ, но они съ дѣтской радостью встрѣчали какіенибудь рентгеновскіе лучи, противодифтеритную сыворотку и т. п. Ихъ интересовали художественныя выставки, которыя гдѣ-то тамъ, далеко, открываются и закрываются и на которыя имъ нечего было разсчитывать попасть... Мѣстная жизнь плыла мимо, не касаясь этихъ чужестранцевъ; ничтожная, мелочная, она не

замѣчалась ими, но зато, въ свою очередь, платила имъ полнымъ презрѣніемъ. Впрочемъ, эти отвлеченные жители были неуязвимы и, какъ Ахиллъ, имѣли одно только слабо защищенное мѣсто: у Ахилла была уязвима пятка, у нихъ — желудокъ. Въ эту сторону, конечно, и направлялись удары противника.

Вся эта публика,—какъ они сами себя называли,—жила изо дня въ день, перебиваясь съ воды на хлѣбъ уроками, перепиской, временными работами въ конторахъ и другими случайностями, вѣчно искала мѣстъ, но не находила ихъ и помогала другъ другу голодать и смѣяться надъ симъ бреннымъ существованіемъ.

Въ городѣ была городская публичная библіотека. Это было единственное учрежденіе, съ которымъ публика находилась въ близкихъ и постоянныхъ сношеніяхъ. Здѣсь, въ кругу книгъ, газетъ и журналовъ, публика забывала о своемъ одиночествѣ и чувствовала себя какъ дома. Они отлично знали каталоги, основные и дополнительные, прекрасно знали внутреннее расположеніе библіотеки, здоровались за руку со старичкомъ-библіотекаремъ и его помощницей, скромной, некрасивой барышней, дѣлали длинныя мотивированныя заявленія о необходимости выписать тѣ или другія книги, объ измѣненіи нѣкоторыхъ внутреннихъ распорядковъ библіотеки, знали даже шкафы, въ которыхъ спокойно полеживалъ тотъ или другой мыслитель, нетревожимый горожанами со временъ его вступленія въ ряды сотоварищей. Тѣ изъ чужестранцевъ, которые не имѣли утреннихъ занятій, аккуратно ходили въ библіотеку и просиживали тамъ съ момента открытія до момента закрытія ея, напоминая служилыхъ горожанъ, опредѣленное число часовъ просиживающихъ въ палатахъ, канцеляріяхъ, казначействѣ.

Зимой, когда морозъ, потрескивая и похрустывая, расхаживалъ по улицамъ, когда было хорошо только

тѣмъ, у кого была теплая шуба съ воротникомъ да тяжелыя калоши на фланелевой подкладкѣ,— библіотека не пустовала: холодъ загонялъ сюда всѣхъ ободранныхъ гражданъ, безмѣстныхъ и отставныхъ чиновниковъ съ красными носами, разночинцевъ, безработныхъ мастеровыхъ... Всѣ эти жители приходили погрѣться. Тогда всѣ диваны и стулья были заняты, слышался шелестъ газетныхъ листовъ на палкахъ, скрипъ осторожныхъ шаговъ, позвякиваніе цѣпочекъ, на которыхъ были прикованы справочныя книги, календари, словари и другія изданія, часто требуемыя и прежде очень часто исчезавшія... Слышался кашель, вздохи и кряхтѣніе прозябшихъ на морозѣ жителей.

Среди этой сѣренькой публики, читавшей все, что попадется подъ руку, а чаще углубленной въ разсматриваніе юмористическихъ и иллюстрированныхъ журналовъ, тамъ и сямъ сидѣли глубокомысленно-сосредоточенные чужестранцы за толстыми книгами, съ карандашами въ рукахъ, читали и записывали что-то; они упорно требовали одну и ту же книгу въ теченіе нѣсколькихъ дней подъ рядъ и внушали этимъ невольное уваженіе со стороны библіотечной администраціи: сразу видно, что люди серьезные, — не грѣться ходятъ; съ ними, конечно, надо быть внимательнѣе и осторожнѣе, они могутъ въ случаѣ чего и жалобную книгу потребовать. Правда, одѣты они плоховато, не лучше нѣкоторыхъ грѣющихся, но на лицахъ ихъ лежитъ совсѣмъ особый отпечатокъ, рѣзко выдѣляющій ихъ изъ среды тѣхъ, которые ходятъ, какъ говорилъ желчный старичекъ-библіотекарь, болтаться.

Настоящихъ, осѣдлыхъ и благополучныхъ обывателей здѣсь почти никогда не бывало, особенно же обывательницъ, считавшихъ такое посѣщеніе прямо неудобнымъ: развѣ иногда лѣтомъ случайно забѣгутъ изъ сосѣдняго сквера легкомысленныя, мучимыя жа-

ждою барышни, чтобы воспользоваться графиномъ съ безплатной водою или посмотрѣться въ передней въ зеркало, поправить прическу и шляпу. Тѣмъ сильнѣе бросалась въ глаза чужестранка, невеселая тихая дѣвушка, когда она сидѣла въ библіотекѣ за книгою и никого и ничего не хотѣла знать, кромѣ этой книги.

Со стороны обычной библіотечной публики чужестранцы расположеніемъ не пользовались: эти господа мѣшали посѣтителямъ побесѣдовать между собою и громогласно прерывали разговоры сухимъ восклицаніемъ: „потрудитесь потише“, мѣшали ходить отъ стола къ столу и хихикать, постоянно заявляя, что имъ мѣшаютъ.

— Вотъ, подумаешь, знатные господа появились!..

— Надѣлъ очки, такъ думаетъ, персоной сдѣлался,— огрызался обыватель.

Всѣ прекрасно зная другъ друга, они почти не имѣли знакомыхъ среди коренныхъ жителей. Немногія такія знакомства, возникавшія на почвѣ исканія мѣстъ и заработковъ, были шапочными. Только одинъ изъ этихъ чужестранцевъ, художникъ Евгеній Алексѣевичъ Тарасовъ, представлялъ исключеніе: онъ выросъ въ этомъ городѣ, учился въ мѣстной гимназіи; здѣсь жили до сихъ поръ его родители, богатые купцы и домовладѣльцы, отъ которыхъ Евгеній Алексѣевичъ добровольно отошелъ въ сторону, шутливо говоря по сему поводу: „нагъ я родился, нагъ отошелъ и отъ родителей своихъ“. Этого Евгенія Алексѣевича зналъ почти весь городъ, называлъ его не иначе, какъ чудакомъ, но все-таки не чурался, отчасти потому, что родители его были люди почтенные, а отчасти потому, что считали его чудакомъ добрымъ и совершенно безвреднымъ. Онъ-то главнымъ образомъ и помогалъ товарищамъ завязывать знакомства съ обывателемъ на почвѣ заработковъ. Начальство, хотя немного и пока-

шивалось на этого чудака, порвавшаго отношенія съ почтенными родителями и носившаго длинные волосы, тѣмъ не менѣе ничего предосудительнаго обнаружить въ его поведеніи не могло и потому оставляло его лишь подъ нѣкоторымъ подозрѣніемъ.

V.

Евгеній Алексѣевичъ Тарасовъ стоялъ передъ мольбертомъ въ комнатѣ второго этажа номеровъ для гг. пріѣзжающихъ и возился надъ этюдомъ задуманной имъ картины „Крючникъ“. Эта картина, по выраженію Евгенія Алексѣевича, должна была наводить зрителя на много думъ и въ проектѣ представляла слѣдующее:

Волжскій пароходъ присталъ къ конторкѣ, прижавшейся къ крутому нагорному берегу рѣки, и разгружается. На первомъ планѣ — фигура крючника; онъ идетъ по узкимъ перекинутымъ съ парохода на пристань мосткамъ, низко пригнувшись подъ тяжестью навьюченнаго на его спину тюка; босыя ноги крючника дрожатъ, не гнутся въ колѣняхъ и готовы подкоситься подъ непосильной тижестью, всѣ мускулы загорѣвшаго лица напряжены, жилы на раскрытой шеѣ и на голыхъ мускулистыхъ рукахъ надулись; на лицѣ—печать тупого физическаго страданія и внезапнаго испуга. Моментъ ужасный: силы ослабли, человѣкъ покачнулся и замеръ, балансируя на узкихъ сходняхъ; еще одно мгновенье, еще одно невѣрное движеніе, — и спинной хребетъ хрустнетъ, человѣкъ падетъ, придавленный пятнадцати-пудовымъ грузомъ. Сверху, съ пароходнаго трапа-балкона, смотритъ первоклассная публика: три стройныхъ дамскихъ фигуры въ эффектныхъ дорожныхъ костюмахъ и игривый молодой человѣкъ, безпечный и жизнерадостный вояжеръ; одна изъ дамъ лорнируетъ грязнаго, съ болтающимися лохмотьями рубахи, крючника, лицо ея и вся фигура, легкая и гибкая,

выражаютъ напряженное вниманіе, полны того особаго ощущенія—смѣси страха и щекочущаго любопытства и ожиданія, которое запечатлѣвается обыкновенно на лицахъ поглощенной рискованнымъ спортомъ публики; другая барыня, пренебрежительно прищуривъ глаза, смотритъ тоже на крючника, но ее, видимо, интересуетъ больше молодой человѣкъ, позирующій передъ третьей дамой, которая, граціозно перегнувъ къ нему свою шейку и головку, невинно кокетничаетъ съ вояжеромъ. Выше надъ ними, на легкомъ капитанскомъ мостикѣ, вырисовывается фигура бородатаго капитана, торопливымъ и сердитымъ жестомъ руки отдающаго распоряженіе—помочь крючнику.

Самое главное въ картинѣ, конечно, лицо крючника, оно-то именно и не дается Евгенію Алексѣевичу. Отходя отъ мольберта, онъ смотритъ и прямо, и сбоку, вполголоса напѣваетъ что-то и снова приближается и мажетъ кистью. Отчаявшись передать желаемое, Евгеній Алексѣевичъ бросаетъ кисть, закуриваетъ папироску и останавливается у окна. Одухотворенное захватывающей идеей, лицо его обращено на улицу, но ничего не видитъ. „Не то, не то!“—шепчетъ онъ, отходя отъ окна къ столу, заваленному набросками углемъ и карандашемъ, все изъ той же картины „Крючникъ“. Вотъ три дамы и франтъ. Они удались, особенно франтъ: онъ напоминаетъ одного изъ мѣстныхъ ловеласовъ: это вышло невольно и бросилось въ глаза Евгенію Алексѣевичу только сейчасъ. Евгеній Алексѣевичъ присматривается къ этюду, то улыбается, то морщитъ лобъ. Небрежнымъ движеніемъ головы онъ откидываетъ назадъ пряди мягкихъ волнистыхъ русыхъ волосъ. Душа его наполняется хорошимъ чувствомъ удовлетвореннаго творчества, вспыхиваетъ новый порывъ и снова толкаетъ его къ мольберту. Евгенію Алексѣевичу кажется, что теперь онъ непремѣнно передастъ и страданіе, и испугъ.

— Печку, Евлентій Ликсѣичъ, затопить, али ужъ

завтра?—спрашиваетъ черезъ пріотворенную дверь коридорный Ванька.

— Поди ты къ чорту!

— Ну, завтра истопимъ... А тутъ къ вамъ опять господинъ приходилъ насчетъ отца Іоанна Кронштадтскаго...

— Ну?

— Спрашивалъ, когда будетъ готовъ.

— Ну послѣ, послѣ! Не мѣшай!

— Это вы чье же рыло такое изобразили? — спросилъ Ванька, входя въ номеръ.

— Твое. Ступай, братъ. Проваливай!

— Уйду... Потѣшное рыло... Ей-Богу!

Коридорный, ухмыляясь, вышелъ изъ номера. Евгеній Алексѣевичъ взялся было опять за кисть, но почувствовалъ, что порывъ исчезъ, созданный воображеніемъ образъ потускнѣлъ и не появляется. „Этакая скотина“,—мысленно обругалъ Евгеній Алексѣевичъ Ваньку, но въ сущности Ванька былъ виноватъ лишь въ томъ, что напомнилъ объ Іоаннѣ Кронштадтскомъ. Находясь въ критическомъ финансовомъ положеніи, Евгеній Алексѣевичъ принялъ отъ фирмы „Тарасовъ и сыновья“ заказъ: написать 48 портретовъ о. Іоанна Кронштадтскаго, предназначенныхъ этою фирмою въ даръ церковно-приходскимъ школамъ. Деньги были нужны до зарѣзу, а денегъ не было. А тутъ какъ-то кстати заявился приказчикъ фирмы съ письмомъ отъ старшаго брата. „Чѣмъ зря краски-то изводить, возьмись за дѣло, нарисуй намъ 48 отцовъ Іоанновъ Кронштадтскихъ, за что батюшка согласенъ тебѣ уплатить 150 рублей аккортно“,—писалъ братъ. Приказчикъ на случай привезъ и задатокъ. Трудно было не согласиться.

И вотъ коридорный Ванька своимъ напоминаніемъ испортилъ настроеніе. Заказъ подвигался туго: изъ 48 портретовъ было написано лишь семь, а „Тарасовъ и сыновья“ каждый день присылали спрашивать, не го-

товъ ли о. Іоаннъ Кронштадтскій и страшно торопили: архіерей намѣревался ѣхать по епархіи, и купецъ Тарасовъ хотѣлъ, чтобы архипастырь засталъ портреты на мѣстѣ, на стѣнкахъ, и лишній разъ вспомнилъ о купцѣ Тарасовѣ и его богоугодныхъ дѣлахъ.

Недовольный и злой, Евгеній Алексѣевичъ ходилъ по комнатѣ, предвкушая непріятную перспективу бросить творческую работу и приняться за мазню портретовъ, какъ дверь съ шумомъ распахнулась и въ комнату влетѣлъ въ пальто, шапкѣ и калошахъ бывшій студентъ Ерошинъ.

— Осужденъ! — мрачно произнесъ онъ и, сбросивъ шапку на диванъ съ продавленнымъ сидѣньемъ, сѣлъ на стулъ, гдѣ лежалъ загрунтованный холстъ въ рамкѣ, приготовленный для восьмого портрета и еще не совсѣмъ просохшій.

— Нельзя! Штаны испортишь! — испуганно вскрикнулъ Евгеній Алексѣевичъ, схвативъ гостя за руку и стаскивая со стула.

— Годъ тюрьмы и 3.000 франковъ штрафа!—сказалъ такъ же мрачно Ерошинъ, очищая рукою свой костюмъ.

— Есть телеграмма?

— Есть. Это чортъ знаетъ что! Золя осужденъ!— еще разъ произнесъ Ерошинъ и сталъ снимать пальто и калоши. Снимая ихъ, онъ мычалъ что-то про полковника Пикара и генерала Мерсье и, должно быть, ругалъ ихъ обоихъ, потому что одна изъ снятыхъ Ерошинымъ калошъ отлетѣла далеко въ сторону.

— Однако, господинъ, вы мнѣ всю комнату испакостили... Не мѣшало бы сперва снимать калоши у порога, а потомъ ужъ разгуливать.

— Буржуазія все пропитала своимъ вонючимъ ядомъ, и всесильный капиталъ поработилъ и liberté, и égalité... и всѣ эти хорошія слова... Ты чай пилъ?

— Пилъ. Но могу и тебя напоить, если хочешь.

— Съ хлѣбомъ?

— Съ хлѣбомъ.

— Можетъ быть, и съ колбасой?

— Да ты, братецъ, кажется, не съ того конца началъ? Колбаса есть.

— Я не откажусь и отъ чая.

Евгеній Алексѣевичъ долго звалъ коридорнаго, но все было тихо въ номерахъ. Вышелъ, наконецъ, въ коридоръ Ерошинъ и зычнымъ голосомъ проревѣлъ:

— Кори-дор-ный! Са-мо-варъ!

Они сидѣли за самоваромъ и говорили о Золя, о буржуазіи, объ антисемитахъ, при чемъ Ерошинъ ухитрялся одновременно говорить, ѣсть колбасу, курить и пить чай.

— Ну, какъ твой „Крючникъ“?

— Плохо. Ванька назвалъ моего „Крючника“ рыломъ... И, дѣйствительно, выходитъ, рыло, а не идея...

— Потому, братъ, что ты со своимъ рыломъ въ калашный рядъ сунулся. Малевалъ бы себѣ „патреты“ съ сродственниковъ, благо народъ денежный... А кончилъ ли 48-го?

— Гдѣ тамъ! — сказалъ, махнувъ рукою, Евгеній Алексѣевичъ,—только семь готово. Значитъ, еще со-рокъ одинъ!.. Страшно подумать...

— Хочешь помогу?

— Куда тебѣ. Развѣ палитру да кисти мыть будешь?

— Невѣжда. Я тебѣ дамъ идею, т. е. такую вещь, которая въ твоей лохматой башкѣ еще не заводилась.

— А мой „Крючникъ“?..

— Старо. Перифраза Гаршинскаго „Глухаря“... Значитъ, не только твоя картина, но и самъ-то ты обезьяна... Нѣтъ, я тебѣ въ самомъ дѣлѣ дамъ совѣтъ, какъ окончить заказъ въ два дня... Слушай, голова съ мозгомъ!

И Ерошинъ изложилъ свою идею. Онъ посовѣтовалъ Евгенію Алексѣевичу сдѣлать по готовому уже портрету нѣсколько картонныхъ трафаретовъ и, накла-

дывая ихъ по очереди на загрунтованное полотно, мазать разными красками, а потомъ отдѣлывать мазками.

— Такимъ образомъ и ты перейдешь отъ ручного способа производства къ машинному,—закончилъ Ерошинъ, поѣдая остатки колбасы.

— А вѣдь твоимъ совѣтомъ, ей-Богу, можно воспользоваться...

— Конечно! Говорилъ — дамъ идею! А покудова брось все, и пойдемъ къ Силину. Тамъ только тебя не хватаетъ. Содомъ идетъ... Софья Ильинишна и Силинъ поссорились изъ-за Франціи... Софья Ильинишна ставитъ политику впереди всякихъ другихъ факторовъ, а Силинъ (знаешь, какъ онъ всегда?) тихо, ровно, логично и зло разрушалъ всѣ траншеи Софьи Ильинишны и, когда она увидала, что послѣдняя позиція захвачена,—сказала: „я съ вами не желаю говорить. Вы переходите на личности“...

VI.

Евгеній Алексѣевичъ былъ младшимъ изъ сыновей купца Тарасова. Онъ не оправдалъ надеждъ родителей и оказался прохвостомъ или соціалистомъ,—какъ называлъ его отецъ, въ сознаніи котораго эти два понятія сливались въ одно цѣльное, законченное представленіе. Мать жалѣла Евгешу и называла его непутевымъ; материнское сердце болѣло за сына и содрагалось отъ ужаса, когда отецъ ругалъ Евгешу соціалистомъ.

— Полно, побойся Бога-то, Алексѣй Никанорычъ! Какой ни на есть, а все-таки сынъ же онъ тебѣ,—останавливала она мужа, котораго самое имя „Евгеша“ приводило въ бѣшенство и заставляло сжимать кулакъ.

— Выродокъ! Какой онъ мнѣ сынъ? Выродокъ, соціалистъ проклятый!—кричалъ Алексѣй Никанорычъ и отплевывался.

И дѣйствительно. Евгеній Алексѣевичъ былъ въ семьѣ выродкомъ. Мечтательный и сантиментальный мальчикъ, Евгеша еще въ далекомъ дѣтствѣ казался чужимъ, неподходящимъ къ семьѣ экземпляромъ. Росъ онъ отдѣльно отъ братьевъ,—между ними была слишкомъ большая разница въ лѣтахъ,—и потому предоставленный самому себѣ, мальчикъ былъ чуждъ того семейнаго духа, которымъ были проникнуты старшіе братья. Какъ послѣдышъ, онъ былъ любимцемъ матери, женщины набожной, соблюдавшей всѣ посты и сыропусты, всегда вертѣлся около матери и былъ ея постояннымъ спутникомъ въ путешествіяхъ по церквамъ, монастырямъ, кладбищамъ, монастырскимъ общинамъ, на похоронахъ, панихидахъ... Церковное пѣніе, угрюмые, закутанные сумерками, своды старыхъ монастырей, гробовая тишина кладбищенскихъ склеповъ и дымъ кадильный сильно дѣйствовали на душу мальчика; въ маленькой головѣ рѣяли смутные, навѣянные обрядовой стороной религіи, образы и призраки силъ небесныхъ, духовъ и злыхъ и добрыхъ, святыхъ мучениковъ, Страдальца Христа; въ этой головкѣ рано встала неразрѣшимая загадка жизни и смерти...

Старшіе братья росли еще подъ гнетомъ отцовской власти, грубой и безтолковой. Евгеша миновалъ ее: отецъ, превратившійся изъ старшаго приказчика торговой фирмы въ собственника и хозяина, за множествомъ торговыхъ хлопотъ и разъѣздовъ, отошелъ въ сторону, и Евгеша росъ подъ крыломъ матери. Братья учились въ уѣздномъ училищѣ, Евгеша попалъ въ гимназію, такъ какъ къ этому времени у родителей явилось желаніе хотя одного изъ сыновей сдѣлать настоящимъ благороднымъ человѣкомъ. Такимъ образомъ Евгеша очутился на привилегированномъ положеніи, что окончательно отдалило его отъ братьевъ. Евгеша получилъ у нихъ кличку „синяя говядина“,—такъ дразнили въ городѣ гимназистовъ,—и былъ от-

вергнутъ компаніей великовозрастныхъ оболтусовъ, гонявшихъ голубей и съ 15 лѣтъ искусившихся во всякихъ житейскихъ гадостяхъ подъ руководствомъ магазинныхъ и лабазныхъ молодцовъ.

Евгеша попалъ подъ воздѣйствіе другой среды, и вліяніе ея было сильнѣе семейныхъ традицій. Подъ напоромъ новыхъ впечатлѣній ума и сердца эти традиціи постепенно рушились. По утрамъ братья шли въ магазины, лабазы и оптовые склады, а Евгеша—въ гимназію. Жизнь у нихъ пошла совсѣмъ разная, съ различными интересами, печалями и радостями. Проявившаяся очень рано способность Евгеши къ рисованію, когда онъ былъ еще въ пятомъ классѣ гимназіи, превратилась въ творческую страсть, и эта страсть, вмѣстѣ съ начавшимся въ головѣ мальчика критическимъ процессомъ мысли по отношенію къ окружающимъ его лицамъ и событіямъ жизни, послужила причиной неожиданно свалившейся на голову Евгеши катастрофы.

Евгеша занялся изданіемъ гимназическаго рукописнаго журнала „Звонокъ“, съ задорно-обличительнымъ направленіемъ; на ряду съ плохими стишками товарищей Евгеша помѣщалъ здѣсь и свои карикатуры на учителей. Одинъ изъ самыхъ задорнѣйшихъ номеровъ этого журнала попалъ въ руки директора, который на сей разъ и служилъ главной мишенью школьничьихъ остротъ. Въ этомъ номерѣ была помѣщена передѣлка Пушкинской „Молитвы“: „избави, Богъ, ума такого, какъ у директора Петрова“, затѣмъ—портретъ этого Петрова, срисованный очень хорошо съ фотографіи и украшенный длинными ушами, съ надписью: „се директоръ, а не оселъ“; любившій выпить, учитель греческаго языка былъ изображенъ Бахусомъ подъ ручку съ учителемъ латинскаго языка, изображеннымъ въ видѣ сатира, и подъ этой парочкой была подпись: „метаморфозы“ и т. д. А такъ какъ Евгеша не скрывалъ своихъ талантовъ, и, по заведенному въ прессѣ

порядку, каждый номеръ съ гордостью подписывалъ: „редакторъ-издатель Евгеній Т—совъ“,—то и попалъ, какъ куръ во щи. Педагогическій совѣтъ, подвергнувъ разсмотрѣнію 4 номеръ „Звонка“, конечно, единогласно осудилъ редактора, который, просидѣвъ въ карцерѣ подъ рядъ нѣсколько праздниковъ, получилъ годовую двойку за поведеніе! Съ этихъ поръ Евгеша сразу ослабъ во всѣхъ наукахъ; одинъ изъ лучшихъ учениковъ до этого случая, теперь Евгеша сталъ получать единицы, двойки и въ лучшемъ случаѣ тройки съ минусомъ, словно всѣ его способности разомъ потускнѣли. Даже учитель рисованія, души не чаявшій въ своемъ даровитомъ ученикѣ, потерялъ къ нему всякое расположеніе и въ младшихъ классахъ, обучая школьниковъ чистописанію, къ числу своихъ образцовъ прописной морали прибавилъ новый: „не употребляй во зло Богомъ данной тебѣ способности“,—красиво и старательно выписывалъ онъ мѣломъ на классной доскѣ.

Евгеша остался въ пятомъ классѣ на второй годъ и началъ говорить наставникамъ дерзости, чего раньше за Евгешей тоже не замѣчалось. Дерзости эти становились все дерзновеннѣе и въ концѣ-концовъ родителямъ предложили взять сына изъ гимназіи, пообѣщавъ, въ случаѣ несогласія, просто выгнать...

Отецъ направилъ Евгешу въ оптовый складъ сухой рыбы, дабы мальчишка съ пользою употреблялъ пріобрѣтенныя въ гимназіи познанія. Вобла должна была смѣнить для Евгеши всѣ науки и искусства.

Евгеша оказался неспособнымъ.

— Учился, учился... Сколько денегъ на тебя потрачено, а вышло, что гроша мѣднаго ты, любезный, не стоишь!—упрекалъ отецъ Евгешу за отсутствіе торговой смѣтки.

Въ сущности такъ и было: Евгеша, сидя въ складѣ, въ кругу сложенныхъ полѣнницами партій сухой рыбы, въ атмосферѣ ѣдкихъ и вонючихъ испареній, писалъ,

приткнувшись гдѣ-нибудь въ уголкѣ, поэмы въ стихахъ или рисовалъ сценки съ натуры. Кромѣ рисованія, имъ овладѣлъ еще зудъ стихотворства,—и вобла впервые послужила вдохновеніемъ для юнаго поэта. Въ то время, какъ Евгеша писалъ поэмы и рисовалъ картины, молодцы запускали лапы въ выручку, а мальчики продавали воблу въ розницу, ссылаясь на крысъ и кошекъ. Отецъ, нѣсколько разъ застававшій сына за писаніемъ поэмъ или рисованіемъ, кричалъ, рвалъ произведенія Евгеши въ клочки и грозилъ, что если Евгеша не броситъ свои художества, то онъ его выдеретъ, какъ сидорову козу. Однажды, изловивъ сына за такими художествами, отецъ ударилъ Евгешу по загривку и далъ тычка въ спину. Евгеша поблѣднѣлъ, въ его синихъ глазахъ блеснули слезы.

— Не подходи! — закричалъ онъ въ изступленіи и схватилъ подвернувшуюся подъ руку гирю.

— Вотъ ты какъ?! Ахъ, соціалистъ проклятый! — искренно удивленный, воскликнулъ Алексѣй Никаноровичъ и даже всплеснулъ руками,—такъ поразилъ его этотъ неожиданный оборотъ дѣла.

— Я тебя выучу, гимназистъ ты этакій! Погоди! Я тебя научу...

И Алексѣй Никаноровичъ затѣялъ дома предпріятіе: выдрать Евгенія при помощи кучера и дворника. Началась дикая сцена насилія, съ воплями, угрозами и проклятіями; однако предпріятіе не увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: Евгеша укусилъ кучеру руку до крови и, вырвавшись, скрылся за воротами. Три дня пропадалъ онъ безъ вѣсти, а затѣмъ въ мѣстномъ „Вѣстникѣ“ появилось письмо, авторъ котораго Евгеній Тарасовъ обращался къ редактору съ покорнѣйшей просьбою довести до свѣдѣнія читателей о кровожадной расправѣ, при чемъ сдѣлалъ post scriptum, гдѣ предупредилъ, что онъ лишитъ себя жизни, если это совершится. Прочитавъ это письмо, губернаторъ вызвалъ

къ себѣ купца Тарасова и, какъ человѣкъ, просилъ его оставить свою затѣю, такъ какъ съ такимъ нервнымъ мальчикомъ, по мнѣнію губернатора, надо было быть осторожнѣе.

— Собакѣ собачья смерть!—отвѣтилъ Алексѣй Никаноровичъ. Тогда возмущенный генералъ сухо отвѣтилъ:

— Я говорилъ съ вами, какъ человѣкъ. А теперь позвольте вамъ напомнить, что, въ случаѣ самоубійства, на васъ, милостивый государь, ляжетъ не только нравственная, но и уголовная отвѣтственность.

Евгеша сдѣлался извѣстнымъ въ городѣ человѣкомъ. „Вотъ этого самаго хотѣли выдрать-то, да не дался“,—шептались, при встрѣчѣ съ Евгешей, обыватели. „Какой онъ однако интересный“,—восклицали барыни. Евгеша отдѣлился отъ родителей: за три рубля въ мѣсяцъ онъ нанялъ себѣ на окраинѣ города, въ бѣдной мѣщанской семьѣ, маленькую, похожую на чуланъ, комнатку. Мать страдала за Евгешу, молилась за него Скорбящей Божіей Матери и тайно отъ мужа пріѣзжала изрѣдка провѣдывать сынка и всунуть ему въ руку четвертную или красненькую. Впрочемъ, скоро Евгеша отказался и отъ этой тайной материнской помощи: Евгешу взяла билетнымъ кассиромъ подвизавшаяся въ лѣтнемъ театрѣ заѣзжая опереточная труппа; съ ней Евгеша началъ кочевать по приволжскимъ и прикамскимъ городамъ и городкамъ, сперва въ роли того же кассира, а потомъ — хориста. У Евгеши оказался прекрасный теноръ, такъ что въ Лаишевѣ онъ исполнялъ въ „Птичкахъ пѣвчихъ“ партію Пиколло и вскружилъ голову женѣ помощника исправника. Разъѣзжалъ онъ потомъ съ старымъ хриплымъ фонографомъ Эдиссона, разсказывалъ публикѣ біографію изобрѣтателя и устройство изобрѣтенія; служилъ ретушеромъ въ фотографіи въ Орлѣ, работалъ съ однимъ иконописцемъ по украшенію храма въ городѣ Чистополѣ.

Спустя семь лѣтъ Евгеша вернулся на родину уже совершенно взрослымъ молодымъ человѣкомъ, съ красивымъ лицомъ типа свободнаго художника, съ копной русыхъ волнистыхъ волосъ, съ затуманеннымъ дымкою мечтательности взоромъ синихъ, какъ весеннее небо, глазъ, съ доброю, открытою душою, переполненной избыткомъ скитальческихъ впечатлѣній отъ жизни, людей, увлеченій и разочарованій, мимолетныхъ встрѣчъ и разнообразныхъ картинъ родной природы.

Здѣсь Евгеній Алексѣевичъ жилъ тоже безалаберно, не зная сегодня, что съ нимъ станется завтра; рисовалъ обывателямъ увеличенные портреты съ фотографическихъ карточекъ, выступалъ на сценѣ по приглашенію заѣзжихъ артистовъ, рисовалъ декораціи любителямъ драматическаго искусства; иногда пописывалъ въ мѣстной газетѣ на тему о задачахъ истиннаго искусства, о символизмѣ въ искусствѣ и другихъ важныхъ матеріяхъ, казавшихся читателямъ „Вѣстника“ невыносимо скучными...

VII.

Генеральша ставила въ пользу слѣпыхъ „Блуждающіе огни“. Это былъ спектакль сливокъ мѣстнаго общества, а такъ какъ Наталья Дмитріевна къ числу такихъ сливокъ не относила Елену Михайловну Стоцкую, которую она называла—и, кажется, не безъ нѣкотораго основанія—выскочкой, хористкой, цыганкой, то Елена Михайловна, конечно, и не получила приглашенія играть въ этомъ спектаклѣ...

Это было въ высшей степени оскорбительно, и самолюбіе Елены Михайловны страдало и ныло, а сердце жаждало мести, мести и мести... Это обидное игнорированіе Елена Михайловна объясняла своимъ знакомымъ, когда тѣ лицемѣрно восклицали „вы, конечно, играете?“—просто-напросто ревностью: Наталья Дмитріевна

видитъ, что ея генералъ таетъ передъ Еленой Михайловной, ну вотъ и вся разгадка. Что генералъ таялъ подъ обаяніемъ Елены Михайловны, какъ и очень многіе люди съ положеніемъ и вѣсомъ въ городѣ, — это было совершенно вѣрно. Но какой же генералъ не таетъ передъ хорошенькой женщиной? Нѣтъ, скорѣй Наталья Дмитріевна завидовала молодости, свободѣ, богатству, ордѣ поклонниковъ Елены Михайловны, чѣмъ ревновала къ своему генералу. Какъ бы то ни было, а Елена Михайловна была игнорирована и жаждала мести, такой мести, чтобы сердце Натальи Дмитріевны рвалось на части отъ злобы и зависти...

И Елена Михайловна сдѣлаетъ это...

Пусть они играютъ свои „Блуждающіе огни“. Елена Михайловна поставитъ въ пользу „Мизерикордіи“ живыя картины. Это — прекрасная мысль. Ей поможетъ Волчанскій... Кажется, онъ тоже начинаетъ таять... Лучше было бы, если бъ Волчанскій отказался играть съ ними, а выступилъ въ живыхъ картинахъ. Она употребитъ всѣ средства къ тому, чтобы „Блуждающіе огни“ провалились, потухли, чтобы и сборъ былъ маленькій, и успѣхъ такой же. Посмотримъ, когда появятся въ газетѣ отчеты о спектаклѣ и живыхъ картинахъ! Если планъ удастся, Елена Михайловна постарается сдѣлать такъ, чтобы оба отчета были напечатаны въ одномъ номерѣ „Вѣстника“, рядомъ. Это можно будетъ устроить черезъ Бориса Дмитріевича. Одно страшитъ Елену Михайловну: у ея противницы сильный союзникъ: билеты будутъ продаваться въ пользу слѣпыхъ черезъ полицію, какъ это всегда дѣлаетъ генеральша... Вотъ гдѣ главная опасность, стѣна, которую не прошибешь никакой интригой... Полицеймейстеръ трусъ; онъ хотя и таетъ, но съ оглядкой. Во всякомъ случаѣ надо дѣйствовать, а не сидѣть сложа руки. Надо отыскать того художника, который рисовалъ ея портретъ и который такъ мило нарисовалъ

занавѣсъ любительскому кружку въ военномъ клубѣ. Елена Михайловна не пожалѣетъ своихъ денегъ, лишь бы живыя картины затмили спектакль генеральши.

Въ ближайшую пятницу, на сеансѣ, Елена Михайловна рѣшила атаковать своихъ друзей. Теперь эти сеансы происходили безъ участія Ольги Семеновны и Ѳомы Лукича, смотрѣвшихъ на спиритизмъ ужъ черезчуръ серьезно (они обидѣлись и устроили свой кружокъ), и Елена Михайловна придала этимъ сеансамъ совершенно другой характеръ: немного спиритизма, немного флирта, иногда—капелька изящной литературы и музыки, а иногда совсѣмъ безъ спиритизма... Медіумъ остался вѣренъ Еленѣ Михайловнѣ: дѣвушка поступила къ ней въ качествѣ чтицы и не такъ быстро впадала уже въ трансъ; Волчанскій заѣзжалъ болѣе чѣмъ охотно и иногда не имѣлъ ничего противъ того, чтобы облачиться въ бѣлую хламиду покойнаго мужа Елены Михайловны; на пятницахъ стали появляться новыя лица, напримѣръ, редакторъ „Вѣстника“, Борисъ Дмитріевичъ Сорокинъ, полковой адъютантъ съ тонкой таліей и аксельбантами, мадамъ Картошкина, жена городского головы, крупнаго коммерсанта, нефтепромышленника, болтающая по-французски, выписывающая себѣ наряды изъ Парижа и каждое лѣто мыкающаяся по разнымъ водамъ, грязямъ и купаньямъ... И всѣ эти люди были друзьями Елены Михайловны, одни безкорыстными, другіе корыстными. Однимъ было хорошо у Елены Михайловны, потому что у нея всегда было весело безъ чопорности и чванства, другимъ—потому что они восхищались этой милой, доброй и красивой женщиной, третьимъ—потому что они не только восхищались, но и лелѣяли въ душѣ смутную надежду на возможность адюльтера съ этой свободной и безпечной вакханкой, распѣвающей съ удалой экспрессіей цыганскіе романсы, любящей шампанское, загородныя

прогулки, верховую ѣзду и иногда поражающей эксцентричностью своихъ словъ и поступковъ.

— Господа! Ставимъ живыя картины! Всѣ эти „Блуждающіе огни“ и „Женитьбы Бѣлугиныхъ“ надоѣли всѣмъ до смерти... Смотрѣть, какъ Иванъ Петровичъ будетъ кряхтѣть и присѣдать, изображая влюбленнаго князя; какъ предсѣдательница суда, со своими вставными зубами, будетъ изображать примадонну Лидину... Ахъ, какъ все это интересно!—говорила Елена Михайловна и, встрѣтивъ поддержку друзей въ формѣ взрыва веселаго хохота, начала безпощадно острить на ту же тему.

— Pardon!.. Я совершенно упустила изъ виду, что вы у нихъ первый любовникъ! — кокетливо присѣдая передъ Волчанскимъ, произнесла, спохватившись, Елена Михайловна.

— Развѣ вы, Александръ Васильевичъ, играете?

— Кого вы изображаете?

— Это, господа,—Максъ! Ему предстоятъ объятія съ двумя звѣздами первой величины: съ предсѣдательшей и съ этой... которая изображаетъ Лелю... Крамской! Не слишкомъ ли много объятій?!

Всѣ смѣялись. Смѣялся и Волчанскій. Сдѣлавшись предметомъ общаго вниманія, онъ почувствовалъ неловкость и началъ маскировать ее тоже остротами.

Начались приготовленія къ сеансу. Погасли огни, подъ потолкомъ замаячило туманное пятно, въ комнатѣ воцарился густой сумракъ. Елена Михайловна подсѣла къ Волчанскому и начала приводить его въ каталепсію. Склонивъ къ его плечу головку, она сверкала въ темнотѣ своими острыми глазами и шопотомъ упрашивала сосѣда сдѣлать ей удовольствіе: помочь ей въ устройствѣ живыхъ картинъ. а отъ роли Макса отказаться...

— Простите... Я, кажется, васъ задѣла?.. Не испугайтесь, не подумайте, что это — духъ... — шепнула

она, дотронувшись своей туфлей до ноги Волчанскаго.

— А развѣ бываетъ?

— Случалось... Вотъ такъ!

И Елена Михайловна своей теплой бархатистой ручкой провела по щекѣ Волчанскаго и остановила у губъ, которыя невольно вздрогнули и раскрылись, чтобы воспріять неожиданное удовольствіе. Сидѣвшій позади адъютантъ завозился на стулѣ и кашлянулъ.

— Кажется, начинаются явленія,—вздохнувши, произнесъ онъ въ пространство.

— Гдѣ?

— Гдѣ? — спросили нѣсколько голосовъ задыхающимся шопотомъ.

— Смотрите внимательнѣе!—тихо баскомъ отвѣтилъ адъютантъ.

Елена Михайловна лукаво переглянулась съ Волчанскимъ, а потомъ, полуобернувшись къ адъютанту, сказала:

— Кажется, никто, кромѣ васъ, не видалъ.

Адъютантъ, склонивъ голову, звякнулъ шпорами.

Въ перерывъ, между спиритизмомъ и музыкой, Елена Михайловна атаковала и адъютанта: тотъ поручился, что среди военнаго люда живыя картины встрѣтятъ живое участіе.

— Поставьте франко-русскій союзъ! — предложилъ адъютантъ. — Вы — Франція, а мадамъ Картошкина — Россія... Мнѣ кажется, что эта картина привлечетъ массу публики... Я увѣренъ, что даже враги ваши придутъ посмотрѣть...

— Oh ça c'est une idée!..—Мы стоимъ на высокомъ пьедесталѣ, взявшись за руки... Надъ нами — орелъ славы и символъ всеобщаго мира. Вокругъ пьедестала— группы пейзанъ и нашихъ мужичковъ братаются другъ съ другомъ, а по угламъ, съ понуренными головами,— султанъ, Викторія...

— Бисмаркъ!—подсказалъ кто-то.

— Какъ Бисмаркъ? Зачѣмъ? Его давно нѣтъ!..

— Э-э!.. это ничего не значитъ... Тутъ важна идея, представитель политики... Бисмаркъ не умеръ!.. Онъ не умретъ!..

— Ну отлично.—оборвала Елена Михайловна.—Бисмаркъ!.. Все это озарено блескомъ электрическаго огня, утопаетъ въ зелени... Вы дадите свои цвѣты?.. У меня много, но надо еще больше.

— Съ наслажденіемъ,—отвѣтилъ одинъ изъ гостей.

— Музыка дополнитъ остальное. Сперва грянетъ русскій гимнъ, три раза, съ каждымъ разомъ тише и тише... и наконецъ едва слышно... И вдругъ гдѣ-то далеко, далеко, чуть слышно, къ послѣднимъ звукамъ гимна присоединяется мелодія марсельезы... Нѣкоторое время трудно разобрать: и гимнъ, и марсельеза слились. Потомъ марсельеза громче, громче... Браво, браво!..

Елена Михайловна вошла въ такой экстазъ отъ одного уже мысленнаго представленія созданной ея фантазіей картины, что захлопала въ ладоши и закружилась, какъ дѣвочка.

— А Эстергази вы рядомъ съ собою поставите? на пьедесталѣ?—спросилъ шутливо Волчанскій.

— Вы вѣчно смѣетесь. Надо всѣмъ смѣетесь... У-у, противный! Я знаю, что генеральша съ ея „Женитьбой“ вамъ милѣе всего на свѣтѣ...

— Елена Михайловна!

— Вѣрно, вѣрно!.. Жена начальника... Нельзя...

— Елена Михайловна!

— Нечего тутъ!..

— Ну хотите, я вамъ султана изображу?

— Вамъ не пристало. Вамъ лучше — Бисмарка... Дайте вашу руку!

И Елена Михайловна, подхвативъ подъ руку Волчанскаго, плавно двинулась съ нимъ по комнатамъ. Они прошли залъ, гостиную, столовую и какъ-то не-

чаянно попали въ будуаръ. Прижимаясь лѣвой рукою къ Волчанскому, Елена Михайловна, при входѣ въ будуаръ, незамѣтно толкнула свободной правой рукою тяжелую дверь и та, словно по мановенію жезла волшебника, тихо притворилась за ними... Въ то же мгновеніе руки Елены Михайловны обвились вокругъ шеи Волчанскаго и горячія губы впились въ губы растерявшагося отъ неожиданности Александра Васильевича.

— Люблю! люблю! люблю!—шептала Елена Михайловна, быстро и порывисто цѣлуя Волчанскаго, и тотъ не успѣлъ еще опомниться, какъ Елена Михайловна, какъ ни въ чемъ не бывало, снова подхватила его подъ руку и увлекла изъ будуара. Волчанскій, лицо котораго горѣло, а губы еще ощущали впечатлѣніе поцѣлуевъ, шелъ, потупивши взоръ, и слышалъ только, какъ стукало его сердце о туго накрахмаленную грудь рубашки, да какъ гудѣли вокругъ голоса.

— Господа! — объявила Елена Михайловна, — Александръ Васильевичъ нашъ: онъ согласился принять участіе въ живыхъ картинахъ и отказался отъ „Блуждающихъ огней“...

— Хорошо!.. Только, пожалуйста—не въ франко-русскомъ союзѣ,—поборовъ одышку, отвѣтилъ Волчанскій и почувствовалъ, какъ Елена Михайловна сжала ему руку, на которую опиралась.

— Да что вы такъ тяжело дышите? — спросила она съ лукавой улыбочкой Волчанскаго,—можно подумать, что ваше согласіе остановилось у васъ въ горлѣ?.. ха-ха-ха!..

И звонкій хохотъ заглушилъ голоса и смѣхъ присутствовавшихъ.

VIII.

Чужестранцы жили въ разныхъ концахъ города, раздѣленные другъ отъ друга громадными разстояніями, но это не мѣшало имъ видѣться почти еже-

дневно. Выпадали однако такіе дни, когда они переставали ходить другъ къ другу въ гости, пить чай, спорить, читать вмѣстѣ; бывало время, когда все это надоѣдало имъ, надоѣдало спорить все объ одномъ и томъ же, пѣть однѣ и тѣ же пѣсни, надоѣдало видѣть другъ друга. Тогда они уединялись, сидѣли по своимъ угламъ и занимались поодиночкѣ. Вѣроятно, причиной такихъ перемежающихся уединеній было однообразіе времяпрепровожденія, однообразіе лицъ, голосовъ, черезчуръ близкое, детальное знаніе другъ друга, знаніе, кто изъ нихъ и какъ думаетъ, что скажетъ и какъ въ извѣстномъ случаѣ поступитъ. Нападала тоска. Казалось, что этимъ людямъ, близкимъ между собою по идеаламъ, вѣрованіямъ и традиціямъ, людямъ съ одинаковымъ прошлымъ, настоящимъ и, вѣроятно, будущимъ,—не о чемъ было говорить... Все давно сказано, все ясно и... и невыносимо скучно... Тогда они были похожи на супруговъ, прожившихъ вмѣстѣ очень долго и неимѣющихъ что сказать другъ другу. Какъ два узника, соединенные однимъ замкомъ и стѣнами, въ концѣ концовъ не находятъ утѣшенія въ общеніи и начинаютъ раздражать другъ друга однимъ своимъ присутствіемъ,—такъ и они по временамъ становились въ тягость другъ другу... Каждому было тѣсно въ замкнутомъ кружкѣ нѣсколькихъ товарищей, душно въ своихъ конурахъ, похожихъ на клѣтки. Душа рвалась на просторъ, на волю, мысль жаждала широкаго размаха крыльевъ, взлета въ высь, все существо рвалось къ труду, къ переходу отъ словъ къ дѣлу, къ практической жизни. А эта жизнь ускользала, проплывала мимо... Тогда имъ было тяжело и не хотѣлось смотрѣть другъ на друга, потому что каждый видѣлъ въ другомъ только свое отраженіе, собственную печальную тѣнь...

Такое состояніе иногда длилось очень долго. Но лишь только жизнь европейскаго общества выдвигала

какой-нибудь интересный вопросъ, лишь только отечественныя газеты приносили изъ столицъ какую-нибудь крупную новость общественнаго характера,—призракъ одиночества исчезалъ, уединеніе становилось невыносимымъ, и они снова сходились, чтобы подѣлиться своими думами и чувствами; что-то толкало ихъ тогда другъ къ другу, снова загоралась тухнущая энергія, снова хотѣлось общенія, бесѣдъ... Дверки клѣтокъ, казалось, снова растворялись, и мысль, расправивъ крылья, улетала въ заоблачные края и не хотѣла опускаться на землю, гдѣ было тяжело и тоскливо.

Чаще другихъ и на болѣе продолжительное время, чѣмъ всѣ остальные чужестранцы, впадала въ такое состояніе тоски и одиночества Софья Ильинишна Натансонъ, акушерка безъ практики, еврейка.

Жизнь этого человѣка представляла одну изъ тѣхъ трагедій человѣческой души, которыя проходятъ тихо, безъ эффектовъ, незамѣтно для другихъ...

Софья Ильинишна еще маленькой дѣвочкой попала вмѣстѣ съ матерью въ ссылку и здѣсь росла въ кругу людей, для которыхъ національность не имѣла никакого значенія. Эта жизнь въ далекомъ краю, въ снѣгахъ и лѣсахъ восточной Сибири, была полна всяческихъ лишеній, но эти лишенія миновали дѣвочку, потому что всей тяжестью своей ложились на мать. Мать любила Соню до безумія, какъ только можетъ любить человѣкъ то единственное у него на свѣтѣ существо, въ которомъ сосредоточились, какъ лучи въ фокусѣ зеркала, всѣ воспоминанія, всѣ привязанности, вся радость и горечь жизни. Маленькая Соня почти не помнила отца. Смутный образъ его, изрѣдка вставшій въ ея памяти, скоро совершенно исчезъ, затушеванный временемъ и жизнью. Но у нихъ сохранилась старая выцвѣтшая отъ времени фотографическая карточка человѣка съ грустнымъ лицомъ, и Соня по этой карточкѣ старалась возсоздать въ своей памяти утерянный образъ,

представить себѣ живого папу, представить, какъ онъ говорилъ, какая была у него борода, какой костюмъ—все до мелочей... Здѣсь приходили на помощь фантазія и разсказы матери. Мать часто смотрѣла на этотъ портретъ, и слезы скатывались по ея исхудалому лицу. „Это—твой папа!“—говорила мать и разсказывала дѣвочкѣ, какъ папа любилъ брать Соню на руки и подкидывать къ потолку, какъ ходили они къ папѣ на свиданіе, происходившее черезъ частую проволочную рѣшетку, какъ папа цѣловалъ Сонинъ мизинчикъ, продѣтый къ нему чрезъ рѣшетку, и какъ потомъ онъ умеръ одинъ, вдали отъ Сони и отъ ея матери. Дѣвочка внимательно слушала, — и въ ея памяти не то слабо мелькала тѣнь стертаго временемъ впечатлѣнія, не то просто рисовалась картина, созданная воображеніемъ на основаніи этихъ разсказовъ матери. Иногда Сонѣ казалось, что она хорошо помнитъ, какъ продѣвала въ рѣшетку къ папѣ свой пальчикъ, помнитъ даже, что тогда ей казалось, что папа, какъ птичка, сидитъ въ клѣткѣ.

— У насъ, мама, была тогда птичка?

— Не помню ужъ, дѣтка...

— Была, была! Я помню!.. И папу помню за рѣшеткой!.. и какъ я вставляла туда палецъ... — волнуясь и радуясь воскресшему воспоминанію, восклицала дѣвочка.

— Онъ былъ русскій?

— Да.

— А не жидъ?

— Не надо, дѣтка, такъ говорить... Все равно: русскій, еврей, нѣмецъ... Всѣ люди—дѣти одного Бога и должны любить и уважать другъ друга...

— А зачѣмъ меня мальчишки дразнятъ жидовкой? Я имъ сказала, что у насъ папа былъ русскій... А если все равно, такъ зачѣмъ они такъ ругаются?..

— Это—дурные и глупые мальчики. Не слушай ихъ!

И мать снова повторяла теоретическое положеніе о безразличіи національностей и объ одинаковомъ правѣ людей на любовь и уваженіе.

О, если бы было такъ!..

Тринадцатилѣтняя Соня вернулась съ матерью изъ Сибири, на родину, въ одинъ изъ грязныхъ густо-заселенныхъ городковъ еврейской осѣдлости, гдѣ богатые евреи жили королями, а бѣдные были похожи на нищихъ и еще на сельдей въ боченкѣ, гдѣ изъ каждаго угла выставлялась или голая нужда, или голое нахальство, гдѣ люди изощрялись въ хитрости, чтобы заработать одну селедку и фунтъ хлѣба на день, и гдѣ даже евреи, когда желали посильнѣе оскорбить противника, ругали его жидомъ. Здѣсь Соня поступила въ гимназію. Некрасивая, съ смуглымъ лицомъ, съ косившими глазами на-выкатѣ, сутуловатая и несуразная, она очень скоро узнала, что далеко не всѣ люди имѣютъ право на любовь и уваженіе окружающихъ. Жилось имъ съ матерью скверно: хлѣбъ, лукъ да селедка—главная пища еврейской бѣдноты—бывали часто и ихъ пищей.

— Опять наѣлась луку?... Уйди, съ тобой стыдно ходить!..—говорили Сонѣ подруги по гимназіи.

— Надо, Соня, учиться. Умретъ старая бабушка Сарра, умру я, ты останешься на свѣтѣ одна. А ты—дѣвушка бѣдная и некрасивая. Что станешь дѣлать, если не научишься сама кормить себя?—говорила ей мать.

Соня и сама хорошо знала, что она—некрасивая и бѣдная, и что ее любятъ на свѣтѣ только два человѣка: слѣпая и страшная отъ старости бабушка Сарра да мать, быстро старѣющая, постоянно больная и печальная и съ каждымъ годомъ дѣлающаяся все больше и больше похожей на бабушку Сарру. Не станетъ этихъ двухъ людей—не станетъ никого...

И скоро не стало никого. Осталось только два мо-

гильныхъ холма съ водруженными на нихъ обломками сѣрыхъ камней, испещренныхъ острыми знаками еврейскаго алфавита...

Соня кончила гимназію, но она не знала, какъ теперь быть и что дѣлать. Надо было научиться чему-нибудь такому, что давало бы возможность зарабатывать кусокъ хлѣба. Когда была жива мать, онѣ рѣшили, что Соня сдѣлается акушеркой. Больше итти некуда, потому что такую некрасивую еврейку не примутъ ни въ контору, ни къ нотаріусу, ни письмоводительницей въ съѣздъ мировыхъ судей, ни кассиршей въ аптеку; даже если она сдѣлается зубнымъ врачомъ,—которыхъ такъ много въ городахъ еврейской осѣдлости, что на нихъ не хватаетъ зубовъ,—никто не пойдетъ къ ней больше одного раза... Соня продала свою золотую медаль и поѣхала въ Кіевъ учиться акушерству и фельдшерству. Здѣсь она отдохнула отъ оскорбленій и одиночества, потому что въ Кіевѣ, какъ и въ Сибири, нашлось много людей, которымъ было все равно, жидовка она или русская, и которые, какъ мать когда-то давно-давно, говорили, что всѣ люди—братья между собою... Въ кругу этихъ людей Соня научилась смѣяться, старообразное лицо дѣвушки какъ-то помолодѣло и на немъ чаще стало появляться отраженіе чистой дѣвичьей души, готовой забыть всѣ обиды и снова повѣрить въ миражъ человѣческаго счастья.

Жизнь въ Кіевѣ, хорошая жизнь, свѣтлымъ пятномъ выдѣляется въ воспоминаніяхъ Софьи Ильинишны, и къ этому свѣтлому пятну она обращалась потомъ, какъ къ другу, способному утѣшить и поддержать въ минуты скорби и отчаянія. Да, эта жизнь пролетѣла быстро, какъ пролетаетъ по небу метеоръ, какъ скользитъ въ воздухѣ ласточка... А потомъ стало темно, а впереди—еще темнѣе...

Софья Ильинишна получила дипломъ акушерки-фельдшерицы. Настало время работать, трудиться на

благо другихъ: вѣдь всѣ люди—братья между собою?.. Было время „недорода“, который пучилъ мужику брюхо и заставлялъ его ѣсть древесную кору пополамъ съ мякиной! Туда! къ нимъ! Тамъ не надо красоты, тамъ надо только одно доброе сердце да искреннее желаніе помочь ближнему, да небоящіяся чернаго труда руки...

Но туда ее не пустили.

— Хаекъ и Ривокъ не надо!—сказалъ членъ управы, разсматривая документы, и отложилъ прошеніе Софьи Ильинишны въ сторону.

Однажды дѣло совсѣмъ было сладилось: Софьѣ Ильинишнѣ было дано мѣсто, и она сбиралась уже ѣхать въ деревню. Но и тутъ явилась преграда: представитель отъ епархіальнаго вѣдомства, отецъ Герасимъ, нашелъ неудобнымъ имѣть акушеркъ еврейскаго вѣроисповѣданія и на происходившемъ въ то время уѣздномъ земскомъ собраніи запротестовалъ противъ назначенія Софьи Ильинишны.

Но вотъ, слѣдомъ за недородомъ, появилась и холера. Софья Ильинишна опять начала искать мѣста, и на сей разъ ею не побрезговали. Съ жаждою труда, подвига самопожертвованія и самоотверженія, пріѣхала она въ зажиточный поселокъ на Волгѣ, чтобы работать при холерномъ баракѣ. Но и здѣсь ее ждало разочарованіе, быть можетъ, уже послѣднее, но зато и самое горькое.

Жители поселка встрѣтили Софью Ильинишну враждебно. Не прошло и мѣсяца со времени поступленія Софьи Ильинишны въ холерный баракъ, а она уже совершенно истомилась и нравственно, и физически; ноги едва держали ея тощее тѣло, нервы расшатались, не стало силъ сносить оскорбленія, сдерживать слезы, бороться съ раздраженіемъ. Спрятавшись въ своей конурѣ при баракѣ, Софья Ильинишна часто плакала, призывала мать, обращалась съ упреками къ небу... А

фельдшеръ, заставая ее въ слезахъ или слыша, какъ она всхлипываетъ, прячась за тонкой перегородкою, высказывалъ врачу неудовольствіе: „куда ей возиться съ холерой! да глядя на нее можно съ тоски на тотъ свѣтъ отправиться!“ И врачъ, и фельдшеръ не понимали, что дѣвушка рыдаетъ отъ постоянныхъ нравственныхъ оскорбленій ея тѣмъ самымъ народомъ, изъза котораго болѣло ея сердце, котораго научила ее любить покойная мать и который поминутно плевалъ теперь прямо ей въ душу. Софья Ильинишна окончательно свалилась и ночью, подъ прикрытіемъ урядника, была увезена изъ своего поселка въ городъ...

Съ тѣхъ поръ она уже не пыталась больше поступать на мѣсто.

IX.

Въ колоніи чужестранцевъ было неблагополучно: одному изъ ея членовъ, Ерошину, предстояла смѣна мѣстожительства. Ерошинъ никогда въ жизни не имѣлъ шубы, а ѣхать въ коротенькомъ пальто въ Архангельскую губернію въ самые трескучіе морозы было нежелательно.

Другое неблагополучіе заключалось въ томъ, что Софья Ильинишна лежала въ постели больная, погруженная въ омутъ пессимизма и меланхоліи, достигшихъ столь сильнаго напряженія, что друзья боялись за нее, предполагая возможность самоубійства. Роль сидѣлки у постели больной исполнялъ тотъ самый Силинъ, который не такъ давно повздорилъ съ нею изъ-за Франціи. Конечно, это была очень плохая сидѣлка: Силинъ принадлежалъ къ числу „нытиковъ“, много курилъ, рисовалъ передъ Софьей Ильинишной мрачныя перспективы судебъ русской интеллигенціи, обреченной, по его мнѣнію, на вымираніе и отступленіе передъ новой классовой интеллигенціей. Тоскливое настроеніе Силина,

его похаживаніе изъ угла въ уголъ, его мрачныя изреченія касательно будущаго, высказываемыя какимъ-то злымъ языкомъ, отнимали у Софьи Ильинишны остатокъ силъ и бодрости. Смеживъ глаза, она прислушивалась къ словамъ Силина и думала о своей жизни, полной нравственныхъ лишеній, горечи разочарованій, голодовокъ, безпріютнаго скитальчества, о своей умершей матери и о бабушкѣ Саррѣ, и о томъ, что никого нѣтъ теперь у нея на свѣтѣ, что она всѣмъ—чуждая.

— Уйдите, Силинъ! Я хочу остаться одна... Мнѣ тяжело съ вами... Спасибо, что пришли и поскучали около жидовки,—шептала Софья Ильинишна, не раскрывая глазъ.

— Вотъ это мило! При чемъ тутъ жидовка?—отвѣтилъ Силинъ, остановившись посреди комнаты. Ему стало обидно, и тяжело отъ этихъ жестокихъ словъ Софьи Ильинишны и стало стыдно за свою неосторожность, нетактичность, непониманіе чужой души. Силинъ не зналъ, какъ поправить свою ошибку; по натурѣ добрый и мягкій, онъ привыкъ къ обществу товарищей, былъ рѣзокъ, не умѣлъ говорить съ женщиной мягче и осторожнѣе, чѣмъ со своимъ братомъ. Теперь онъ хотѣлъ бы проявить состраданіе, даже нѣжность къ этому человѣку съ разбитой жизнью и сердцемъ, хотѣлъ бы успокоить Софью Ильинишну теплымъ словомъ дружескаго участія, но онъ не умѣлъ этого сдѣлать: не было у него такихъ словъ, не было умѣнья тонко касаться струнъ больной женской души, не было даже соотвѣтствующихъ нотъ въ голосѣ...

— Софья Ильинишна, не ревите ради Бога! будетъ!.. Неужели вы смѣете думать, что я когда-нибудь интересовался тѣмъ, кто вы: жидовка, полька или нѣмка?

— Я для всѣхъ—жидовка,—глухо отвѣтила Софья Ильинишна.

Силинъ еще нѣсколько разъ повторилъ: „не ревите“, топтался на мѣстѣ, моталъ головой, восклицалъ расте-

рянно „эхъ!“ и чувствовалъ, что онъ не способенъ утѣшить.

— Ну, я уйду... Уйти, что ли?—спросилъ онъ, теребя въ рукахъ свою шляпу.

— Да.

— Я пришлю Евгенія Алексѣевича. Прислать, что ли?

Софья Ильинишна отрицательно покачала головой. Когда Силинъ вышелъ на крыльцо, онъ почувствовалъ нѣкоторое облегченіе отъ всей этой сцены, вздохнулъ и крикнулъ извозчика, чтобы ѣхать къ Евгенію Алексѣевичу Тарасову и просить смѣны.

Была морозная ночь. На небѣ ярко горѣли звѣзды. Городъ суетился своей безтолковой сутолокой. Всюду мигали огни, шли и ѣхали люди. Конки, визжа на поворотахъ своими тяжелыми колесами, отчаянно трезвонили колокольчиками. Бѣлый паръ клубами вылеталъ изъ растворявшихся дверей разныхъ заведеній. Силинъ покачивался въ саняхъ и думалъ о Софьѣ Ильинишнѣ... Въ ней, въ ея жизни, такъ рельефно отразилась судьба честнаго русскаго пролетарія-интеллигента... Столько страданій, столько мукъ физическихъ и нравственныхъ, столько никому ненужнаго горя съ эпилогомъ полнаго одиночества!..

За послѣднее время съ Софьей Ильинишной творится что-то совсѣмъ неладное... Она давно уже перестала бывать у своихъ, не заходила послѣ уроковъ къ Тарасову, хотя это было ей по пути и раньше рѣдкій день она не забѣгала хоть на пять минутъ, чтобы посмотрѣть, какъ подвигается „Крючникъ“; когда приходили къ ней Ерошинъ, Силинъ, или оба вмѣстѣ,—она казалась недовольной, молчала и чувствовала себя, видимо, какъ-то неловко, стѣснялась... Быть можетъ, она сердилась изъ-за того спора объ экономическихъ и политическихъ факторахъ?.. Нѣтъ, и раньше такіе горячіе споры бывали и сопровождались взаимными дерзостями

и колкостями, однако потомъ они встрѣчались, какъ ни въ чемъ не бывало.

Когда Силинъ, торопливо взбѣжавъ по лѣстницѣ, растворилъ дверь номера, занимаемаго Тарасовымъ, тотъ нетерпѣливо крикнулъ:

— Гдѣ же Ерошинъ? Я бѣгалъ, какъ сумасшедшій, искать денегъ, измучился, какъ самая послѣдняя собака, и когда наконецъ отыскалъ денегъ, не могу найти Ерошина!..

— Законспирировался, значитъ, окончательно...

— А мнѣ некогда... Сегодня опять—у Стоцкой позировка для живыхъ картинъ...

— Не выберете ли часокъ побывать у Софьи Ильинишны?

— Что такое? Опять хандра?

— Богъ ее знаетъ. Лежитъ въ постели. Хозяйка говоритъ, что она третій день ничего не ѣстъ...

— А есть ли у нея что ѣсть?

Силинъ развелъ руками. Развѣ она скажетъ? Съ нею прямо страшно говорить. Не знаешь, съ которой стороны приступить къ человѣку. Одно сплошное больное мѣсто, нельзя дотронуться,—сейчасъ слезы, маханіе руками или молчаніе.

— Идите къ ней! Вы успокоительно дѣйствуете на нервы своимъ здоровьемъ, жизнерадостностью... Она васъ не прогонитъ.

— А я досталъ ей работу. У Стоцкой живетъ одна особа: медіумъ... Судороги какія-то ее сводятъ,—массажистка требуется. Рубль за визитъ...

— Пойдите къ ней.

— А какъ же съ Ерошинымъ?..—спросилъ Евгеній Алексѣевичъ, въ раздумьи покусывая кончикъ уса.

— Я останусь и буду ждать, а вы отправляйтесь...

— Прекрасно! Вотъ вамъ деньги, а вонъ тамъ въ углу—тулупъ для нашего путешественника...

Евгеній Алексѣевичъ наскоро одѣлся и полетѣлъ

къ Софьѣ Ильинишнѣ. Силинъ прилегъ на кушетку и погрузился въ думы.

Глубокая тишина, особая томительно-скучная тишина пустующихъ номеровъ, изрѣдка нарушаемая одинокими шагами, гулко разносящимися по пустыннымъ коридорамъ, отдаленнымъ трескомъ стеклянной двери на блокѣ и гдѣ-то монотонно тикающими маятникомъ часами, — дѣйствуетъ всегда самымъ удручающимъ образомъ на человѣка, если онъ—одинъ и склоненъ къ размышленіямъ. Скучно и грустно, вереницей бѣгутъ воспоминанія, и самыя мрачныя мысли лѣзутъ въ голову... Прислушиваясь къ томительной тишинѣ, оттѣняемой еще рѣдкимъ размѣреннымъ стукомъ часового маятника, Силинъ думалъ о себѣ, о своей жизни и о жизни всѣхъ такихъ же, какъ онъ, пролетаріевъ-интеллигентовъ...

Пустота, тоска, бездѣятельность, а главное—нѣтъ вѣры ни въ себя, ни въ людей, ни въ то, что когда-нибудь людямъ будетъ житься лучше, чѣмъ живется теперь... Когда-то и онъ умѣлъ отдаваться всѣмъ существомъ своимъ догматамъ своей вѣры, а теперь нѣтъ ея, этой вѣры... Гдѣ она? кто ее отнялъ? Въ молодые годы пришлось перенести много страданій... Эти страданія сдѣлали его лицо суровымъ, избороздили лобъ морщинами, расшатали здоровье, но не они привели къ безвѣрью, къ пустотѣ и безсодержательности, къ этому проклятому настроенію безсилія и безнадежности... Нѣтъ, это пришло потомъ, когда потянулась длинная цѣпь годовъ, похожихъ на сумерки, съ сѣренькимъ содержаніемъ и съ сумеречнымъ настроеніемъ, когда казалось, что все устало, утомилось, хочетъ спать, и спитъ, и никогда не проснется... А было столько вѣры, столько надеждъ, самыхъ свѣтлыхъ надеждъ, осуществленіе которыхъ казалось близкимъ, почти достигнутымъ!.. И все это было, и все это прошло... Все глубже становился сонъ, все сильнѣе развивалась въ воздухѣ

апатія; въ наступившемъ затишьѣ, похожемъ на эту номерную, наводящую тоску и унынie тишину, было нечего дѣлать, оставалось только вспоминать, думать о томъ, какъ все это вышло странно, неожиданно, и какъ обманула жизнь, и какъ ничтожны оказались всѣ они, вооруженные горячей вѣрой и благими порывами...

Вотъ въ эти-то сумеречные годы, съ одними воспоминаніями и съ полной безнадежностью впереди, потухла вѣра, погасъ порывъ, исчезла непосредственность чувства, зародилось сомнѣніе...

Украдкой счастіе сокрылось,
Измѣной знаніе ушло,
И черной тучей обложилось
Священной истины чело...

Разъѣдающій скептицизмъ смѣнилъ слѣпую вѣру въ душу прокралась апатія... Все старое было изжито и шаталось подъ ударами разрушительнаго скептицизма и подъ напоромъ новыхъ вѣяній русской жизни, вырождаясь въ упорный и неповоротливый педантизмъ. Всѣ эти шаблонныя фразы объ общинѣ, артели, сектантствѣ, какъ главныхъ факторахъ грядущаго прогресса, потеряли въ глазахъ Силина всякую цѣнность, а передовыя статьи на ту же тему, писанныя, какъ писалъ Евгеній Алексѣевичъ о. Іоанна, по трафарету, приводили его въ унылое и раздражительное настроеніе. Все это, какъ было и писалось двадцать лѣтъ тому назадъ, такъ и застыло и производило на Силина впечатлѣніе назойливаго мотива, который неотвязно преслѣдуетъ иногда человѣка, какъ тотъ ни старается выкинуть этотъ мотивъ изъ головы...

Потомъ появилось такъ называемое новое направленіе. Новое оно было лишь въ томъ смыслѣ, что представители его не видѣли новыхъ путей для шествія родного прогресса, утверждая, что онъ пошелъ по старой избитой дорожкѣ капитализма, а потому иначе раз-

рѣшали и вопросы „что дѣлать“ и „какъ дѣлать“. Это новое направленіе разбудило вяло тосковавшій въ бездѣйствіи умъ интеллигенціи. Старики, ревниво оберегавшіе свое міровоззрѣніе отъ всякихъ „новыхъ словъ“, не узнали своихъ друзей и ударили тревогу,—и вышло то, что въ русской жизни выходило уже не разъ: честные люди стали мѣшать другъ друга съ грязью, пускать другъ въ друга стрѣлы остроумія и картечь насмѣшекъ и въ озлобленіи сопричислять противниковъ къ лику мракобѣствующихъ. А эти мракобѣствующіе радовались и читали отходную всякимъ направленіямъ, кромѣ своего собственнаго.

Силинъ стоялъ въ сторонѣ и смотрѣлъ холоднымъ взоромъ скептика на эту грызню интеллигенціи. Какъ человѣкъ, котораго жизнь обманула, какъ сказка, онъ былъ неспособенъ уже беззавѣтно увлекаться и вѣрить, и порой, когда духъ сомнѣнія мутилъ его душу, начиналъ все опровергать, все разрушать и надъ всѣмъ смѣяться: и надъ народниками, и надъ марксистами, называя и тѣхъ, и другихъ мечтателями...

Время тянулось медленно. Въ головѣ Силина бродили мысли и думы, безпорядочно толкаясь, опережая другъ друга и сливаясь, какъ носятся по небу въ сѣрый осенній день несуразныя тучи. Часы въ коридорѣ громко стукали маятникомъ, и этотъ стукъ какъ-то странно громко звучалъ надъ ухомъ Силина, словно напоминалъ о томъ, что время уходитъ, года мчатся, жизнь убѣгаетъ...

X.

— Ага!

Силинъ открылъ и вскинулъ глаза на дверь: тамъ стоялъ Ерошинъ.

Этотъ запыхавшійся юноша, полный какой-то клокочущей энергіи, рѣшимости и серьезности, казался

ему всегда немного смѣшнымъ, вызывалъ улыбку, хорошую улыбку стараго человѣка, которому хочется расцѣловать милаго ребенка, изображающаго взрослаго... Столько юношеской вѣры въ торжество правды, столько пыла въ любви и ненависти и столько непосредственности въ выраженіи гнѣва и радости! Человѣкъ ѣдетъ чуть не къ сѣверному полюсу, не имѣетъ гроша въ карманѣ, и хоть бы тѣнь раздумья!..

— Ни копеечки. Дайте-ка папироску!—скороговоркой произнесъ Ерошинъ.

— Деньги есть. Евгеній Алексѣевичъ досталъ вамъ 75 рублей и тулупъ,—раскрывая портсигаръ, сообщилъ Силинъ.

— Есть? 75?—радостно воскликнулъ Ерошинъ и, не дождавшись отвѣта, схватилъ Силина въ охапку и сталъ поднимать на воздухъ.

— Постойте! Оставьте же! Не люблю! — отстраняя юношу, заворчалъ Силинъ,—эка сколько у васъ ребячества!

— И тулупъ есть? Гдѣ онъ ненаглядный?

— Вонъ, за диваномъ!

Ерошинъ кинулся за диванъ, вытащилъ груду овечьей шерсти, развернулъ и крикнулъ „браво“.

— Тулупище-то. Да теперь хоть въ полярную экспедицію!

Ерошинъ надѣлъ огромный тулупъ, потонулъ въ немъ съ головы до ногъ и началъ прохаживаться по комнатѣ.

— Отлично. Теперь я—*вашъ*!

— Гдѣ вы пропадали?—удивленно посматривая на этого неунывающаго интеллигента, спросилъ Силинъ.

— У Саши былъ...

— У какой Саши?

— Помните: швейка, хорошенькая головка, съ которой Евгеній Алексѣевичъ хотѣлъ рисовать какую-то Грезу или Хлою?..

— Помню... Ахъ, вы, повѣса!

— Я на ней женюсь. Это—рѣшено и подписано,— серьезно заявилъ Ерошинъ.

Силинъ расхохотался: такъ поразило его это рѣшеніе человѣка въ овчиньемъ тулупѣ.

— Ахъ, вы, мечтатель! Поэтъ! Славный вы мечтатель!—сказалъ онъ немного грустно,—вамъ надо бы родиться лѣтъ 40 тому назадъ.

— Что вы хотите этимъ сказать?—запальчиво спросилъ Ерошинъ, энергичнымъ движеніемъ корпуса сбросивъ съ плечъ тулупъ.

— Мало теперь такихъ, какъ вы... Смотрю я на васъ и вспоминаю, какъ когда-то давно и я былъ такимъ же восторженнымъ и искреннимъ... Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ...

— Прежде всего, я не понимаю вашего тона. Вы, кажется, разыгрываете „учителя жизни“?

— Да что вы сердитесь?

— Меня удивляетъ это отеческое отношеніе. Совершенно не нуждаюсь въ немъ!—выкрикнулъ вскипятившійся юноша.

— Ерошинъ! Вы меня не поняли.

— Экая загадочная натура!

— Что за шумъ? Очевидно, Ерошинъ нашелся?— проговорилъ Евгеній Алексѣевичъ, появляясь въ дверяхъ номера съ кулькомъ въ рукахъ. Крупный разговоръ сразу пріостановился: добродушный тонъ вопроса успокоительно подѣйствовалъ на вскипѣвшаго Ерошина.

— Да право!—сказалъ тотъ уже спокойно и, приблизившись къ противнику, попросилъ все еще недовольно-протестующимъ тономъ:

— Дайте-ка папироску!

— Такъ ужъ я устроенъ: думаю сказать что-нибудь пріятное, а выходитъ одно недоразумѣніе,—произнесъ Силинъ.

— Это вы—совершенно вѣрно,—замѣтилъ Евгеній

Алексѣевичъ, вѣшая на крюкъ свое пальто,—вы свою черную меланхолію вездѣ разводите!.. Софья Ильинишна бѣлугой реветъ отъ вашихъ пріятныхъ словъ...

— Да что же я сказалъ ей особенно непріятнаго?

— Очень много! Она, конечно, не говорила мнѣ, что вы тамъ разводили передъ ней, но догадаться было нетрудно... Вы опять тамъ толковали о своей эволюціонной этикѣ, о процессѣ Золя и объ антисемитизмѣ?.. Бездѣйствіе всегда рождаетъ массу мыслей...

Силинъ вяло посмотрѣлъ на Евгенія Алексѣевича, и въ этомъ взглядѣ проскользнуло что-то грустно-безпомощное, виноватое и печальное.

— Конечно, говорили... Неужели вы не понимаете и не видите, что она нравственно подавлена этимъ процессомъ? Я, по крайней мѣрѣ, давно это замѣтилъ, тогда еще, при спорѣ о Франціи... Человѣкъ безъ того разбитъ, а вамъ хочется добить его? Мефистофель вы этакій, Гамлетъ вы захудалый!..

— Ну, что же она? успокоилась?—глухо спросилъ Силинъ.

— Немного... А теперь надо выпить и закусить... Ероша! Принимай, вотъ—сыръ, вотъ колбаса, водка, вотъ—удѣльное красное...

— По какому поводу?

— Во-первыхъ, надо на прощаніе съ Ерошей выпить, а во-вторыхъ, сто рублей получилъ за постановку живыхъ картинъ и, въ-третьихъ, буду мадамъ Картошкину рисовать... А главное, нашелъ Софьѣ Ильинишнѣ работу: массажистка требуется для медіума... Познакомился съ однимъ господиномъ, который вамъ, господа, будетъ очень полезенъ, — добавилъ Евгеній Алексѣевичъ.

— Съ кѣмъ?

— Чиновникъ особыхъ порученій... Не простой чиновникъ особыхъ порученій, а либеральный чиновникъ.

— Да съ кѣмъ? Фамилія?

— Съ Волчанскимъ. Для васъ все стараюсь. Хочу васъ въ люди вывести...

Они сидѣли за столомъ, у самовара, ѣли сыръ, колбасу, пили вино и весело перебрасывались шутками. Когда взглядъ Ерошина случайно упалъ на тулупъ, сердце юноши сжалось. Завтра онъ уже будетъ далеко отъ товарищей, не увидитъ мрачнаго Силина, не увидитъ художника, этого задушевнаго человѣка, готоваго отдать свою послѣднюю рубаху... А всего больше жаль Сашу. Саша плакала, когда онъ сообщилъ ей о своемъ выѣздѣ, говорила, что она пойдетъ за нимъ па край свѣта и будетъ любить его вѣчно.

— Возьми меня съ собою!—просила она.

— Погоди! Сперва поѣду одинъ. Надо присмотрѣться, какъ и что... Потомъ я тебѣ напишу, и ты пріѣдешь.

— А напишешь? Не обманешь?

— Нѣтъ.

— Ахъ ты милый, милый! Дай я нагляжусь на тебя...

И Саша смотрѣла въ лицо юноши пристально и любовно.

— Я, Евгеній Алексѣевичъ, женюсь,—сказалъ Ерошинъ, отрываясь отъ этихъ воспоминаній.

— Что такое?

— Женюсь, говорю...

— Давно, братъ, пора. А на комъ же это ты?

— На Сашѣ.

— Когда?

— Весной.

— Самое подходящее время, — вставилъ Силинъ.— Женитесь, только взвѣстье сперва это дѣло на вѣсахъ разума. Любовь продуктъ сильно усыхающій, а если перестанете любить Сашу, что у васъ къ ней останется?

— Не перестану.

— Саша—человѣкъ простой, нашихъ искусствъ и

наукъ не вкушала, спорить о Марксѣ и о Джоржѣ не сможетъ...

— Да на что будете жить-то? Пойдутъ ребятишки...

Эти непредвидѣнныя обстоятельства немного смутили юношу.

— Можно открыть мастерскую, бѣлошвейную, — сказалъ Ерошинъ послѣ долгой паузы.

Евгеній Алексѣевичъ началъ разсказывать о предполагаемыхъ живыхъ картинахъ, объ Еленѣ Михайловнѣ и о женѣ городского головы, мадамъ Картошкиной.

— Это, я вамъ скажу, двѣ богини, каждая въ своемъ родѣ. Стоцкая—очаровательна... Я готовъ въ нее влюбиться... Есть въ ней что-то привлекающее мою артистическую натуру. Ея глаза жгутъ,—говорилъ немного охмелѣвшій Евгеній Алексѣевичъ и, поймавъ на себѣ насмѣшливо-скептическій взглядъ Силина, неожиданно смутился и началъ возражать:

— Я восхищенъ, какъ художникъ. Что мнѣ за дѣло до того, что у нея на душѣ и на сердцѣ? У всѣхъ людей—и у насъ, господа, съ вами!—много пакости... Я вижу образъ, этотъ образъ даетъ мнѣ извѣстное художественное настроеніе, чувство удовлетворенности художественнаго вкуса—вотъ и все... Конечно, съ этимъ образомъ я связываю какой-нибудь миражъ, но...

— Ну-съ, а съ мадамъ Картошкиной—тоже миражъ?

— Картошкина... Гм... Она красива, но безжизненна... Это—кукла, закрывающая глазки и, когда дергаешь ее за шнурокъ, говорящая „папа“ и „мама“...

— Картинно!..

— На нее хорошо смотрѣть издали, а какъ только она раскроетъ ротъ,—становится досадно: иллюзія исчезаетъ... Стоцкая,—та полна неуловимой граціи, поэзіи...

— Ну-съ, а какъ вашъ „Крючникъ“? — перебилъ Силинъ.

— Что вы привязались ко мнѣ съ „Крючникомъ“? подите къ чорту! Некогда мнѣ...

— Жаль мнѣ, Евгеній Алексѣевичъ, вашего дарованія... Будете рисовать въ анфасъ, въ профиль и въ ¾ мадамъ Картошкину и всѣхъ этихъ богинь — и только...

— А какъ поступили бы вы на моемъ мѣстѣ?

— Я? Я, вѣроятно, тоже рисовалъ бы богинь... Я говорю только—жаль, а не морализирую... Для сего, другъ мой, я устарѣлъ. Я только констатирую фактъ.

— Поѣду вотъ въ Питеръ,—тамъ поживу для духа.

— И тамъ такіе, какъ вы, т. е. таланты безъ имени, мажутъ и портреты, и голыхъ богинь, лишь бы имѣть что-нибудь для брюха. Посмотримъ, что будетъ дальше... Ассимилируетесь.

Евгеній Алексѣевичъ вспыхнулъ.

— Вы—теоретикъ до мозга костей. Развѣ вы живете?—горячо заговорилъ онъ, обращаясь къ обоимъ собесѣдникамъ: — Нѣтъ! Такъ жить, господа, нельзя. Это похоже на Робинзона на необитаемомъ островѣ. Надо стать ближе къ обществу, надо сдѣлаться членомъ этого общества, чтобы знать и чувствовать, что не въ воздухѣ висишь, а стоишь на землѣ обѣими ногами... А у насъ... у васъ—какая-то каста: общество само по себѣ, вы—сами по себѣ. Всѣ ваши стремленія изъ вашего кружка не выходятъ и остаются одними благопожеланіями...

— Вы, Евгеній Алексѣевичъ, высказываете тоже одно благопожеланіе,—прервалъ Силинъ.

— Почему?

— Связь съ обществомъ, о которой вы говорите, возможна лишь на чисто реальныхъ основаніяхъ. Чѣмъ мы связаны съ такъ называемымъ обществомъ?

— Какъ, то-есть, чѣмъ?..

— Такъ! Ничѣмъ. Мы совершенно чужіе люди для этого общества. Вы, Евгеній Алексѣевичъ, хоть мадамъ Картошкину можете рисовать; у васъ есть реальная точка соприкосновенія съ этимъ обществомъ, а

позвольте спросить, за что намъ ухватиться? Мы не имѣемъ собственности, чтобы сдѣлаться гласными, чтобы чувствовать солидарность интересовъ со всѣми этими Картошкиными, Тарасовыми... У насъ нѣтъ ни помѣстій, ни домовъ, ни магазиновъ... У насъ нѣтъ даже профессіи, которая сдѣлала бы насъ нужными этому обществу. Наше орудіе — одни хорошія слова, возвышенные идеалы...

— Э, идеи, господа, міромъ двигаютъ!

— Лично для насъ—увы! это только холостые выстрѣлы... Правда, иногда и холостой выстрѣлъ производитъ впечатлѣніе, особливо на нервныхъ барынь, Стоцкихъ, Картошкиныхъ et tutti quanti... но и тѣ, оправившись, только смѣются надъ своимъ испугомъ...

— Ну и вы тоже говорите картинно, — замѣтилъ Евгеній Алексѣевичъ.

— Чѣмъ связать намъ себя съ обществомъ и съ какими именно классами его? намъ, людямъ, находящимся подъ непрестанною опекою, живущимъ впроголодь...

— Впроголодь?.. Вотъ вамъ и разрѣшеніе вопроса! — перебилъ Евгеній Алексѣевичъ.

— Теоретически вы — правы: рыбакъ рыбака видитъ издалека. Но попробуйте перейти къ дѣйствительности. Сдѣлаться рабочимъ я не могу, потому что я нездоровъ, безсиленъ, привыкъ къ нѣкоторому комфорту культурной жизни, а главное: меня пошлютъ къ чорту. Ну-съ. Куда? Лично для меня, какъ и для очень многихъ изъ насъ, пѣсенка спѣта... Остается болтаться въ воздухѣ неопредѣленно долгое время.

XI.

Театръ былъ полонъ съ верху до низу. Партеръ блестѣлъ лысинами, свѣтлыми пуговицами и пестрѣлъ темными пятнами причудливыхъ женскихъ шляпъ: бе-

нуаръ сверкалъ огоньками драгоцѣнныхъ вещей и шелковыхъ тканей; бельэтажъ пестрѣлъ всѣми цвѣтами радуги; галлерея казалась кучей другъ на другѣ сидящихъ людей; было душно, шумно и одушевленно. Вѣера мелькали около нарядныхъ дамъ, бинокли стрѣляли изъ ложи въ ложу... Внизу—мягкій шорохъ шелка, легкій говоръ, легкій смѣхъ; вверху — сердитая перебранка изъ-за мѣстъ, нетерпѣливые хлопки, кашель...

Но вотъ капельмейстеръ показалъ публикѣ свою лохматую голову, вылѣзъ, словно изъ-подъ земли, и усѣлся на свое мѣсто. Застучала дирижерская палочка, все стихло, и—грянулъ гимнъ.

Театръ зашевелился всѣмъ существомъ: публика встала плотными разноцвѣтными стѣнами. Какъ только оркестръ окончилъ гимнъ, раздались крики, какой-то дикій ревъ, въ которомъ затерялось начало повторенаго оркестромъ гимна. При третьемъ исполненіи гимна занавѣсъ наконецъ взвился, и публика онѣмѣла отъ неожиданности и очарованія...

Зрѣлище было, дѣйствительно, эффектно и превзошло всякія ожиданія публики. Вся сцена, устланная коврами и заставленная цѣлымъ садомъ тропическихъ растеній, утопала въ блескѣ электрическаго свѣта. Посрединѣ сцены возвышалась угрюмая скала, повитая плющемъ и обложенная мохомъ, на вершинѣ этой скалы стояли два дивныхъ видѣнія въ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, одѣяніяхъ: первое, въ образѣ слегка пріодѣтой статуи Разума, вторая—не то императрицы Екатерины II, не то просто властной и величавой женщины, гордо взирающей съ высоты своей на міръ. Въ афишахъ значилось: „Франція“—Е. М. Стоцкая; „Россія“—Н. В. Картошкина. Эти два видѣнія и были именно онѣ. Цѣлые потоки голубоватаго свѣта электрическихъ фонарей были направлены съ помощью невидимыхъ для публики рефлекторовъ на стоявшихъ на скалѣ особъ, отчего тѣ преобразились въ какихъ-то фантастическихъ

существъ, приковавшихъ къ себѣ общее вниманіе. Даже мужъ Картошкиной, сидѣвшій въ первомъ ряду, не отрывалъ бинокля отъ глазъ и думалъ: „да неужели же это моя жена стоитъ тамъ?“ Впрочемъ, и всѣ другія лица, участники живой картины, были неузнаваемы и порождали цѣлый рядъ сомнѣній въ головахъ зрителей, усиленно справлявшихся въ афишахъ и другъ у друга: кто изображаетъ султана? Неужели это, дѣйствительно, Ѳома Лукичъ, секретарь акцизнаго управленія? Кто Бисмаркъ? Неужели это не кто иной, какъ Захаръ Петровичъ Рябчиковъ, отставной поручикъ, домовладѣлецъ съ Николаевской улицы, не такъ давно привлекавшійся къ мировому суду за неопрятное содержаніе своего двора? Всѣ они, въ соотвѣтствующихъ исполняемымъ ролямъ костюмахъ, подъ лучами цвѣтныхъ электрическихъ фонарей, смущали даже своихъ хорошихъ знакомыхъ и родственниковъ, съ которыми не далѣе какъ вчера сидѣли за однимъ столомъ и винтили „по маленькой“. Группы мальчугановъ изъ приходскихъ училищъ, одѣтыхъ въ костюмы турокъ, нѣмцевъ, французовъ, англичанъ и китайцевъ, толпились у подножія скалы маленькими человѣчками и еще болѣе усиливали впечатлѣніе величавости двухъ бѣлоснѣжныхъ видѣній, взявшихся за руки и осѣненныхъ рѣзко рисующимися въ воздухѣ зелеными листьями электрической „пальмы мира“.

Да, это было великолѣпно и оказалось столько же торжествомъ франко-русскаго союза и мира, сколько и торжествомъ Елены Михайловны и мадамъ Картошкиной. Даже вражеская партія склонилась предъ дивной, смѣло задуманной и эффектно поставленной картиной и начала неистово аплодировать. Генералъ и Наталья Дмитріевна сидѣли въ своей ложѣ, задрапированной тяжелыми малиновыми гардинами. Изъ-за спины Натальи Дмитріевны выглядывалъ Волчанскій. И генералъ, и его чиновникъ особыхъ порученій жадно пожирали

взорами Елену Михайловну. Одна Наталья Дмитріевна не поддавалась экстазу: она лорнировала сцену и публику одинаково холодно и равнодушно, дѣлала замѣчанія, что мадамъ Стоцкая, по обыкновенію, немножко откровенна, что надо отдать справедливость ея храбрости и т. п. Замѣтивъ, что сидѣвшіе съ ней мужчины не отрываютъ отъ глазъ биноклей, она тихо сказала мужу:

— Очень ужъ увлекаетесь, ваше превосходительство... На васъ смотрятъ.

— Да, да... всѣ смотрятъ.

— Я понимаю еще Александра Васильевича; онъ отдаетъ дань своей молодости, а вы?.. Впрочемъ, и вы отдаете дань... дань своей старческой слабости... ха-ха-ха!

Генералъ положилъ бинокль на рампу, сдѣлалъ серьезное лицо и началъ закручивать лѣвый усъ.

Оркестръ стихъ и выскользнула марсельеза; обѣ мелодіи временно слились, перепутались. Стоялъ громъ рукоплесканій, стукъ многочисленныхъ ногъ и крики „браво“. Нѣсколько наиболѣе экспансивныхъ зрителей визгливо выкрикнули „vive la France!“, однимъ словомъ—вышло все такъ, какъ рисовала Елена Михайловна. А Елена Михайловна стояла на высотѣ своего величія, гордая, сіяющая, и взоръ ея, недвижно остановленный на генеральской ложѣ, заставилъ Волчанскаго потупиться, а Наталью Дмитріевну—отвернуться въ сторону...

Надо сказать, что между Еленой Михайловной и Волчанскимъ вышла маленькая размолвка: онъ отказался выступить въ живыхъ картинахъ и этимъ доставилъ массу хлопотъ, пока удалось уломать Ѳому Лукича изобразить султана. Правда, Волчанскій отказался и отъ исполненія роли Макса въ „Блуждающихъ огняхъ“, но, во всякомъ случаѣ, Елена Михайловна была права, когда съ презрительной миной бросила ему:

— Вы хотите сидѣть между двумя стульями? Хорошо. Смотрите: это не такъ выгодно, какъ вы думаете...

Волчанскій и самъ понималъ, что ему приходится играть на два фронта, но у него не хватало гражданскаго мужества стать во враждебныя отношенія съ всесильной генеральшей.

Наталья Дмитріевна, которой Волчанскій только нравился, теперь стала ревниво относиться къ его частымъ посѣщеніямъ Елены Михайловны, къ появленію ихъ подъ руку, къ тому, что не одна она, Наталья Дмитріевна, всецѣло владѣетъ вниманіемъ своего чиновника. Конечно, тутъ не было и тѣни нѣжнаго чувства, здѣсь было только одно самолюбіе, и это самолюбіе заставляло Наталью Дмитріевну направить всѣ силы своего ума, хитрости и административныхъ способностей на то, чтобы Волчанскій былъ въ ея единоличномъ распоряженіи. Она настояла на томъ, чтобы Волчанскій сидѣлъ съ ними въ ложѣ, не отпускала его ни на одну минуту отъ себя, давала ему свои личныя порученія и просила о различныхъ услугахъ не въ службу, а въ дружбу... Наталья Дмитріевна не хотѣла даже, чтобы Волчанскій смотрѣлъ въ бинокль на Елену Михайловну.

— Дайте, пожалуйста, вашъ бинокль,—сказала она не оборачиваясь, а только протягивая черезъ свое плечо затянутую въ перчатку рыцарскаго образца руку. Волчанскій любезно передалъ Натальѣ Дмитріевнѣ бинокль и терпѣливо ждалъ его возвращенія, которое послѣдовало лишь послѣ того, какъ занавѣсъ сталъ опускаться...

Трудно передать, что произошло послѣ паденія занавѣса. Партерная публика сгрудилась около оркестровой рампы и неистово аплодировала, вызывая Стоцкую и Картошкину. Въ ложахъ забыли о приличіяхъ и о томъ, что принято и что не принято. Цѣлое стадо мужчинъ, статскихъ и военныхъ, ринулось за кулисы.

Генералъ незамѣтно исчезъ изъ ложи, предоставивъ свою супругу попеченіямъ чиновника особыхъ порученій. А тотъ, несчастный, принужденъ былъ изображать на лицѣ вниманіе, любезность, предупредительность въ

то время, какъ мысли его отчасти были за кулисами, а отчасти направлялись къ изысканію способа удрать изъ ложи, чтобы хотя минутку побыть около Елены Михайловны, посмотрѣть въ ея черные глаза, напоминающіе темную южную ночь, въ ея лицо, озаренное торжествомъ побѣдителя. Ахъ, какъ прекрасно было это лицо, съ такими большими острыми глазами, смѣло очерченными линіею тонкихъ бровей, съ блистающими въ коралловой рамкѣ губъ зубами, съ розовымъ ушкомъ, съ родинкой на щекѣ!.. Волчанскій представилъ себѣ это лицо и думалъ о томъ, что изъ всей этой массы людей, копошащихся вокругъ и гудящихъ, какъ пчелы, онъ одинъ могъ бы коснуться этого лица своими губами и сквозь легкую ткань шелка и кружевъ ощутить всею силою своего молодого, здороваго организма, какъ вздымается грудь этой опьяненной счастьемъ женщины...

— Вы, mon cher, не слышите? Я васъ спрашиваю, въ какое время вы завтра будете у меня, чтобы переговорить о „Блуждающихъ огняхъ“?—недовольно переспросила Наталья Дмитріевна замечтавшагося Волчанскаго, обмахиваясь вѣеромъ изъ бѣлыхъ страусовыхъ перьевъ.

— Простите... Я завтра буду, непремѣнно буду у васъ...

А публика неистовствовала съ возрастающею энергіей, требуя bis'a. Десятки голосовъ, цѣлое озеро плѣшивыхъ головъ, цѣлый взводъ офицеровъ и даже сама мадамъ Картошкина упрашивали Елену Михайловну снова взлѣзть на скалу и показаться публикѣ, но Елена Михайловна была неумолима. Она устала, она ушибла себѣ ножку, слѣзая со скалы, „вотъ тутъ, на подъемѣ!“ у нея кружится голова, ее мучаетъ страшная жажда...

— Не могу... Ни за что! ни за что!

Генералъ появился за кулисами. Пробравшись бочкомъ межъ двухъ стѣнъ почтительно разступившейся

передъ нимъ публики, онъ подошелъ къ Еленѣ Михайловнѣ, поздравилъ ее съ успѣхомъ, съ чувствомъ приложился къ ручкѣ и началъ восхищаться и тоже упрашивать...

Гдѣ-то хлопнула пробка, кто-то говорилъ: „позвольте, господа, позвольте!“ и подносъ, уставленный бокалами съ шампанскимъ, подплылъ къ Еленѣ Михайловнѣ. Она взяла бокалъ, подняла его и протянула сперва къ генералу, потомъ къ другимъ. Раздалось чоканье, поздравленія и опять восхищенія...

Елена Михайловна выпила бокалъ, вынула изъ маленькаго портмонэ имперіалъ и сказала:

— Это—въ пользу нашихъ подкидышей!.. Пожертвованія, господа, принимаются съ благодарностью...

При этомъ Елена Михайловна сдѣлала такую требовательно-капризную и все-таки обворожительную гримаску, что золото зазвенѣло, падая на подносъ изъ протянутыхъ со всѣхъ сторонъ рукъ. Набросали 287 р. 50 к. Подошла мадамъ Картошкина, спросила: „сколько здѣсь?“ и, получивъ отвѣтъ, небрежно бросила на подносъ радужную бумажку, а потомъ, поймавъ подъ руку своего мужа, сказала ему: „не угодно ли и вамъ?“, на что тотъ отвѣтилъ въ свою очередь радужною бумажкою.

— Чтобы не было копеекъ, для округленія, положу и я полтинничекъ,—скромно заявилъ какой-то господинъ и бросилъ серебряную монету.—Я шампанскаго не пилъ-съ,—робко добавилъ онъ, пятясь за спины другихъ.

Елена Михайловна, болтая съ поклонниками, незамѣтно искала глазами Волчанскаго. Она была совершенно увѣрена, что онъ явится безъ малѣйшаго промедленія, лишь только упадетъ занавѣсъ. Но его не было, и это было Еленѣ Михайловнѣ обидно, это ее раздражало и заставляло жестокосердно отвергать мольбы мужчинъ вторично появиться на скалѣ.

Ѳома Лукичъ въ костюмѣ султана, но безъ голов-

ного убора и безъ парика и накладной бороды, устало ходилъ между кулисами и стиралъ носовымъ платкомъ потъ, градомъ струившійся по его обмазанной гримомъ физіономіи. Краски смѣшались съ потомъ, отчего лицо Ѳомы Лукича сдѣлалось до такой степени ужаснымъ, что жена, пришедшая взглянуть поближе на „интереснаго Ѳомушку“, встрѣтивъ его, отшатнулась, потомъ ахнула и наконецъ сказала:

— Ѳома, Ѳома! На кого ты похожъ!

А Волчанскій сидѣлъ въ ложѣ и не зналъ, какъ вырваться. Наконецъ судьба сжалилась надъ нимъ: въ ложу вошелъ украшенный орденами и медалями полицеймейстеръ, высокій, съ выпяченною грудью и съ приподнятыми плечами, бодрый, молодящійся старикъ, съ гладко выбритымъ подбородкомъ и закрученными усами. По недальновидности онъ началъ было тоже восхищаться. Но Наталья Дмитріевна умѣрила его восторги:

— Я слышала, что ваши пристава развозили билеты на этотъ вечеръ?

— Да. Моя священная обязанность—содѣйствовать всякому...

— Совершенно напрасно. Я васъ просила о другомъ спектаклѣ, въ пользу слѣпыхъ... Мужъ очень недоволенъ... Это значило — прямо подорвать нашъ спектакль...

— Простите, ваше превосходительство, но я употреблю всѣ усилія, чтобы одно другому не помѣшало...

Смутившійся полицеймейстеръ присѣлъ на стулъ и началъ оправдываться. Наталья Дмитріевна увлеклась распеканіемъ. Этимъ моментомъ Волчанскій и воспользовался, чтобы выскользнуть изъ ложи. Началось уже второе концертное отдѣленіе. Когда Волчанскій летѣлъ по направленію къ сценѣ, навстрѣчу ему шла Елена Михайловна въ пышномъ бѣломъ плюшевомъ сорти де-баль, въ красиво накинутомъ на голову капюшѣ.

Пряди черныхъ волосъ и черные глаза Елены Михайловны такъ рѣзко и красиво выдѣлялись въ рамкѣ бѣлыхъ складокъ капюша...

Слѣдомъ за Еленою Михайловною шагалъ, довольный и сіяющій, Евгеній Алексѣевичъ съ большимъ сакомъ въ рукахъ.

— Здравствуйте, Елена Михайловна! — обиженно произнесъ Волчанскій, видя, что его не замѣчаютъ.

— Ахъ, это вы?—Простите: я и не замѣтила...

— Поздравляю, поздравляю...

— Мерси...

— Позволите васъ проводить?

— Мерси. Не безпокойтесь... меня проводятъ, — небрежно бросила Елена Михайловна и, оглянувшись назадъ, улыбнулась Евгенію Алексѣевичу и плавно двинулась по коридору, кивая на всѣ стороны привѣтствовавшимъ ее мужчинамъ.

Волчанскій былъ уязвленъ. Покусывая губы, онъ походилъ взадъ и впередъ по коридору, потомъ зашелъ въ буфетъ,—выпилъ двѣ рюмки коньяку и, поспѣшно одѣвшись, уѣхалъ изъ театра.

XII.

Софья Ильинишна, поднимаясь слѣдомъ за Евгеніемъ Алексѣевичемъ по широкой ярко-освѣщенной, застланной ковровой дорожкою лѣстницѣ въ квартиру Елены Михайловны Стоцкой, чувствовала не то неловкость, не то какую-то странную робость...

— Погодите, дайте вздохнуть... Я волнуюсь...

— Присядьте! — предложилъ Евгеній Алексѣевичъ, указывая на вѣнскій диванчикъ, стоявшій на площадкѣ и какъ бы манившій отдохнуть на перепутьи.

Софья Ильинишна только что оправилась отъ болѣзни и хандры. Лицо ея осунулось, носъ сдѣлался больше, близорукіе глаза какъ-то блуждали. При яр-

комъ освѣщеніи это лицо производило непріятное впечатлѣніе.

— Устали?

— Задыхаюсь...

Надъ ними послышались шаги: какой-то господинъ спускался по лѣстницѣ. Поровнявшись съ диванчикомъ, онъ слегка кивнулъ Евгенію Алексѣевичу головою и, плотно запахнувшись въ шубу, проворно спустился къ выходу. Скрипъ снѣга подъ полозьями саней возвѣстилъ объ его отъѣздѣ.

— Кто это?

— Волчанскій... Тотъ самый чиновникъ особыхъ порученій, о которомъ я вамъ говорилъ...

— Ну, пойдемте дальше...

Имъ отперла горничная Катя. Она какъ-то растерянно осмотрѣла вошедшихъ и забезпокоилась.

— Елена Михайловна дома?

— Кажется... Я сейчасъ...

Катя скрылась. Софья Ильинишна чувствовала себя совсѣмъ скверно. Она не привыкла ждать въ передникъ, и въ ея сердцѣ уже разгоралась искра глухого протеста противъ этого барскаго дома и хозяйки, которую она никогда не видѣла.

— Повидимому, мы не во время пришли, — процѣдила она сквозь зубы.

— Погодите... Ноги не отвалятся...

— Пожалуйте въ залъ! Барыня сейчасъ выйдутъ.

Они пошли. Проходя мимо пріотворенной двери въ столовую, Евгеній Алексѣевичъ увидалъ на столѣ свѣчу, бутылку изъ-подъ шампанскаго, два стакана и два кресла, въ безпорядкѣ брошенныхъ тѣми, кто сидѣлъ на нихъ очень недавно. Сопоставивъ это обстоятельство со встрѣчею на лѣстницѣ, Евгеній Алексѣевичъ уличилъ себя въ излишней любознательности и еще въ чемъ-то, похожемъ на ревность... „Мнѣ-то какое дѣло?“—мысленно спросилъ онъ себя, но что-то въ глу-

бинѣ души продолжало копошиться, безпокоить его... Очевидно, что восхищеніе Евгенія Алексѣевича передъ образомъ Елены Михайловны не носило чисто художественнаго характера.

Софья Ильинишна сидѣла въ креслѣ, сложивъ на груди руки.

Въ своемъ простенькомъ черномъ платьѣ, перетянутомъ ременнымъ кушакомъ, въ этомъ пышномъ и мягкомъ креслѣ она сдѣлалась такою миніатюрною... Казалось, большой залъ съ высокими панданусами и филодендрами почти до потолка, съ широкими полосами бѣлыхъ кисейныхъ занавѣсей до самаго пола на окнахъ, съ громоздкою концертною роялью Беккера, съ лампами подъ ажурными шелковыми абажурами на высокихъ пьдесталахъ, подавлялъ дѣвушку, заставляя ее сжиматься и горбиться; она напряженно смотрѣла на коверъ подъ ногами и, Богъ вѣсть, о чемъ думала. Зато Евгеній Алексѣевичъ чувствовалъ себя, какъ дома. Онъ сидѣлъ, заложивъ нога за ногу, покуривалъ папиросу и, взглядывая на Софью Ильинишну и замѣчая, что она переживаетъ мучительное состояніе, начиналъ заговаривать съ нею:

— Вотъ такіе цвѣты я понимаю!.. Сколько величія, гордости въ позѣ вотъ этой, напримѣръ, пальмы! Самъ чортъ ей не братъ...

— Да, — сказала Софья Ильинишна, и ей пришло на память стихотвореніе „Въ песчаныхъ степяхъ Аравійской земли три гордыя пальмы высоко росли“.

— А вотъ этотъ красавецъ-панданусъ?..

— Да, красиво,—тихо отвѣтила Софья Ильинишна, откашливаясь отъ непріятнаго ощущенія какой-то сухости въ горлѣ.

— Добрый вечеръ, господа!.. Вы не сердитесь, что я заставила васъ такъ долго ждать? нѣтъ?—заговорила Елена Михайловна, выйдя къ гостямъ въ какомъ-то фантастическомъ капотѣ изъ японской матеріи, очень

просто и мило пожала имъ руки и опустилась въ качалку.

— Я даже не успѣла привести въ порядокъ свою голову, — сказала она, мягко касаясь обнаженною рукою своихъ волосъ и незамѣтно всматриваясь въ это время въ лицо Софьи Ильинишны.—Евгеній Алексѣевичъ извинитъ меня за неглиже въ костюмѣ, а вы... Софья... Ильинишна, кажется?

— Да.

— Вы и подавно. Я немного устала и повалялась,— произнесла Елена Михайловна, и въ ея голосѣ послышалась, дѣйствительно, не то усталость, не то просто лѣнь, — читала „Нану". Удивляюсь: мнѣ столько ужасовъ наговорили про этотъ романъ, а оказывается—ничего особеннаго нѣтъ въ немъ... Вы читали этотъ романъ?—спросила Елена Михайловна, обращая лицо къ гостьѣ.

— Софья Ильинишна! Читали „Нану"?—повторилъ вопросъ Евгеній Алексѣевичъ, видя, что Софья Ильинишна улетѣла куда-то мыслями...

— Нѣтъ, не читала. Я не люблю романовъ.

Елена Михайловна еще разъ незамѣтно скользнула взоромъ по лицу Софьи Ильинишны, прищурилась и слегка улыбнулась.

— Софья Ильинишна больше по части философіи и соціологіи,—вставилъ Евгеній Алексѣевичъ.

Елена Михайловна звонко расхохоталась. Некрасивое лицо дѣвушки, ея отреченіе отъ романовъ и добавленіе Евгенія Алексѣевича относительно философіи скомбинировались въ головѣ легкомысленной барыни извѣстнымъ образомъ и дали рефлексъ въ формѣ этого звонкаго смѣха.

Софья Ильинишна вопросительно взглянула сперва на Елену Михайловну, потомъ на Евгенія Алексѣевича, потупилась и вспыхнула.

— Я вспомнила одну вещь... Простите, господа!

Иногда, ни съ того ни съ сего, придетъ въ голову чепуха...Одно воспоминаніе изъ дѣтства...Очень смѣшно,— объяснила свой смѣхъ Елена Михайловна и моментально придумала и разсказала эту чепуху.

„Что же смѣшного?“—подумала Софья Ильинишна и откашлянулась.

— Евгеній Алексѣевичъ передавалъ мнѣ, что вамъ требуется массажистка. Я собственно и пришла по этому дѣлу,—проговорила она, не поднимая головы.

— Непремѣнно—по дѣлу?.. А иначе не пришли бы?

Софья Ильинишна опять почувствовала неловкость: вопросъ былъ сдѣланъ немного насмѣшливымъ тономъ.

— Вѣроятно, не пришла бы... Случай...

— Скажите: вы изучали массажъ?

— Да. Имѣю свидѣтельство. Если желаете, то...

— Ахъ, я не о томъ... Вы меня не поняли... Мнѣ просто интересно. Теперь массажъ въ такой модѣ... Все лѣчатъ массажемъ. Вѣроятно, скоро рентгеновскіе лучи тоже войдутъ въ моду... Сегодня я читала въ „Новомъ Времени“...

И Елена Михайловна стала разсказывать про рентгеновскіе лучи. Конечно, и массажъ, и лучи были привлечены къ отвѣтственности лишь за неимѣніемъ подходящихъ темъ для разговора; все, что говорила о нихъ Елена Михайловна, было давнымъ-давно всѣмъ присутствовавшимъ извѣстно и надоѣло даже и самой Еленѣ Михайловнѣ. Но нельзя же было сидѣть молча! Надо было говорить. О чемъ? Еленѣ Михайловнѣ казалось, что массажъ и лучи болѣе или менѣе тронутъ эту угрюмую дѣвушку медицинской профессіи, не интересующуюся романами. Но дѣвушка молчала. Тогда Елена Михайловна попробовала другую тему, хотя тоже не свѣжую, но все же небезынтересную для женщины, занимающейся философіею и соціологіею.

— Ахъ, какъ я желала бы быть теперь въ Парижѣ!..

Тамъ теперь, вѣроятно, все еще жизнь бьетъ ключемъ... Золя осужденъ, но онъ, право, милъ!.. Скажите, господа, вы за Золя или противъ? Что тамъ ни писали въ „Новомъ Времени“, а мнѣ все-таки не вѣрится, чтобы Золя былъ игрушкою въ рукахъ жидовъ?..

Евгеній Алексѣевичъ переложилъ ноги съ одной на другую и выпустилъ неопредѣленное „да-а“, Софья Ильинишна вздрогнула и опустила глаза; лицо ея густо покраснѣло, руки плотнѣе прижались къ груди...

— Да, Золя—герой,—сказалъ Евгеній Алексѣевичъ, чтобы оборвать неловкое молчаніе, и умоляюще взглянулъ на Елену Михайловну. Та быстро поняла этотъ взглядъ; она быстрымъ жестомъ глазъ и губокъ выразила досаду на свой промахъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, опять заговорила:

— Скажите, Софья Ильинишна, вы имѣете здѣсь практику? Вы, кажется, акушерка?

— Да, акушерка - фельдшерица. Но практики не имѣю. Я—акушерка безъ вывѣски...

— Т. е. какъ же это такъ? Не имѣете правъ?

— Имѣю, но... я, право, затрудняюсь, какъ это объяснить... Мнѣ временно запрещено вѣшать вывѣску... заниматься этимъ...

— Это возмутительно! Лишать человѣка возможности трудиться. Хотя, по моему мнѣнію, это затрудненіе всегда можно обойти... Вотъ хотя бы взять Склабонскаго... адвокатъ... Ему тоже запрещено, но это не мѣшаетъ ему зарабатывать до десяти тысячъ въ годъ. Взялъ себѣ помощника изъ молодыхъ (конечно, частнымъ образомъ) и тотъ сдѣлался его alter ego... И оба довольны...

— Здѣсь совершенно иное положеніе,—заговорилъ Евгеній Алексѣевичъ и очень осторожно и мягко разъяснилъ, чѣмъ разнилось положеніе Софьи Ильинишны отъ положенія адвоката Склабонскаго.

— Погодите, голубчикъ, я вамъ выхлопочу разрѣ-

шеніе повѣсить вывѣску. Что за варварство! Жаль, что я раньше не знала: у меня было недавно два случая, гдѣ я могла бы васъ рекомендовать. Какъ только увижу Волчанскаго,—я не отстану, пока не вырву разрѣшенія вамъ повѣсить вывѣску. Онъ самъ человѣкъ университетскій...

— Благодарю васъ... Едва ли это удастся,—сказала Софья Ильинишна.

— Мнѣ? Не удастся? Если я возьмусь за это дѣло,—будьте спокойны. Пойдемте, господа, въ столовую, будемъ пить чай!..

— Благодарю васъ, я не могу: мнѣ надо спѣшить на урокъ.

— Пустяки! Когда у васъ урокъ?

— Въ восемь.

— А теперь нѣтъ восьми. Идемте. Какой у васъ урокъ?

— Подготовляю въ гимназію.

— Сколько вамъ платятъ?

— 8 рублей.

— Въ мѣсяцъ?

— Да.

— Возмутительно. Ну, что бы сказать мнѣ раньше?—съ укоризною обратилась Елена Михайловна къ Евгенію Алексѣевичу.—Картошкины платятъ своему семинаристу 30 рублей. Погодите, голубчикъ, мы все устроимъ. Сюда! Садитесь! Катя! Подайте варенья...

— Я подала, барыня.

— Другого. Какое у насъ есть? Господа, какое вы любите?

— Все равно,—сказала Софья Ильинишна.

— Я не любитель варенія,—сказалъ Евгеній Алексѣевичъ.

— Подайте абрикосъ!

Елена Михайловна старалась быть какъ можно любезнѣе съ Софьею Ильинишною, потому что ее безпо-

боту,—оставались сонными, вялыми, безжизненными. Длинные полутемные коридоры, грязныя лѣстницы съ расшатанными перилами и веревочными половиками, треснувшее сверху до низу трюмо, часы съ кукушкой и торчавшія кое-гдѣ по стѣнамъ жестяныя лампы съ полуопущенными желтоватыми огоньками,—все это, пропитанное пылью и подернутое плѣсенью, какъ-то тоскливо выглядѣло, прячась въ таинственномъ полумракѣ. Все здѣсь спало, начиная съ коридорнаго Ваньки, въ замысловатой позѣ валявшагося на старомодномъ диванѣ съ потертою клеенкою, до жирнаго сѣраго кота включительно, который безмятежно дремалъ на столикѣ, предъ разбитымъ зеркаломъ.

Вчера на черной доскѣ, предназначенной для записи гг. пріѣзжающихъ, появилась фамилія новой жертвы этого соннаго царства—Промотовъ. Очевидно, такіе случаи выпадали довольно рѣдко: Ванька съ большимъ наслажденіемъ вычерчивалъ на доскѣ фамилію... Новый господинъ пріѣзжающій съ барыней заняли номеръ, сосѣдній съ комнатою Евгенія Алексѣевича, но Ванька начертилъ фамилію такими крупными буквами, что если бы кто-нибудь пожелалъ отыскать пріѣзжаго, руководствуясь только указаніемъ черной доски, то ему пришлось бы искать его приблизительно между третьимъ и седьмымъ.

Пріѣзжіе прибыли часовъ въ десять вечера, заперлись въ номерѣ и стихли. Они даже не требовали самовара.

— Устамши съ дороги... Поди, завтра до обѣда продрыхнутъ! — съ удовольствіемъ говорилъ Ванька, не любившій лишнихъ хлопотъ и ранняго вставанія... И Ванька спалъ, храпѣлъ въ позѣ внезапно убитаго человѣка. Евгеній Алексѣевичъ вернулся очень поздно и тоже не тревожилъ Ваньки, но пришелъ вахмистръ, громаднѣйшій человѣкъ съ усами, Стратоновъ, и по-

тревожилъ Ваньку. Растолкавъ и поднявъ Ваньку съ дивана, Стратоновъ отвелъ его въ уголъ, къ окну, и сталъ тихо и таинственно разспрашивать о поведеніи господина въ № 5.

— Ничего себѣ, не скандалитъ,—позѣвывая во весь ротъ, аттестовалъ Ванька пріѣзжаго.

— Чѣмъ занимается?

— Кто его знаетъ... Никакъ спитъ...

— Кто-нибудь приходилъ?

— Незамѣтно что-то... Покуда кромѣ васъ никого, кажись, не было.

— Гм... все-таки, того... понаблюди...

— Ладно,—сладко потягиваясь, отвѣтилъ Ванька.

Стратоновъ стукнулъ шпорами и вышелъ, а Ванька брякнулся, какъ колода, на диванъ и черезъ пять минутъ снова храпѣлъ... Надо сказать, что Ванька обладалъ феноменальною способностью спать. Въ немногіе часы бодрствованія онъ казался ненормальнымъ: тупые посоловѣлые глаза, выраженіе недоумѣнія во взорѣ, вялость въ движеніяхъ и притягательная сила дивана весьма наглядно свидѣтельствовали о томъ, что сонъ для Ваньки—то же, что вода—для рыбы...

Когда висѣвшіе въ коридорѣ часы прокуковали девять, дверь изъ номера пятаго пріоткрылась.

— Человѣкъ!—крикнулъ пріѣзжій. Мягкій баритонъ его гулко пронесся по пустыннымъ коридорамъ.

Ванька сквозь сладкую дрему слышалъ окрикъ, но не поднялся съ дивана, а только слегка пріоткрылъ глаза и шевельнулъ одной ногою. Ванька поднимался съ дивана обыкновенно послѣ трехъ-четырехъ окриковъ, когда въ голосѣ звавшаго ясно слышались уже раздраженіе и угроза. Но такъ какъ въ этомъ окрикѣ ни того, ни другого не было, то Ванька продолжалъ спать, съ каждымъ окрикомъ лишь полуоткрывая глаза и дрыгая ногою. И, вѣроятно, онъ вовсе не всталъ бы, если буфетчикъ, спустившись на площадку, гдѣ стоялъ

диванъ съ Ванькой, не ткнулъ бы послѣдняго въ бокъ и не сказалъ:

— Сдохъ ты, что ли?..

Тогда Ванька моментально, словно отъ электрическаго удара, приподнялся на диванѣ, почесался и, не говоря ни слова, побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ.

— Потрудитесь подать самоваръ!—попросилъ пріѣзжій, когда Ванька, войдя въ номеръ, всталъ, какъ вкопанный, и вопросительно устремилъ на него свои оловянные глаза.

— Сею минуту! — отчеканилъ Ванька и, моргнувъ бровью, повернулся, чтобы выйти.

Пріѣзжій остановилъ его:

— Какъ мнѣ найти здѣсь нѣкоего Рябчикова?

Ванька не понялъ вопроса и предупредительно отвѣтилъ:

— Рябчиковъ не держимъ: тухнутъ-съ. Соляночку московскую, биточекъ, щи лѣнивыя можно-съ...

Пріѣзжій ухмыльнулся и, видя, что Ванька продолжаетъ стоять съ устремленными въ одну точку глазами, махнулъ рукою.

— Девять, кажется, пробило? — спросилъ онъ въ догонку Ванькѣ. Тотъ остановился и, немного замѣшкавшись, не безъ труда объяснилъ, что хотя и пробило девять, но что это все одно, что десять, такъ какъ кукушка кричитъ на одинъ часъ меньше, чѣмъ бы слѣдовало ей кричать по правилу.

— Девять, примѣрно, прокукуетъ, а десятый только такъ, скрипнетъ; оно и показываетъ словно десять. Механизма попорчена...

Спустя десять минутъ Ванька опять уже лежалъ на диванѣ, и для того, чтобы подать пріѣзжему самоваръ, буфетчику пришлось опять продѣлать такую же штуку, т. е. сойти къ дивану и ткнуть Ваньку.

— Что ты, словно мертвый! будетъ дрыхнуть-то, — сердито замѣтилъ онъ Ванькѣ.

— Три ночи, Митрій Митричъ, не спалъ какъ слѣдуетъ,—оправдываясь, проговорилъ на ходу Ванька и сердито забурчалъ про себя: „дадите вы уснуть! ни днемъ, ни ночью спокою не знаешь“...

Съ чувствомъ затаенной непріязни къ пріѣзжему принесъ Ванька въ № 5 подносъ съ посудой, подалъ самоваръ и сердито нахлобучилъ на него камфорку.

— Сходите за булками!—попросилъ пріѣзжій.

Ванька долго ходилъ за булками, хотя булочная была въ сосѣдствѣ, и вернулся опять недовольный. Но когда баринъ не взялъ отъ него сдачу, Ванька умиротворился:

— Горяченькій еще!—сказалъ онъ, тыкая пальцемъ въ булку, и хотѣлъ было выйти изъ номера, но тутъ ему вспомнилось Стратоновское порученіе понаблюсти,—и онъ замедлилъ. Взявъ щетку, Ванька сталъ лѣниво гладить ею полъ съ облѣзшею желтой краской и изрѣдка поглядывать на барина.

Пріѣзжій сидѣлъ у окна и читалъ газету. Онъ былъ высокъ, худощавъ, съ продолговатымъ лицомъ, впалыми щеками и съ большимъ изрѣзаннымъ морщинами лбомъ; длинная борода клиномъ и большіе темные волосы, откинутые назадъ и небрежно разсыпавшіеся,—дѣлали это лицо еще болѣе вытянутымъ и худымъ, а большіе сѣрые глаза и прямой правильный носъ придавали этому лицу какую-то странную привлекательность, кладя на него отпечатокъ грусти, ума и вмѣстѣ съ тѣмъ гордости. Это было одно изъ тѣхъ лицъ, при встрѣчѣ съ которымъ кажется, что вы гдѣ-то встрѣчали уже это лицо, что оно хорошо знакомо вамъ...

Ванькѣ это лицо не внушило особеннаго довѣрія. Бархатный пиджакъ, длинные волосы и осѣдланный золотымъ пенснэ носъ, — все это сбивало Ваньку съ усвоенныхъ имъ понятій о людяхъ: „дьячокъ— не дьячокъ, а песъ его знаетъ, изъ какихъ онъ“...

Порывшись въ дорожномъ чемоданѣ, пріѣзжій вытащилъ что-то завернутое въ бумагѣ. Ванька насторожился. Пріѣзжій развернулъ бумагу и заварилъ чай.

— Зина, вставай-ка! Самоваръ—на столѣ, булки—горячія,—громко произнесъ пріѣзжій.

— Не хочется, Володя... у-у-ухъ!..—отвѣтилъ изъ-за ширмъ лѣнивый женскій голосъ.

— Будетъ спать... Пора.

— Какое ужъ теперь спанье!.. Обѣдъ скоро,—замѣтилъ Ванька.

Пріѣзжій отъ нечего дѣлать взялъ въ руки афишу, въ которой были завернуты принесенныя Ванькой булки и сталъ ее прочитывать.

Это было объявленіе о живыхъ картинахъ въ пользу „Мизерикордіи“.

„Бисмаркъ—З. П. Рябчиковъ“.

Неужели это—онъ, братъ Зины? Тотъ самый, котораго имъ предстоитъ разыскать?

— Зина!

— Что?

— Кажется, я нашелъ твоего Захара Петровича...—крикнулъ пріѣзжій и расхохотался.

— Гдѣ? какъ?

— Въ живыхъ картинахъ изображалъ Бисмарка...

— Не можетъ быть!

— Такъ точно-съ,– сказалъ Ванька, переставая мести полъ,—очень даже превосходныя картины были. Пѣли, между прочимъ, однако все ужъ не то... Ежели бы недѣльки двѣ—три раньше пріѣхали,—и вы могли бы себѣ удовольствіе получить...

— А вы развѣ были?—улыбаясь спросилъ пріѣзжій.

— Какъ же-съ! Мы вмѣстѣ съ Григоріемъ—дворникомъ у насъ служитъ—ходили въ тіятру...

— Вотъ я васъ давеча про Захара Петровича Рябчикова и спрашивалъ. Знаете его?

— Захара-то Петровича? Очень даже хорошо. Поря-

дочный господинъ. Въ прошломъ мѣсяцѣ нашего хозяина вмѣстѣ съ нимъ, съ Захаромъ Петровичемъ, у мирового судили за санитарности... Мы съ Григоріемъ ходили полюбопытствовать. Занятно. У нихъ свой домъ на Николаевской улицѣ, собственный, двухъэтажный, каменный, съ мезаниномъ-съ. Они съ нашимъ квартирантомъ знакомы... Рядомъ съ вами у насъ маляръ живетъ, патреты рисуетъ... Сынъ парядочныхъ родителей, а только что сбился съ правильной пути... Хорошій малый, только что компанію водитъ неподходящую... Репутацію свою замаралъ...

— Коридорный И-ванъ!..—раздался громовый голосъ въ коридорѣ.

— Это онъ аретъ... Сердится!—ухмыляясь, сказалъ Ванька и, когда голосъ еще сильнѣе загремѣлъ по коридору, произнесъ:—ну, надо итти, а то осердится совсѣмъ,—и наскоро подогнавъ къ печкѣ соръ, вышелъ за дверь и направился къ Евгенію Алексѣевичу.

— Сосѣди завелись,—сообщилъ онъ.

— Ты вотъ что, братецъ: слушай, когда тебя зовутъ. Спишь много,—сердито встрѣтилъ его Евгеній Алексѣевичъ.

— Когда это намъ спать? Съ утра каталажусь... У сосѣдей вашихъ и былъ... Тоже надо полъ подмести, надо самоваръ подать, надо за хлѣбомъ сбѣгать, надо одежу, сапоги вычистить, надо разсказать пріѣзжему человѣку, гдѣ что найти...

И Ванька такъ много дѣлъ переименовалъ и притомъ такимъ страдающимъ, протестующимъ тономъ, что Евгеній Алексѣевичъ удовлетворился и, понизивъ голосъ, уже мягко спросилъ:

— Кто они такіе, сосѣди-то?

Ванька махнулъ рукой.

— Хорошаго мало!—сказалъ онъ.—Не успѣли еще пріѣхать, а ужъ унтеръ приходилъ, навѣдывался... Кавалеръ съ дамой. Дамочка все за ширмочкой держится,

а все-таки мелькомъ видѣлъ: изъ себя недурненькая, блондинка... Захара Петровича сродственница, надо полагать...

— Какого Захара Петровича?

— Вотъ вамъ и разъ! Какого! Рябчикова, котораго вы въ тіятрѣ-то разрисовывали... Да нѣмецкаго-то принца представлялъ!..

Евгеній Алексѣевичъ неудержанно расхохотался.

— А фамилію моихъ сосѣдей знаете?

— Фамилія? Промотовъ, господинъ Промотовъ...

Евгеній Алексѣевичъ встрепенулся.

— Промотовъ? А какъ его зовутъ?

— Его - не знаю, а ее—Зиной, Зинаидой...

— Вотъ что, Иванъ... На вотъ тебѣ мою визитную карточку и отнеси этому господину. Скажи, что я—здѣсь, рядомъ. Отвѣта, молъ, жду...

— Неужто знакомы?

— Иди, иди! Не твое дѣло...

— Хорошаго мало!.. — пробурчалъ Ванька и пошелъ отнести карточку.

Евгеній Алексѣевичъ волновался. Онъ почти не сомнѣвался, что это были тѣ самые Промотовы, съ которыми случай свелъ его въ Лаишевѣ, гдѣ онъ подвизался въ труппѣ, а тѣ жили въ качествѣ „чужестранцевъ“... За три мѣсяца, прожитыхъ вмѣстѣ въ Лаишевѣ, они сдружились, привязались другъ къ другу... То время, три года тому назадъ, Евгеній Алексѣевичъ часто вспоминаетъ и теперь еще. Эти три мѣсяца на берегу Камы прошли такъ быстро и оставили такое рѣзкое впечатлѣніе въ памяти... Неужели же они? Какая удивительная и хорошая случайность. Черезъ три года—сосѣди...

Евгеній Алексѣевичъ поминутно смотрѣлъ на дверь, ожидая замѣшкавшагося Ваньку. Наконецъ отворилась дверь.

— Владиміръ Николаевичъ!

— Вотъ случайность! Ну, здравствуйте?

Лица у обоихъ были радостныя. Они крѣпко и долго жали другъ другу руки и молча и почему-то конфузливо улыбались. Вѣроятно, они и поцѣловались бы, къ чему сильно подмывало Евгенія Алексѣевича, но Владиміръ Николаевичъ былъ человѣкъ, несклонный къ закадычности, ко всѣмъ этимъ „ты“, объятіямъ и поцѣлуямъ... Онъ былъ искренно радъ этой встрѣчѣ, но въ экстазъ вообще никогда не входилъ.

— Какъ вы сюда? Зачѣмъ? Надолго ли? Какъ Зинаида Петровна?

— Цвѣтетъ... Ее вы не узнаете... Мы сюда пріѣхали жить.

Они просидѣли битый часъ времени, вспоминая прошлое и разсказывая другъ другу о томъ, что произошло съ ними за протекшіе въ разлукѣ три года, пока Зинаида Петровна не прислала за ними Ваньки:

— Васъ барышня зовутъ. Обоихъ!

XIV.

Владиміръ Николаевичъ окончилъ юридическій факультетъ университета кандидатомъ правъ еще восемь лѣтъ тому назадъ и такимъ кандидатомъ пребывалъ до настоящаго времени.—Мы съ тобой только „кандидаты правъ“,—смѣялась Зинаида Петровна, когда всѣ попытки ихъ вырваться изъ Лаишева оставались тщетными, и на всѣ прошенія приходилъ лаконическій отвѣтъ: „отклонить“.

Послѣ петербургской жизни, полной кипучей, лихорадочной работы для ума, сердца и желудка, послѣ постояннаго вращенія въ различныхъ литературныхъ кружкахъ, научныхъ обществахъ, въ средѣ интеллигентныхъ людей, жизнь въ Лаишевѣ показалась имъ сущей каторгой. Послѣ жизни всѣми нервами, всѣми фибрами существа, послѣ шумныхъ споровъ, горячихъ

дебатовъ, многолюдныхъ собраній, лекцій, выставокъ, разныхъ засѣданій, послѣ всего этого нервнаго столичнаго грохота, торопливости, суетливости—разомъ глубокая мертвая тишина, какая-то странная пустынная тишина, похожая на спокойствіе стараго заброшеннаго кладбища... На первыхъ порахъ молодымъ супругамъ показалось, что они внезапно упали въ какую-то глубочайшую яму, въ колодезь, откуда лишь виденъ клочекъ неба съ мигающими звѣздочками, и куда доносится лишь неясный отголосокъ жизни на земной поверхности. Пріѣхали они въ Лаишевъ зимой, когда городишко былъ отрѣзанъ отъ всего цивилизованнаго міра и когда тусклое мерцаніе общественной жизни городка брезжило лишь въ четырехъ окошкахъ мѣстнаго клуба, гдѣ скучающіе обыватели въ ожиданіи партнеровъ на винтъ и преферансикъ, если не толкались у буфетной стойки, то почитывали и газетки. Кругомъ чуть не на сотню верстъ—снѣговая пустыня, съ грязными пятнами захудалыхъ деревенекъ, кое-гдѣ узкія санныя дороги, съ медленно ползущими по нимъ мохнатыми лошаденками, хмурое небо, горизонтъ котораго сливается съ снѣжными холмами, обнаженный лѣсъ съ голодными волками. А въ серединѣ—Лаишевъ, центръ жизни громаднаго района—уѣзда, и въ этомъ центрѣ, какъ въ глубокой ямѣ, тихо и безнадежно спокойно...

Сидя вдвоемъ въ снятомъ за 10 руб. въ мѣсяцъ домѣ, заброшенномъ наслѣдниками прогорѣвшаго помѣщика, и прислушиваясь къ удручающей тишинѣ и тоскливому завыванію вѣтра, Промотовы печально переглядывались и молча понимали другъ друга...

Какъ горячи были споры о томъ, какимъ путемъ идетъ развитіе родины, и какая задача стоитъ на очереди общества!..

Тихо. Только вѣтеръ поетъ свою монотонную жалобную пѣсню, да фитиль лампы шипитъ, да слышно, какъ

на столѣ тикаютъ серебряные карманные часы Владиміра Николаевича... Изрѣдка темною тѣнью проскользнетъ на фонѣ обмерзшихъ оконныхъ стеколъ согбенная фигура подгулявшаго обывателя, лѣниво тявкнетъ собака, церковный колоколъ медленно сообщитъ о томъ, сколько еще осталось спать до утра,—и снова тихо, тихо...

Горятъ огни. Залъ полонъ оживленныхъ умныхъ лицъ, сверкающихъ глазъ; атмосфера насыщена, какъ электричествомъ, нетерпѣливымъ ожиданіемъ любимаго оратора... Вотъ онъ вышелъ... Громъ рукоплесканій, криковъ... Потомъ тишина, но какая же это хорошая тишина!.. Въ этой тишинѣ столько напряженнаго вниманія, столько напряженной мысли, столько жизни!..

Мертвая тишина. Одна лампа подъ абажуромъ смотритъ зеленымъ глазомъ на Владиміра Николаевича и Зинаиду Петровну, да потухающій самоваръ верещитъ, собираясь потухнуть окончательно...

И сидятъ они, огорошенные этой страшной метаморфозой, похожіе на пушкинскую старуху у синяго моря, послѣ того, какъ та снова осталась съ однимъ худымъ корытомъ!.. Да,

> Въ столицѣ шумъ, гремятъ витіи,
> Кипитъ словесная война,
> А здѣсь, во глубинѣ Россіи,
> Здѣсь вѣковая тишина...

Особенно тяжело было Зинаидѣ Петровнѣ. Владиміръ Николаевичъ, живя въ столицѣ, сотрудничалъ въ толстыхъ журналахъ, занятый разработкой различныхъ экономическихъ вопросовъ; онъ имѣлъ нѣкоторую склонность къ уединенію, къ кабинетной работѣ, хотя, конечно, и для него жизнь въ столицѣ имѣла громадныя преимущества. Но Зинаида Петровна по самой природѣ своей не могла мириться съ провинціей, особенно съ такимъ медвѣжьимъ угломъ, какъ Лаишевъ и ему подобныя гнѣзда россійскихъ обывателей. Въ Зинаидѣ Петровнѣ воплотилась вся суетливость, впеча-

тлительность, нервозность столичнаго интеллигента, съ его постояннымъ неудержимымъ стремленіемъ къ дѣятельности, къ общенію и обмѣну мыслей, съ его разбросанностью, разрываніемъ на части въ погонѣ за умственной пищей, съ его жадностью вездѣ быть, все слышать, все знать, на все реагировать. При живомъ темпераментѣ всѣ эти свойства столичнаго интеллигента получили въ Зинандѣ Петровнѣ свое крайнее выраженіе. Она сотрудничала въ журналахъ, писала библіографическія замѣтки и переводила съ французскаго, нѣмецкаго и англійскаго всѣ новинки иностранной литературы, постоянно путешествовала по редакціямъ и книгоиздательствамъ, принимала дѣятельное участіе въ женскомъ клубѣ, гдѣ стояла во главѣ оппозиціонной партіи, участвовала въ организаціи разныхъ лекцій и чтеній, посѣщала каждое засѣданіе вольно-экономическаго общества, всѣ интересные диспуты, диссертаціи и успѣвала еще давать уроки, однимъ—платно, другимъ—безплатно...

Всегда въ темномъ платьѣ безъ излишнихъ украшеній, въ крахмальномъ воротничкѣ и рукавчикахъ, съ короткими по-мужски зачесанными волосами, съ быстрыми карими глазами, со стремительной походкой, съ торопливостью въ темпѣ говора и во всѣхъ движеніяхъ, Зинаида Петровна представляла собою неугомонное, неустанное существо... Знакомые говорили, что Зинаида Петровна всегда спѣшитъ „въ одно мѣсто, къ одному господину, по одному дѣлу“ — отвѣтъ, второпяхъ сорвавшійся однажды съ устъ Зинаиды Петровны при встрѣчѣ на улицѣ съ друзьями...

И вотъ этотъ-то неугомонный человѣкъ неожиданно очутился въ Лаишевѣ!..

Первые мѣсяцы Зинаида Петровна напоминала птицу съ подрѣзанными крыльями, которая всѣмъ существомъ своимъ хочетъ сорваться съ мѣста и улетѣть въ небо, но въ безсиліи изнемогаетъ. По ночамъ ее душили

кошмары; снилось, что ей необходимо куда-то бѣжать по спѣшному, не терпящему отлагательства дѣлу, отъ котораго зависитъ жизнь близкаго человѣка, но ее не пускаютъ, или что ей надо закричать о помощи, но нѣтъ голоса...

— Зина! проснись! Ты стонешь...—будилъ ее Владиміръ Николаевичъ.

— Боже мой, какъ тяжело, нехорошо!.. Опять кошмаръ...

Сонъ улетаетъ... Не спится, думается... А за окномъ шумитъ метель, желѣзный болтъ качается, жалобно скрипитъ и бьетъ въ стѣну...

И вдругъ къ завыванію метели, къ этому скрипу и стуку подъ окномъ и на крышѣ примѣшиваются всхлипыванія потихоньку плачущей Зинаиды Петровны.

— Зина! стыдно!

— Оставь, Володя!..

— Я думалъ, что въ тебѣ больше энергіи...

Скука, тоска, неудовлетворенный порывъ къ дѣятельности на первыхъ порахъ нашли себѣ выходъ въ безчисленныхъ письмахъ Зинаиды Петровны къ друзьямъ въ столицу. Каждый вечеръ она садилась къ столу и до глубокой ночи ея худощавая рука съ тонкими пальцами мелкимъ почеркомъ бѣгала по листамъ почтовой бумаги... Но—увы! столичные друзья были слишкомъ заняты, чтобы отвѣчать такъ же пространно, часто и охотно, какъ писала Зинаида Петровна изъ Лаишева. Въ сущности Зинаида Петровна сдѣлалась отрѣзаннымъ ломтемъ, умерла для интересовъ и дѣла столичной жизни. Отвѣтныя письма были кратки, рѣдки и скоро совершенно оборвались. Даже близкій другъ Зинаиды Петровны замолкъ и сталъ отдѣлываться лаконическими сообщеніями. Эти записочки начинались неизбѣжнымъ извиненіемъ за долгое молчаніе и кончались неизбѣжнымъ обѣщаніемъ написать въ слѣдующемъ письмѣ подробнѣе...

Владиміръ Николаевичъ былъ въ этомъ отношеніи счастливѣе: онъ писалъ рѣдко, но всегда по дѣлу, которымъ интересовались адресаты, и потому получалъ очень скоро обстоятельные отвѣты. Переписка эта, впрочемъ, была лишена лирическихъ изліяній и касалась лишь его статей, новыхъ книгъ, выясненія нѣкоторыхъ разногласій съ товарищами по журналистикѣ...

Здѣсь Владиміръ Николаевичъ еще больше ушелъ въ работу и только бѣсился, что въ Лаишевъ не переѣхала вмѣстѣ съ нимъ Императорская публичная библіотека, въ которой онъ нуждался часто до зарѣза, да изрѣдка ворчалъ, что не съ кѣмъ потолковать по своей спеціальности.

— Хоть бы еще кого-нибудь изъ нашей компаніи сюда командировали... Зина, ты, право, наводишь тоску... Я не могу сосредоточиться на цифрахъ. Займись чѣмъ-нибудь,—говорилъ онъ, видя, что жена слоняется по пустымъ комнатамъ и томится скукою.

— Что мнѣ здѣсь дѣлать?

— Ну, переводи хоть что-нибудь!

— Съ тарабарскаго языка, что ли, прикажете переводить?... Ахъ, куда бы пойти!..—со стенаніемъ восклицала Зинаида Петровна.

Увы! Въ Лаишевѣ, гдѣ не только всѣ обыватели, но даже и всѣ собаки прекрасно знали другъ друга, у Промотовыхъ было единственное знакомое семейство—вольнопрактикующаго врача Жегунова.

— Ну, сходи опять къ Жегуновымъ!—предлагалъ Владиміръ Николаевичъ.

— Брр! не выношу. Мнѣ хочется говорить имъ дерзости и больше ничего. Эта мѣщанская обстановочка, буржуазная примиренность съ обстоятельствами, позволяющая имъ пользоваться благами съ сознаніемъ своихъ правъ на это... Самодовольство!.. Не хочу! не пойду!

Когда-то Жегуновы работали среди народа:—онъ вольнопрактикующимъ врачомъ въ селахъ и деревняхъ,

она акушеркой и оспопрививательницей; когда-то дѣятельность молодыхъ Жегуновыхъ описывалась въ газетахъ, отмѣчалась, какъ разрѣшеніе вопроса „объ обязанностяхъ интеллигенціи“, но это было очень давно. Работа среди народа продолжалась года два-три. Умеръ отецъ Жегунова, священникъ одной изъ двухъ мѣстныхъ церквей, и оставилъ сыну домикъ съ садомъ и огородомъ плюсъ небольшой капиталецъ; Жегуновы переселились въ этотъ домикъ и расплодили ребятишекъ, онъ устроилъ у себя небольшую аптечку, прибилъ къ воротамъ вывѣску: „докторъ, бѣдныхъ безплатно“ и сталъ лѣчить отъ разныхъ недуговъ мѣстное купечество, духовенство, окрестныхъ помѣщиковъ и мѣщанъ, зарабатывая до полутора тысячъ въ годъ, а она возилась съ ребятами, въ свободное же время дѣлала для больныхъ бинты, шила для погорѣльцевъ рубашечки... И оба они чувствовали полное нравственное удовлетвореніе, словно бѣдные больные только для того и хворали, чтобы Жегуновъ могъ лѣчить ихъ безплатно, а погорѣльцы только для того и горѣли, чтобы жена его могла шить ихъ ребятишкамъ кумачевыя рубашки...

— Здѣсь, Зина, не изъ кого выбирать... Хорошо, что хотя Жегуновы-то имѣются... Все-таки—живые люди, можно хоть словомъ-то перекинуться.

— Мертвые! не хочу! не хочу!

Однако побунтовалась Зинаида Петровна годъ, а на второй стала стихать: занялась переводами, стала писать въ столичныя газеты корреспонденціи, заимствуя матеріалъ изъ отчетовъ и докладовъ мѣстнаго земства. Они выписали нѣсколько толстыхъ журналовъ и газетъ и жадно ждали вторниковъ и субботъ—дней, въ которые приходила зимою въ Лаишевъ почта. Весна и лѣто въ Лаишевѣ, на берегу красивой и глубокой Камы, имѣли такую прелесть, что на это время скука и одиночество исчезали, тѣмъ болѣе, что къ Промотовымъ

наѣзжали друзья—больные нервами столичные интеллигенты—отдохнуть и поправиться вдали отъ суетнаго міра. Черезъ два года жизни въ Лаишевѣ Зинаида Петровна пополнѣла, похорошѣла, на блѣдномъ прежде лицѣ ея заигралъ румянецъ, мигрени прекратились...

Три года тому назадъ, лѣтомъ, появился въ Лаишевѣ и Евгеній Алексѣевичъ, познакомился съ Промотовыми и съ ихъ гостями и все лѣто прожилъ съ ними въ тѣсномъ общеніи. Они читали вмѣстѣ журналы, катались на лодкѣ, ѣздили въ луговую сторону за цвѣтами и ловили рыбу. Даже Зинаида Петровна начала ловить рыбу...

— Клюй! клюй! клюй!—нетерпѣливо кричала она, когда сидѣніе на берегу рѣки, въ ожиданіи трепета поплавка, вдругъ страшно надоѣдало ей, — и начинала шалить удилищемъ, мѣшая сосѣднимъ рыболовамъ.

Но прошло три года,—и Промотовы снова забили крыльями, чтобы вылетѣть изъ Лаишева, и на этотъ разъ попытка ихъ увѣнчалась успѣхомъ: имъ разрѣшили переселиться въ губернскій городъ N. „для совмѣстной съ родственниками жизни“, т. е. съ тѣмъ самымъ Захаромъ Петровичемъ Рябчиковымъ, который изображалъ въ живыхъ картинахъ Бисмарка и который имѣлъ съ Промотовыми столько же общаго, сколько и съ самимъ подлиннымъ Бисмаркомъ. Это счастье усугубилось еще однимъ неожиданнымъ событіемъ въ ихъ жизни: въ Одессѣ умеръ одинъ неизвѣстный имъ господинъ, оказавшійся дядей Владиміра Николаевича, и оставилъ племяннику на память десять тысячъ наслѣдства...

— Владиміръ! Мы теперь изъ марксистовъ превратились въ капиталистовъ, — смѣялась счастливая Зинаида Петровна и создавала десятки плановъ, какъ они устроятся въ новомъ городѣ, что будутъ дѣлать и какъ употребятъ деньги.

— Три тысячи мы отложимъ... Можетъ, у насъ еще

родится ребенокъ,—улыбаясь тихой улыбкою, прошептала Зинаида Петровна, покраснѣла и потупилась...

— А остальныя,—продолжала она,—употребимъ на какое-нибудь хорошее дѣло... Ахъ, если бы опять—въ Питеръ! Тогда ты бы могъ сдѣлаться редакторомъ какого-нибудь журнала, а я... я хоть секретаремъ!—весело мечтала она, укладывая вещи къ скорому выѣзду изъ Лаишева.

XV.

Захаръ Петровичъ Рябчиковъ, исполнивъ въ живыхъ картинахъ Бисмарка, снова почилъ на лаврахъ... Облачившись въ бухарскій халатъ, онъ ходилъ въ туфляхъ по комнатамъ, растрепанный, съ пухомъ на головѣ, съ заспанными, заплывшими глазами, не зная, чѣмъ бы ему заняться. Шлепанье его худыхъ, стоптанныхъ туфель, отскакивающихъ отъ пятокъ, уныло разносилось по комнатамъ и, долетая до слуха всегда занятой хлопотливой Глафиры Ивановны, раздражало эту сырую полную женщину. Столкнувшись въ дверяхъ съ женою, Захаръ Петровичъ сдѣлалъ виноватый книксенъ и посторонился.

Жена разсердилась и произнесла свое обычное изреченіе:

— Нѣтъ ничего несноснѣе, когда мужчина вашихъ лѣтъ цѣлый день болтается безъ дѣла. Видѣть не могу!..

— Не смотрите, сдѣлайте такое одолженіе.

— Противно, Захаръ Петровичъ.

— Я, кажется, Глафира Ивановна, вамъ не мѣшаю? Ну, и оставьте меня въ покоѣ!

Когда Глафира Ивановна скрылась, Захаръ Петровичъ заложилъ опять обѣ руки за спину и, насвистывая „Ивушку“, въ тактъ пѣснѣ зашлепалъ туфлями, двинувшись по направленію къ дѣтской. Здѣсь, на

желтомъ крашеномъ полу, ползали двое ребятъ, Коля и Толя; они играли въ свинки и хрюкали, толкая другъ друга головками; третья, дѣвочка Мимочка, стояла тутъ же, закусивъ пальчикъ, и съ живымъ любопытствомъ слѣдила за братьями.

Захаръ Петровичъ всталъ и тоже сталъ наблюдать за игрой.

— Толя! Анатолій!

— Что, папочка?

— А ты сдѣлай изъ пояса хвостикъ! У свиней, милый, всегда бываетъ хвостикъ... да! Крючкомъ! Поди сюда.

Коля и Толя вскочили на ноги, и Захаръ Петровичъ устроилъ Толѣ хвостикъ.

— И мнѣ, папочка! и мнѣ!..

— И мнѣ! — пискнула дѣвочка, подпрыгнувъ отъ восторга на своихъ тонкихъ ножкахъ.

Но въ это время появилась, какъ deus ex machina, сердитая Глафира Ивановна, и опять — наставленіе.

— Будетъ вамъ, Захаръ Петровичъ, пустяками-то заниматься! Какъ не стыдно? удивительно!

Послѣднее слово было сильно растянуто и подчеркнуто, и это слово сконфузило Захара Петровича. „У-ди-ви-тельно!“ — еще разъ повторила въ другой комнатѣ Глафира Ивановна, и было слышно, какъ она энергично плюнула на полъ. Захаръ Петровичъ оставилъ хвостики. Махнувъ рукой, онъ бросилъ ребятъ и медлительной походкой вышелъ изъ дѣтской. Въ гостиной онъ остановился около того мѣста, гдѣ плюнула жена, и сталъ разговаривать самъ съ собою:

— Въ углу стоитъ плевательница, а онѣ изволятъ харкать чуть не на коверъ... Это—жена потомственнаго дворянина! Вотъ это, дѣйствительно, удивительно!..

Захаръ Петровичъ съ сердцемъ затеръ подошвою туфли плевокъ на полу. Раза два Захаръ Петровичъ прошелся по гостиной, поправилъ абажуръ на лампѣ, стоявшей на преддиванномъ столѣ, и обратилъ внима-

ніе на горничную Палашу, протиравшую тряпкой запотѣвшія стекла оконъ. Хищно посмотрѣлъ онъ на голыя полныя руки Палаши и сталъ снова прохаживаться взадъ и впередъ, съ каждымъ рейсомъ приближаясь къ горничной. Наконецъ Захаръ Петровичъ былъ уже такъ близко, что могъ потыкать пальцемъ въ упругую мякоть Палашиной руки.

— Оставьте, баринъ! Я барынѣ скажу,—сердито прошептала Палаша, не отрываясь отъ работы.

— Какіе однако у тебя мускулы! рѣдкость!—серьезно, съ оттѣнкомъ нѣкоторой научной объективности, произнесъ Захаръ Петровичъ, отступая на приличную дистанцію.

— Что вы пристаете?

— Тра-ра-бумъ-бумъ!..—запѣлъ Захаръ Петровичъ, стараясь заглушить ропотъ Палаши своимъ голосомъ, и тихо направился въ залъ. Здѣсь онъ остановился посреди комнаты и сталъ размышлять о томъ, не лучше ли будетъ картину „Майское утро“ повѣсить на то мѣсто, гдѣ виситъ „Дѣвушка съ цвѣткомъ“, а „Дѣвушку“ повѣсить на мѣсто „Утра“? Постоявъ въ раздумьѣ минутъ пять, Захаръ Петровичъ пошелъ въ кухню, разбилъ тамъ банку со сметаной и принесъ молотокъ. Подставивъ къ „Дѣвушкѣ“ стулъ, онъ залѣзъ на него и началъ приводить въ исполненіе взбредшій ему въ голову планъ. Стукъ молотка, сопровождаемый звономъ стекляннаго шкафа съ бездѣлушками, встревожилъ Глафиру Ивановну, и она не замедлила прибыть впопыхахъ на мѣсто происшествія.

— Часъ отъ часу не легче! Что еще придумали? Зачѣмъ?

Захаръ Петровичъ повернулъ отъ стѣны свою покраснѣвшую отъ напряженія физіономію и, увидя жену, нѣсколько смутился.

— Я думаю, душечка, повѣсить „Дѣвушку“ вотъ тамъ, а здѣсь „Майское утро“...

— Это зачѣмъ понадобилось вамъ?

— Очень естественно: „Дѣвушка“ смотритъ сюда, свѣтъ падаетъ отсюда...—началъ Захаръ Петровичъ, жестикулируя молоткомъ.

— Ну хорошо, дѣлайте!. только ради Бога займитесь чѣмъ-нибудь...

Глафира Ивановна ушла, и Захаръ Петровичъ, посвистывая, принялся за работу.

Захаръ Петровичъ принадлежалъ къ той породѣ мужей, которые, какъ паразиты, состоятъ при женахъ. Присосался такой паразитъ къ Глафирѣ Ивановнѣ и висѣлъ, не столько вредилъ здоровью, сколько безпокоилъ, раздражалъ эту по природѣ спокойную и невозмутимую женщину. По происхожденію своему Захаръ Петровичъ былъ однимъ изъ потомковъ нѣкогда богатой и извѣстной фамиліи дворянъ Рябчиковыхъ, но кромѣ герба своей фамиліи--щитъ, зеленое поле и на немъ мечъ—рѣшительно ничего не имѣлъ. Покойные родители доѣли послѣднія крохи и разсовали своихъ дѣтей въ разныя учебныя заведенія на казенный счетъ. Захарушка попалъ въ корпусъ. Пощеголявъ года три-четыре подпоручикомъ въ N., Захаръ Петровичъ влюбился въ Глафиру Ивановну и, выйдя въ отставку съ чиномъ поручика, женился. Женился онъ, по собственному его выраженію, удачно, ибо за Глафирой Ивановной числился порядочный домикъ съ флигелемъ.

Сдѣлавшись совершенно неожиданно домовладѣльцемъ, Захаръ Петровичъ надѣлъ фуражку съ краснымъ околышемъ и почилъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ. Сперва онъ подумывалъ было о карьерѣ, о службѣ по выборамъ, но почему-то все откладывалъ сопряженныя съ этимъ хлопоты. Года три послѣ женитьбы онъ наслаждался мирнымъ семейнымъ счастьемъ подъ прикрытіемъ „каменнаго двухъ-этажнаго, съ мезониномъ“, поигрывалъ съ квартирантами въ винтъ по маленькой и пилъ въ садикѣ чай со свѣжимъ варенъемъ и свѣжимъ номеромъ

„Гражданина“ — газетой, которую Захаръ Петровичъ выписывалъ, такъ сказать, по наслѣдственности.

— А ну-ка, что пишетъ князь? — говаривалъ онъ, развертывая пахнувшій типографскою краскою номеръ „Гражданина“, и ставилъ въ упрекъ князю одно обстоятельство: зачѣмъ онъ печатаетъ газету сзади впередъ...

— У всѣхъ впередъ, а у него назадъ... Оригинальнѣйшій человѣкъ!..

Внимательно перечитывая „Гражданина“, Захаръ Петровичъ все болѣе и болѣе убѣждался, что дворянинъ долженъ имѣть обязательно землю и что не сегодня-завтра безпомѣстные помѣщики—въ томъ числѣ и онъ, конечно—будутъ снабжены отъ казны приличными имѣніями.

— Ну какой я, позвольте спросить, дворянинъ, когда у меня нѣтъ земельныхъ угодій? — повторялъ Захаръ Петровичъ въ гостяхъ у квартирантовъ, когда рѣчь заходила о трудности жизни въ наши времена. — Какую мы можемъ оказать поддержку, когда разорвана исконная связь наша съ почвой? Мы—безпочвенны-съ!—горячился онъ и при этомъ такъ убѣжденно пристукивалъ кистью руки, побивая взятку партнера, что тотъ вздрагивалъ, откидывался на спинку стула и смущенно произносилъ:

— Это конечно-съ...

Время шло, а Захаръ Петровичъ никуда не поступалъ. А затѣмъ, когда появились дѣти, Захаръ Петровичъ со спокойной совѣстью заявилъ женѣ, что дѣти вещь очень важная и настолько важная, что онъ думаетъ отдать себя всецѣло дѣтямъ и заняться ихъ воспитаніемъ, а остатокъ времени посвящать хозяйственнымъ заботамъ по дому. И вотъ около шести лѣтъ уже, какъ Захаръ Петровичъ и занимается именно этими предметами. Воспитаніе дѣтей исчерпывается обученіемъ ихъ дѣлать свиные хвостики, показываніемъ имъ зайчиковъ, разныхъ фокусовъ и звонкими шлепками

съ приговариваніемъ: „разъ! два! три!“, а хозяйственныя работы и вовсе необременительны.

Въ жаркій лѣтній день Захаръ Петровичъ выйдетъ въ своемъ халатѣ на дворъ и, вставши посреди него, уставится въ небеса взоромъ.

— Тучка. Видно, дождичкомъ спрыснетъ,—глубокомысленно произнесетъ онъ и начнетъ отпихивать ногою подвернувшуюся старую подошву...

— Гаврила?

— Здѣсь! — глухо отвѣчаетъ откуда-то сиплый голосъ.

— Ты гдѣ?

— Въ хлѣву, баринъ.

— Что тамъ дѣлаешь?

— Очистку произвожу, — отвѣчаетъ Гаврила, появляясь въ дверяхъ хлѣва съ лопатою въ рукахъ.

— Старайся, старайся!

— Конечно, ужъ постараемся...

— А какъ ты думаешь, Гаврила: будетъ дождикъ?

— А кто жъ его знатъ! Можетъ будетъ, а можетъ не будетъ...

— А хорошо бы это для хлѣбовъ?—освѣдомляется Захаръ Петровичъ, хотя у него нѣтъ никакихъ основаній безпокоиться о хлѣбахъ.

— Плохо ли? Теперь имъ самая пора наливаться...

— Слава Богу!.. А ты вотъ что: если сильный дождикъ польетъ,—почерпай поганымъ ведромъ изъ помойной-то ямы да подъ ворота полей: все смоетъ...

— Я и такъ, баринъ, каждый разъ лью... Восейка почитай наполовину вычерпалъ... Если бы фараонъ на дворъ не зашелъ, я все бы дочиста вычерпалъ...

— Все-таки, братецъ, поосторожнѣй! Кляузники.

— Ужъ это какъ есть!..

Если прибавить сюда полученіе денегъ съ квартирантовъ и объясненія съ полиціей, то вотъ и вся хозяйственная часть.

Итакъ, Захаръ Петровичъ приступилъ къ „Дѣвушкѣ“. Не успѣлъ онъ снять со стѣны „Дѣвушку“, какъ въ передней затрещалъ звонокъ. Захаръ Петровичъ испуганно соскочилъ со стула и бросилъ „Дѣвушку“.

— Не принимать! не принимать! — зашипѣлъ онъ вдогонку Палашѣ, завертывая полы халата.

Надо сказать, что самъ Захаръ Петровичъ въ гости ходить любилъ, но принимать ихъ у себя не долюбливалъ и обыкновенно приказывалъ Палашѣ говорить: „только сейчасъ ушли“.

Палаша вернулась и сообщила, что гости не уходятъ.

— Вотъ нахальство! – произнесъ Захаръ Петровичъ.

— Карточку вотъ дали, — сказала Палаша, передавая черезъ щель двери визитную карточку спрятавшемуся барину.

Захаръ Петровичъ прочиталъ ее и остолбенѣлъ отъ удивленія и ужаса: пріѣхали Промотовы, сестрица съ мужемъ, которыхъ онъ считалъ если не повѣшенными, то во всякомъ случаѣ заточенными пожизненно въ какую-нибудь подземную тюрьму.

— Что же, пустить ихъ, что ли?—спросила Палаша.

Вмѣсто отвѣта Захаръ Петровичъ замахалъ обѣими руками и побѣжалъ къ женѣ въ кухню.

— Радуйся! Нигилисты пріѣхали! Этого еще не доставало ..

Сказалъ, сунулъ визитную карточку въ руки жены и остановился, нахмуривъ брови, въ вопросительной и даже обвинительной позѣ.

— Зинаида Петровна съ мужемъ... Какой случай!.. Гдѣ же они? Поди займи ихъ... Я сейчасъ, только причешусь, — растерянно заговорила Глафира Ивановна и стала отдавать наскоро распоряженія кухаркѣ.

Захаръ Петровичъ махнулъ рукой и пошелъ. „Какъ бы съ ними еще въ какую-нибудь исторію не попасть“,—думалъ онъ.

— Отопри! Проси въ залу. Я сейчасъ, одѣнусь... — сказалъ онъ Палашѣ тономъ непріятной необходимости и, хлопнувъ пятками туфель, проворно скрылся за дверью спальной.

Палаша провела Промотовыхъ въ залъ.

Владиміръ Николаевичъ никогда не видалъ своихъ родственниковъ и совершенно равнодушно ожидалъ ихъ появленія; онъ разсматривалъ брошенную „Дѣвушку", смотрѣлъ чрезъ окно на улицу, подходилъ къ „Майскому утру". Зинаида Петровна немного волновалась; она не видала брата лѣтъ двѣнадцать и лѣтъ пять не получала отъ него никакихъ извѣстій. Когда Зинаида Петровна была пятнадцатилѣтнимъ подросткомъ и училась въ одной изъ московскихъ гимназій, братъ пріѣзжалъ изъ провинціи вмѣстѣ съ молодой женой. Но это было такъ давно, что въ памяти осталось очень немного. Зинаида Петровна помнитъ, какъ они сидѣли въ пріемной и не знали, о чемъ говорить другъ съ другомъ. Захаръ Петровичъ осматривалъ потолки, стѣны и изрѣдка задавалъ ей вопросы о томъ, добры ли учителя, что имъ задали изъ географіи, что даютъ на третье, а Глафира Ивановна поправляла ей бѣлый передникъ и осматривала косу. Судя по письмамъ, которыя она впослѣдствіи получала отъ брата и его жены,—это были люди совсѣмъ другіе, совсѣмъ чужіе ей и тому кругу знакомыхъ, въ который ее толкнулъ случай. Когда Зинаида написала брату, что она поступаетъ на Бестужевскіе курсы, братъ отвѣтилъ ей, что всѣ эти курсы для порядочной дѣвушки ненужны, что это только глупая мода—поступать на эти курсы, и что было бы лучше оставить эту затѣю. Зиночка ничего не отвѣтила, и съ тѣхъ поръ между ними все было покончено. Отъ постороннихъ лицъ Рябчиковы узнали, что Зина вышла замужъ, что потомъ они „попались" и исчезли изъ Петербурга...

— Я такъ и зналъ! — сказалъ Захаръ Петровичъ и

собственноручно сжегъ въ печкѣ всѣ уцѣлѣвшія письма Зиночки, а портретъ ея вынулъ изъ альбома и изорвалъ въ клочки.

Но вотъ и Захаръ Петровичъ. Онъ былъ одѣтъ въ черную сюртучную пару, и лицо его было довольно сухо и пасмурно.

— Не ожидалъ, не ожидалъ...—заговорилъ онъ, цѣлуясь съ сестрою.

— Это мой мужъ, Владиміръ Николаевичъ, — отрекомендовала Зинаида Петровна.

— Очень пріятно... Весьма радъ... Не имѣлъ еще удовольствія видѣть...

— Да, никогда не видѣлись,—отвѣтилъ, раскланиваясь, Владиміръ Николаевичъ.

Захаръ Петровичъ искоса посматривалъ на Промотова и удивлялся: онъ думалъ встрѣтить настоящаго нигилиста, въ красной рубахѣ, въ большихъ сапогахъ, грязнаго и угловатаго,—какъ онъ представлялъ себѣ всѣхъ „этакихъ господъ“ по прочитанному имъ „Панургову стаду“,—а передъ нимъ былъ очень изящно одѣтый господинъ, съ отмѣнными манерами, въ безукоризненно чистой крахмальной рубахѣ и бѣломъ галстухѣ бантомъ, въ золотомъ пенснэ и даже надушенный... Только волосы какъ будто бы немного длинноваты, а то прямо—свѣтскій человѣкъ.

— Гдѣ изволите служить?—спросилъ Захаръ Петровичъ, заранѣе увѣренный, что такіе господа нигдѣ служить не могутъ...

Такъ и есть!

— Я нигдѣ не служу... Занимаюсь журналистикой.

— Корреспонденціи пописываете?

— Н... нѣтъ... Занимаюсь больше научными вопросами.

— Мы съ нимъ — свободные художники! — весело пояснила Зинаида Петровна.

— Что же, проѣздомъ въ нашемъ городѣ?

— Нѣтъ. Жить пріѣхали.

Захаръ Петровичъ смутился. Онъ испугался, какъ бы родственники, да еще изъ „такихъ господъ“, не напросились на даровую квартиру въ его домѣ.

— Городъ отвратительный, — сказалъ онъ, — жизнь очень дорога, къ квартирамъ приступу нѣтъ... Да оно и понятно: домовладѣльцы обременены массою всякихъ налоговъ... За собаку платимъ по рублику въ годъ! Столько налоговъ, что жмешься, жмешься и поневолѣ набавишь цѣны на квартиры...

— А у васъ, кажется, пустая квартира есть? Я видѣла на воротахъ билетикъ... — сказала Зинаида Петровна.

Такъ и есть!

— Сдана, сдана!.. Только сейчасъ передъ вашимъ приходомъ сдали... Ну что бы вамъ часикомъ пораньше притти? Было бы очень пріятно, этакая жалость...

Въ этотъ моментъ вошла Глафира Ивановна. Когда она поздоровалась съ гостями, Захаръ Петровичъ сказалъ:

— Вотъ, Глашенька, какая досада, что мы только что сдали мезонинъ!..

Глафира Ивановна удивленно взглянула на мужа, тотъ взглянулъ на нее, и они поняли другъ друга.

— Вотъ бы имъ и квартирка! Ахъ, какая досада...

— Да, да... Только что сдали. И задатокъ взяли. Если бы еще не взяли задатка, можно было бы отказать,— подхватила сообразительная Глафира Ивановна.

— Неловко, душа моя. Этого я не люблю. Мое слово — свято.

— А вы, кажется, тутъ Бисмарковъ изображаете?— улыбаясь, спросила Зинаида Петровна.

— Вы представить себѣ не можете, какъ Захаръ былъ похожъ на Бисмарка! — воскликнула Глафира Ивановна и стала разсказывать о бывшихъ живыхъ картинахъ, о которыхъ Промотовы были уже понаслы-

шаны отъ коридорнаго Ваньки... Потомъ Захаръ Петровичъ осторожно бесѣдовалъ съ Владиміромъ Николаевичемъ о прошломъ, желая какъ-нибудь исподволь, стороной, натолкнуть собесѣдника на чистосердечное признаніе... Глафира Ивановна говорила съ сестрой. Когда Зинаида Петровна сообщила ей о полученіи десяти тысячъ наслѣдства, Глафира Ивановна всплеснула руками, ахнула и расцѣловала ее, поздравляя съ такимъ счастьемъ.

— Слышалъ, Захаръ?—обратилась Глафира Ивановна къ мужу,—они получили наслѣдство! десять тысячъ!

— Какъ? что? Какое наслѣдство? сколько?—быстро заговорилъ Захаръ Петровичъ.

— Десять тысячъ.

— Сумма значительная, — замѣтилъ Захаръ Петровичъ, у котораго сейчасъ же блеснула мысль: „чѣмъ кланяться да просить у чужихъ, на что лучше—перехватить деньжатъ для взноса процентовъ въ банкъ у сестрицы“.

— Вы, конечно, обѣдаете у насъ?.. — сказалъ онъ, раскрывая передъ Владиміромъ Николаевичемъ свой серебряный портсигаръ.

— Мы заказали уже обѣдъ въ гостиницѣ...

— Пустяки! сущіе пустяки! не можетъ быть и разговора... Въ нашихъ гостиницахъ только катарры получать...

Захаръ Петровичъ всталъ съ кресла и пошелъ распорядиться насчетъ вина и пирожнаго.

— Скажите, какое счастье!.. да... Гдѣ же... гдѣ же... вы жили?.. въ... Сибири? — тихо и смущенно спросила Глафира Ивановна, которую давно уже подмывало узнать, какъ они вырвались изъ рукъ смерти.

— Въ Сибири мы никогда и не были... Съ чего это вы взяли? Мы жили въ Лаишевѣ,—отвѣтила Зинаида Петровна.

— Скажите, пожалуйста!.. А наболтали, Богъ знаетъ,

чего... Захаръ! они, оказывается, жили въ Лаишевѣ, а въ Сибири никогда и не были! — радостно сообщила Глафира Ивановна вошедшему въ залъ мужу.

— Не были? А мнѣ наговорили, чортъ знаетъ, какихъ вещей. Глашенька! Поди распорядись насчетъ селедочки. Мы на радостяхъ выпьемъ...

— Знаю, знаю безъ тебя...

XVI.

Редакторъ-издатель „Вѣстника“, Борисъ Дмитріевичъ Сорокинъ, уже нѣсколько дней былъ молчаливъ, отказывалъ сотрудникамъ въ авансахъ и кричалъ на ментраппажа и конторщиковъ. То и дѣло онъ исчезалъ изъ редакціи, мыкался по городу на извозчикахъ и возвращался еще молчаливѣе, занятый преслѣдующей его idée fixe: какъ возстановить добрыя отношенія съ властями и съ вѣсъ имѣющими обывателями, а главное: гдѣ достать денегъ?

Борисъ Дмитріевичъ былъ обстрѣленной птицей, не любилъ унывать и умѣлъ прекрасно извертываться въ критическія минуты жизни. Сколько разъ газета висѣла на волоскѣ, и выходъ слѣдующаго номера оставался подъ сомнѣніемъ, однако всегда дѣло обходилось благополучно: порыщетъ Борисъ Дмитріевичъ по городу и явится сіяющій и веселый... Номеръ выходитъ, гонораръ выдается, и все снова идетъ гладко. Борисъ Дмитріевичъ возрождался, какъ фениксъ изъ пепла.

Но наступили такіе дни, когда фениксъ долженъ былъ погибнуть. Надъ редакціей „Вѣстника“ собирались тучи, молнія, сверкая зигзагами, прорѣзывала обывательскій горизонтъ, громъ перекатывался въ отдаленіи... Тучи должны были разразиться грозой, съ вѣтромъ и ливнемъ... Борисъ Дмитріевичъ ломалъ голову, изобрѣтая громоотводъ, но вся изобрѣтательность

редактора изсякла: онъ былъ въ положеніи крыловскаго волка, которому некуда было спрятаться отъ враговъ... Правда, враговъ у Бориса Дмитріевича было всегда много, но зато было и нѣсколько друзей, выручавшихъ его въ трудную минуту. Теперь не стало совсѣмъ друзей: они перешли въ лагерь враговъ. Борисъ Дмитріевичъ потерялъ голову, энергію и изворотливость. Его красивое лицо какъ-то обвисло, бобрикъ съ сѣдинкой въ головѣ стоялъ дыбомъ, около губъ легли складки страданія...

И какъ все это неожиданно и быстро случилось!..

Первая непріятность вышла чрезъ объявленіе. Недѣли двѣ тому назадъ въ контору редакціи пришелъ какой-то субъектъ и сдалъ объявленіе на первую страницу: „За ненадобностью продается пальто на красной подкладкѣ, спросить“ — слѣдовалъ подробный адресъ: улица, домъ, № квартиры. Конторщикъ не обратилъ на это объявленіе никакого вниманія, потому что вообще зарываться въ отношеніи объявленій было не принято, а было въ обычаѣ всякому объявленію радоваться. Не обратила на это объявленіе никакого вниманія и цензурная власть (объявленія цензируются полиціей); оно появилось, а на другой день въ редакцію влетѣлъ, какъ раненый тигръ, Николай Николаевичъ Турбинъ, управляющій акцизными сборами, и потребовалъ личнаго свиданія съ редакторомъ.

— Имѣю честь кланяться,— любезно встрѣтилъ его Борисъ Дмитріевичъ въ своемъ кабинетѣ, всталъ ему навстрѣчу и протянулъ было ему руку, чтобы поздороваться и спросить о здоровьѣ супруги.

— Статскій совѣтникъ Турбинъ! — сухо произнесъ Николай Николаевичъ, отстраняя свою руку и давая такимъ образомъ понять, что между ними не можетъ быть личныхъ отношеній, особливо хорошихъ.

— Чѣмъ могу служить?—спросилъ въ свою очередь огорошенный редакторъ.

— Объясните, милостивый государь, что вотъ это значитъ?— повысивъ голосъ, спросилъ Турбинъ и вынувъ изъ кармана номеръ „Вѣстника“, ткнулъ пальцемъ въ то самое объявленіе, о которомъ говорилось выше.

— Что значитъ... Ничего особеннаго не значитъ. Я васъ не понимаю.

— Не понимаете? Я, милостивый государь, долженъ вамъ сообщить, что за подобныя вещи... бьютъ по физіономіи...

— Прошу быть осторожнѣе въ выраженіяхъ!—нервно закричалъ Борисъ Дмитріевичъ. — Я требую удовлетворенія!.. Если вы не возьмете своихъ словъ назадъ, я... я...

— Назадъ? Я вамъ покажу „назадъ“. Я сейчасъ ѣду къ губернатору... Это... это... издѣвательство! — визгливо выкрикнулъ Турбинъ и, хлопнувъ дверью, ушелъ.

Только теперь Борисъ Дмитріевичъ понялъ, въ чемъ дѣло: какой-то обыватель, желая подшутить надъ несбывшимися мечтами Турбиныхъ получить къ Пасхѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника, самымъ безцеремоннымъ образомъ подвелъ газету: въ объявленіи о продажѣ за ненадобностью пальто на красной подкладкѣ была указана квартира Н. Н. Турбина.

Борисъ Дмитріевичъ былъ вызванъ къ губернатору. Генералъ имѣлъ уже зубъ противъ Бориса Дмитріевича за помѣщеніе въ одномъ номерѣ газеты двухъ отчетовъ: по вечеру въ пользу общества „Мизерикордія“ и по спектаклю въ пользу слѣпыхъ (мина Елены Михайловны), поэтому жалоба Турбина подлила лишь въ огонь масла.

— Я давно уже замѣчалъ нежелательное у васъ направленіе, — строго началъ генералъ,—и теперь рѣшилъ принять мѣры къ обузданію. Подобныя продѣлки, господинъ редакторъ, терпимы быть не могутъ... Я заставлю васъ уважать людей, окредитованныхъ довѣріемъ высшихъ властей...

И когда Борисъ Дмитріевичъ началъ было разъяснять, что его ввели въ мистификацію, генералъ, не разобравъ дѣла, вскипѣлъ:

— Какая мистификація? Кто можетъ вводить меня въ мистификацію? Что за вздоръ!..

— Позвольте, ваше превосходительство, разъяснить...

— Прошу слушать!.. да... Я, милостивый государь, самъ—другъ прессы, но прессы серьезной, помогающей мнѣ работать, а... а... а...

Генералъ началъ въ сердцахъ заикаться; этимъ моментомъ рѣшилъ воспользоваться Борисъ Дмитріевичъ:

— Меня, ваше превосходительство, обманули... Вся вина моя въ недоглядкѣ, — торопливо вставилъ онъ, пока генералъ тянулъ „а... а... а...“

— А... а... прекрасно! недоглядка! У васъ скоро по недоглядкѣ начнутъ печатать прокламаціи, пасквили на меня... Я долженъ буду сообщить въ главное управленіе по дѣламъ печати...

— Какъ вамъ будетъ угодно, — смиренно отвѣтилъ Борисъ Дмитріевичъ и этимъ только сильнѣе раздражилъ генерала.

— Угодно! Угодно, чтобы вы оставили редакторское кресло. Вы, милостивый государь, не на своемъ мѣстѣ. Больше вы мнѣ не нужны...

Наталья Дмитріевна стояла въ сосѣдней съ кабинетомъ мужа комнатѣ и съ улыбкой удовольствія слушала эту распеканцію. Когда генералъ, красный, взволнованный, вышелъ изъ кабинета, чтобы пройти въ столовую и выпить стаканъ воды, Наталья Дмитріевна обвила его полную шею руками и поцѣловала въ лобъ.

— Хорошо! вы мнѣ нравитесь...

— Постой, Наташа, пусти!.. Я не могу вздохнуть... Уфъ! страшно взволновался... Удивительные господа: какъ только немного распустишь вожжи — кончено! Я ему говорю, что такъ нельзя, а онъ мнѣ: „какъ вамъ будетъ угодно“...

Они пришли въ столовую и сѣли. Генералъ налилъ стаканъ воды и жадными глотками сталъ пить, показывая свой мясистый подбородокъ.

— У меня была сейчасъ Ольга Семеновна... Она просто убита этимъ оскорбленіемъ... Къ нимъ въ квартиру лѣзутъ татары, жиды и требуютъ показать пальто на красной подкладкѣ. Пришлось поставить людей у всѣхъ дверей...

— Этакое безобразіе!—прохрипѣлъ генералъ.

— И надо проучить. Закрой „Вѣстникъ“! Что съ ними церемониться? Ты можешь закрыть?

— Это ужъ... крайности... Могу, конечно... но неудобно. Во всякомъ случаѣ Сорокинъ не на своемъ мѣстѣ...

Такъ началось.

Борисъ Дмитріевичъ ѣздилъ искать опоры къ головѣ Картошкину, къ Волчанскому, къ Еленѣ Михайловнѣ и еще къ одной опереточной примадоннѣ, Семирамидиной, которая, по окончаніи зимняго сезона, осталась пожить въ N—скѣ и которая, какъ говорили въ городѣ, пользовалась большимъ вниманіемъ его превосходительства... Борисъ Дмитріевичъ понималъ, что было бы всего вѣрнѣе обратиться къ покровительству Натальи Дмитріевны, но заявиться къ ней послѣ такого пріема, какой былъ ему оказанъ генераломъ, Борисъ Дмитріевичъ не рѣшился...

Всѣ дамы обѣщали ему содѣйствіе, особенно же примадонна Семирамидина, объ игрѣ и голосѣ которой „Вѣстникъ“ всегда отзывался съ большой похвалою,— и Борисъ Дмитріевичъ немного успокоился и сталъ было приходить въ свое обычное игривое настроеніе... Какъ вдругъ — новый ударъ и ударъ съ той стороны, которая оказалась наиболѣе чувствительной...

Занятый умиротвореніемъ генерала, Борисъ Дмитріевичъ не могъ уже внимательно уходить въ чтеніе сводки номера и пробѣгалъ ее поверхностно, обращая главнымъ образомъ вниманіе на злополучныя объявле-

нія, откуда раздался первый громъ... А между тѣмъ новый ударъ послѣдовалъ совсѣмъ не оттуда...

Репортеръ подсунулъ въ хронику замѣтку петитомъ „Нѣчто о собакахъ“. Въ этой замѣткѣ сообщалось, что въ городѣ масса бродячихъ собакъ и что собаколовы стоятъ не на высотѣ своего призванія: собакъ, со значками уплаченнаго налога ловятъ, а собакъ безъ этихъ значковъ, оставляютъ часто на свободѣ...

Пробѣжавъ начало замѣтки, Борисъ Дмитріевичъ перешелъ къ другой, не подозрѣвая здѣсь никакой опасности, а между тѣмъ вся соль-то замѣтки и была всыпана репортеромъ въ конецъ; въ подтвержденіе небрежности собаколововъ, репортеръ привелъ фактъ—указалъ на принадлежащаго городскому головѣ Картошкину датскаго дога, который разгуливаетъ по городу не только безъ собачьей медали, но даже и безъ намордника, за что преслѣдуются другія собаки. „Что сей сонъ означаетъ?“—патетически восклицалъ репортеръ въ послѣднемъ своемъ словѣ.

И скоро выяснилось, что означалъ сей сонъ...

Надо сказать, что городской голова Картошкинъ, богатый фабрикантъ съ высшимъ образованіемъ, съ блескомъ порядочности настоящаго европейскаго буржуа, всегда разыгрывалъ роль мецената гласности, свободы слова, расширенія сферъ самоуправленія и т. д., одно время онъ поднималъ даже вопросъ о второй газетѣ въ N—скѣ, но дѣло не выгорѣло, ибо вопросъ былъ найденъ преждевременнымъ. Къ „Вѣстнику“ Картошкинъ относился покровительственно, тѣмъ болѣе: что его называли тамъ не иначе, какъ нашимъ просвѣщеннымъ лордъ-мэромъ, а передъ выборами указывали на то, что лучшаго лордъ-мэра городъ не найдетъ, да и нельзя желать. Въ критическія минуты финансовыхъ затрудненій Картошкинъ никогда не отказывалъ Борису Дмитріевичу въ ссудѣ подъ вексель и никогда не торопилъ съ уплатой. Вообще это былъ самый видный

и самый полезный изъ немногихъ друзей газеты и ея редактора.

И вотъ „нѣчто о собакахъ“ испортило добрыя отношенія. Въ тотъ же день курьеръ городской управы сдалъ въ редакцію письмо головы съ собственноручной помѣткою генерала: „напечатать въ ближайшемъ номерѣ безъ всякихъ сокращеній“. Борисъ Дмитріевичъ ѣздилъ къ Картошкину въ управу и на домъ, но его нигдѣ не приняли; въ управѣ сказали, что голова — дома, а дома сказали, что онъ въ управѣ. И на другой день Борисъ Дмитріевичъ долженъ былъ высѣчь себя, опубликовавъ письмо слѣдующаго содержанія:

„Милостивый государь, господинъ редакторъ! Въ № 58 вашей почтенной газеты, въ отдѣлѣ „хроники“, напечатана замѣтка подъ заглавіемъ „Нѣчто о собакахъ“, авторъ которой, съ рвеніемъ, достойнымъ лучшей участи и примѣненія, изобличаетъ меня въ умышленномъ уклоненіи отъ уплаты собачьяго налога. Надѣюсь, что, кромѣ почтенной редакціи, никто не заподозритъ меня въ нежеланіи заплатить 1 рубль налога, меня, который, имѣя возможность получать съ города установленное жалованье въ размѣрѣ 5.000 р. въ годъ, предпочелъ служить безвозмездно. Признавая и цѣня заслуги прессы и будучи самъ поборникомъ гласности, я тѣмъ не менѣе нахожу подобныя выходки недостойными порядочнаго органа печати. Мое „злоупотребленіе“ въ данномъ случаѣ исчерпывалось тѣмъ, что лакей мой не напомнилъ мнѣ о выправкѣ установленнаго значка для собаки. Препровождая при семъ 100 руб. въ пользу слѣпыхъ, считаю свою излишнюю довѣрчивость къ лакеямъ искупленной. Примите и проч. Городской Голова, кандидатъ правъ Императорскаго С.-Петербургскаго университета Картошкинъ“.

Затѣмъ, въ тотъ же день въ редакцію заявился лакей Картошкина и, сіяя безграничной радостью, вы-

нулъ трясущимися руками вексель Бориса Дмитріевича, съ передаточной надписью на оборотѣ.

— Баринъ подарилъ мнѣ этотъ документъ... Сейчасъ дозволите получить, или законнымъ порядкомъ прикажете?—проговорилъ онъ, потрясывая векселемъ.

Денегъ въ кассѣ, конечно, не оказалось, и Борисъ Дмитріевичъ, оскорбленный и униженный, сталъ метаться въ предсмертныхъ судорогахъ. Онъ проклиналъ тотъ день, въ который связался съ газетой,—высказывалъ готовность подарить газету лакею Картошкина, лишь бы тотъ принялъ на себя и всѣ долги ея, выгналъ вонъ бѣднаго репортера, написавшаго „Нѣчто о собакахъ“, назвавши обличителя прохвостомъ, расшвырялъ наборъ статьи „Предстоящая поѣздка городского головы въ Петербургъ“, но... денегъ все-таки не было.

Надо было предпринять что-нибудь рѣшительное: оказалось, что другой вексель Бориса Дмитріевича подаренъ Картошкинымъ обществу „Мизерикордія“, которое, при скудости своихъ средствъ, будетъ, конечно, немилосердно въ требованіи денегъ... Картошкинъ зналъ, кому подарить!.. Всего надо было достать 1.300 руб., а тамъ надвигался платежъ за бумагу... Но гдѣ ихъ достать?

— Мизерикордія, Мизерикордія...—разсѣянно повторялъ Борисъ Дмитріевичъ, бѣгая въ своемъ кабинетѣ, какъ мышь въ мышеловкѣ, и вдругъ въ его воспаленномъ мозгу нарисовалась картина: круглый столъ, за нимъ—члены правленія „Мизерикордія“—и между ними купецъ Тарасовъ... Что-то радостное шевельнулось въ омраченной душѣ Бориса Дмитріевича, какая-то надежда сверкнула искрой. „Тарасовъ и сыновья“ могутъ дать. Что имъ какія-то несчастныя двѣ тысячи?! Правда, особаго сочувствія къ газетѣ со стороны Алексѣя Никаноровича не замѣчалось, но временами онъ бываетъ великодушенъ: вотъ хотя бы тогда съ розыгрышемъ больной коровы... Попытка—не шутка, спросъ не бѣда...

Есть еще другъ—Елена Михайловна, но она дуется на Бориса Дмитріевича, ей кто-то передалъ неосторожное выраженіе Бориса Дмитріевича: „изъ-за этихъ Франціи да союзовъ, устраиваемыхъ разными барынями, которымъ нечего дѣлать, приходится пить горькую чашу!...“

— Мизерикордія, Мизерикордія... — автоматически повторилъ Борисъ Дмитріевичъ и рѣшительно вышелъ изъ редакціи, крикнулъ: „пальто!“, одѣлся и поскакалъ въ номера для гг. пріѣзжающихъ, чтобы поговорить и посовѣтоваться относительно „Тарасова и сыновей“ съ Евгеніемъ Алексѣевичемъ...

У Евгенія Алексѣевича происходилъ „чай съ Промотовыми“. Весь наличный составъ „чужестранцевъ“ засѣдалъ у стола и велъ оживленный шумливый разговоръ со смѣхомъ, съ остротами, съ дерзостями... Только Софья Ильинишна сидѣла молча, пряча свое лицо въ раскрытой книгѣ и лишь изрѣдка вскидывала глаза на Зинаиду Петровну, которая, очутившись послѣ лаишевскаго уединенія въ такомъ многолюдномъ шумливомъ обществѣ интеллигентныхъ людей, была весела, говорлива и снова торопилась всѣмъ существомъ своимъ куда-то... Говорили о томъ, что дѣлать и какъ дѣлать. Силинъ спорилъ съ Зинаидой Петровной, настаивая на томъ, что имъ нечего дѣлать, а Зинаида Петровна засыпала его опроверженіями и фактами.

— Это все не у насъ, а въ столицахъ, въ большихъ умственныхъ и промышленныхъ центрахъ... А вы скажите, что дѣлать здѣсь и именно намъ?—спокойно повторялъ Силинъ, глядя смѣющимися глазами въ раскраснѣвшееся лицо Зинаиды Петровны.

— Какъ что?

— Такъ, что? Ну что, напримѣръ, прикажете дѣлать мнѣ?

— Смотря по тому, что вы изъ себя представляете и на что вы способны... Если вы человѣкъ науки—работайте на научной почвѣ, если вы ораторъ—говорите

съ трибуны, если вы — художникъ, работайте кистью, перомъ...

— Ну, а если я просто человѣкъ, не имѣющій опредѣленныхъ занятій?

— Если у васъ есть организаторскія способности, если вы не чувствуете удовлетворенія въ культурной работѣ, — не слушая противника, говорила Зинаида Петровна.

Но въ этотъ моментъ раздался стукъ въ дверь и голосъ:

— Евгенія Алексѣевича можно видѣть?

— Войдите!

Влетѣлъ Борисъ Дмитріевичъ Сорокинъ.

— Могу васъ отвлечь на одну минуту?

— Что у васъ случилось? вы такой растерянный,— пожимая руку редактора, спросилъ Евгеній Алексѣевичъ.

— Скверно. Вотъ!

Борисъ Дмитріевичъ перерѣзалъ указательнымъ пальцемъ свое горло.

— Что такое? Все изъ-за красной подкладки?

— Нѣтъ. Еще хуже. Денегъ надо, а взять негдѣ... Ни одна свинья не даетъ... Эхъ!.. Хотите, я подарю вамъ газету?

Всѣ съ удивленіемъ взглянули на Бориса Дмитріевича.

— Еще одна послѣдняя надежда: если вашъ батюшка не дастъ двухъ тысячъ, я того...—Борисъ Дмитріевичъ опять перерѣзалъ себѣ горло.

Евгеній Алексѣевичъ задумчиво покачалъ головой.

— Едва ли... Попробуйте, чѣмъ чортъ не шутитъ!

— Эхъ! Чортъ меня толкнулъ связаться съ этой газетой! Наказаніе Господне! Хоть бы нашелся такой дуракъ, которому можно было бы подарить ее.

— Садитесь, Борисъ Дмитріевичъ! Позвольте васъ познакомить...

Евгеній Алексѣевичъ представилъ редактора своимъ гостямъ.

— Подарилъ бы!.. Право, подарилъ бы...

— Почему? — спросила Зинаида Петровна съ полнымъ недоумѣніемъ во взорѣ.

— Да потому, что на этой газетѣ больше трехъ тысячъ долгу... Ну, Евгеній Алексѣевичъ, какъ же? ѣхать къ вашему родителю, или нѣтъ?

— Выпейте съ нами рюмку водки, закусите и съ Богомъ! не забудьте упомянуть, что пресса нуждается въ содѣйствіи просвѣщенныхъ людей, которыхъ-де у насъ такъ мало...

Борисъ Дмитріевичъ поѣхалъ къ Тарасову, а чужестранцы размечтались о томъ, какъ хорошо было бы имѣть свою газету.

— Купимъ, Владиміръ, „Вѣстникъ“! — предложила Зинаида Петровна.

Началось обсужденіе этого проекта, и пустынный коридоръ номеровъ долго оглашался звонкими голосами и смѣхомъ изъ № 5-го.

— И когда ихъ нелегкая унесетъ! — ворчалъ Ванька, ворочаясь на своемъ диванѣ. — Ни днемъ, ни ночью спокою не знаешь...

XVII.

Сильнѣй грѣло солнышко землю, небесная синева становилась все глубже и прозрачнѣе, на улицахъ чувствовалось пробужденіе природы. Голыя вѣтви деревьевъ, тамъ и сямъ выглядывавшія изъ-за садовыхъ изгородей, какъ-то вдругъ почернѣли и пріободрились, приготовляясь одѣться молодой листвой. Дороги побурѣли отъ осѣвшей на нихъ грязи и навоза. Снѣгъ на крышахъ и въ сугробахъ по глухимъ проулкамъ города превращался въ рыхлый, ноздреватый фирнъ и сверкалъ на солнечныхъ лучахъ своими кристаллами-

льдинками. Въ прозрачномъ воздухѣ рѣзко и весело звучали людскіе голоса, смѣхъ, окрики, отчетливо выдѣлявшіеся изъ общаго нестройнаго гама и шума городского движенія. Тротуары дѣлались мокрыми и грязными отъ разсыпаемаго на нихъ песку. На башняхъ и корпусахъ губернской тюрьмы все чаще устраивали свою стоянку азартно галдѣвшія галки. По утрамъ подъ окнами слышалось бурливое ворковапіе голубей, воробьи задорно чирикали, озабоченные устройствомъ своихъ гнѣздъ, а гимназисты старшихъ классовъ начинали уже мечтать о вѣчной любви, бродить съ меланхолическими лицами по бульварамъ и улицамъ и кого-то отыскивать грустно-задумчивыми взорами...

Прошла еще недѣля — и журчащіе ручейки воды, змѣйками извиваясь по обнаженнымъ отъ снѣга камнямъ мостовой, весело побѣжали по всѣмъ улицамъ. На нѣкоторыхъ изъ нихъ, болѣе низменныхъ, эти ручьи сливались въ широкіе бурливые потоки, и здѣсь съ утра до вечера копошились грязные мальчуганы, открывшіе уже навигацію своихъ самодѣльныхъ лодочекъ и пароходовъ. Пѣшеходы, встрѣчая неодолимыя затрудненія при переходахъ съ одной стороны улицы на другую, не сердились, а добродушно смѣялись и подавали другъ другу любезные совѣты, какъ перебраться... Извозчики еще не смѣнили санокъ на пролетки, и ихъ худыя клячи съ трудомъ тянулись по улицамъ, выбирая болѣе снѣжныя и твердыя мѣста дороги на тѣневыхъ сторонахъ, гдѣ не такъ развело; желѣзныя полозья санокъ непріятно визжали, а кованныя ноги лошадей звонко брякали на встрѣчныхъ камняхъ. На лавочкахъ за воротами посиживали въ пріятномъ созерцаніи весенней оттепели кучера и дворники, посасывая трубочки и тихо мурлыкая себѣ въ бороды заунывныя пѣсенки родной деревни. Чернорабочіе-поденщики, обкалывая ледъ съ папелей, то и дѣло отрывались отъ работы; облокотясь на ломъ или

лопату, они задумчиво сосредоточивались на какомъ-нибудь предметѣ и лѣниво чесали за ухомъ, пока домовладѣлецъ, усмотрѣвъ въ этомъ нарушеніе своихъ интересовъ, не выводилъ изъ задумчивости сердитымъ окрикомъ: „ну, чего ротъ-то разинулъ? р-работай! работай!“ Тогда лѣнтяй, быстро очнувшись, поправлялъ шапку, плевалъ себѣ въ кулакъ и снова принимался долбить и обкалывать... Теплыя шубы съ мѣховыми воротниками появлялись на улицѣ уже рѣдко и свидѣтельствовали теперь не столько о качествѣ погоды, сколько о почтенныхъ лѣтахъ, плохомъ здоровьѣ или общественномъ положеніи лица въ шубѣ; зато нетерпѣливыя губернскія дѣвицы все чаще порхали въ легкихъ кофточкахъ на ваткѣ, съ перетянутыми рюмочкой таліями и съ лицами, скрытыми прозрачною дымкою цвѣтныхъ вуалей съ мушками, да молодые люди, съ первымъ пушкомъ на губѣ, желая щегольнуть, ходили въ лѣтнихъ пальто нараспашку. Курицы, роясь на проталинахъ по дворамъ, мечтательно тянули свое „ко-о-о-ко-ко-ко-о-о“, а по вечерамъ, при задумчиво-грустномъ лунномъ свѣтѣ, улицы пополнялись гуляющими, по преимуществу парочками, слышался сдержанный смѣхъ и разговоръ вполголоса; нѣжно звучало сопрано и гудѣлъ, какъ шмель, молодой энергичный басокъ, прорывались задорныя нотки грудного контральто и пѣвучія—сладкаго легкомысленнаго тенора...

Еще недѣля—и кое-гдѣ, по бугоркамъ, уже зазеленѣла первая мурава. На обсохшихъ площадкахъ мальчуганы начали играть въ бабки. Безпрерывная трескотня извозчичьихъ пролетокъ огласила городъ; отвыкшему отъ нея за зиму уху эта трескотня казалась страшно громкой, веселой, энергичной и вполнѣ гармонирующей съ тѣмъ особеннымъ стремительнымъ движеніемъ куда-то, которое проявлялось теперь вездѣ и во всемъ. Волга сломала свои оковы,—и зимующіе въ затокѣ подъ городомъ пароходы, готовясь возобновить прерванное плава-

ніе, разводили пары, тяжело вздыхали, ухали и нетерпѣливо гудѣли протяжными свистками... Вѣтви деревьевъ сдѣлались эластичными, почки березы, сирени и акаціи наливались, готовыя лопнуть и показать свѣжую нѣжную зелень. Прилетѣли далекіе гости-пѣвуны: ласточки и жаворонки. Высоко-высоко по синевѣ безоблачныхъ небесъ тянулись съ юга вереницы утокъ, по ночамъ слышался гармоничный, какъ пастушеская свирѣль въ степи, сигнальный крикъ журавлей, и гоготаніе дикихъ гусей, проносившихся высоко-высоко надъ городомъ...

Весна шла быстро, готовая осыпать землю цвѣтами, напоить воздухъ благоуханіями, наполняя сердца людей восторгами радости, любви и счастья...

Ожили съ весною и чужестранцы. Въ ихъ жизни совершилось цѣлое событіе: „Вѣстникъ“ перешелъ въ ихъ руки. Евгеній Алексѣевичъ числился редакторомъ-издателемъ, фактически же имъ былъ Владиміръ Николаевичъ Промотовъ, который, редактируя газету, довольствовался званіемъ секретаря, въ то время какъ секретаремъ была Зинаида Петровна. Силинъ велъ литературныя замѣтки и обзоры политической жизни, Промотовъ писалъ серьезныя статьи по экономическимъ вопросамъ и научныя обозрѣнія, Зинаида Петровна вела боевой отдѣлъ „отголосковъ печати“ и переводила съ новыхъ языковъ, а Евгеній Алексѣевичъ велъ отдѣлъ „театръ и музыка“. Изъ старыхъ постоянныхъ сотрудниковъ остался въ „Вѣстникѣ“ только репортеръ Козловъ, бывшій технологъ, сильно запивавшій господинъ, обремененный большимъ семействомъ и занятый исключительной мыслью, написать какъ можно больше строчекъ, конторщикъ да редакціонный сторожъ Ильичъ, служившій при газетѣ безсмѣнно двѣнадцать лѣтъ, пережившій трехъ издателей, пять редакторовъ и столько же направленій, не говоря уже о сотрудникахъ, которыхъ Ильичъ называлъ не иначе, какъ уменьшительнымъ именемъ „сотрудничковъ“...

Событіе это перевернуло вверхъ дномъ не только образъ жизни чужестранцевъ, но даже и самое настроеніе ихъ. До сихъ поръ имъ приходилось только разговаривать между собою или, какъ выражался Силинъ, промежъ себя революцію пущать; — теперь они могли разговаривать со всѣмъ русскимъ обществомъ; теперь у всѣхъ было опредѣленное систематическое дѣло, хорошее дѣло, нравственно удовлетворяющее, у всѣхъ было радостное настроеніе. Даже Силинъ, пришедшій, какъ извѣстно читателю, къ выводу, что имъ нечего дѣлать, повеселѣлъ, пересталъ брюзжать и принялся лихорадочно работать.

Промотовы сняли большую квартиру въ домѣ Захара Петровича и часть ея отвели подъ редакцію и контору „Вѣстника“. Квартира была заново отдѣлана, съ лоснящимися паркетными полами, съ большими окнами, такая свѣтлая, высокая и просторная... Весеннее солнце съ утра до вечера смотрѣло въ нее и приводило въ восторгъ и редактора, и секретаря, и сотрудниковъ. Къ двѣнадцати часамъ обыкновенно всѣ сотрудники были въ сборѣ. Промотовъ бесѣдовалъ въ своемъ кабинетѣ съ авторами, сотрудники сдавали матеріалъ и просматривали послѣднія газеты, репортеры наскоро строчили свои отчеты и замѣтки, секретарь принималъ подписку, объявленія, высчитывалъ и выдавалъ гонораръ. То и дѣло заходили обыватели: одни, чтобы поговорить насчетъ того, нельзя ли „продернуть“ какого-нибудь Петра Иваныча, другіе – вручить свои стихи, третьи—потребовать объясненія, почему поздно доставляютъ газету... Все это суетилось. говорило и двигалось... Жизнь начинала бить ключомъ...

Ежедневно сюда забѣгалъ и бывшій издатель-редакторъ, Борисъ Дмитріевичъ Сорокинъ. Газетная работа и обстановка такъ въѣлись во все существо Бориса Дмитріевича, что ему трудно было сразу покончить всѣ счеты съ прежней жизнью и дѣятельностью. Каждый

день онъ забѣгалъ въ редакцію, печально здоровался съ сотрудниками и присаживался къ одному изъ редакціонныхъ столовъ: просматривая газету, онъ по старой привычкѣ бралъ иногда въ руки ножницы и вырѣзывалъ изъ газетъ кусочки и ленточки, аккуратно складывая ихъ передъ собою...

— Вы меня извините... Не могу... Такая тоска, знаете ли, по газетамъ и по всей этой сутолокѣ... Точно овдовѣлъ,—грустно говорилъ онъ.

— Вы, Борисъ Дмитріевичъ, опять въ послѣднемъ номерѣ окошекъ въ Западную Европу надѣлаете—смѣялся Силинъ, — нате вотъ вамъ вчерашній номеръ, ножницы, клей и кисточку, а этотъ номеръ отдайте... Мнѣ онъ нуженъ для обзора...

Захаръ Петровичъ, на правахъ домохозяина считавшій себя какъ бы членомъ редакціи, тоже обязательно каждый день заходилъ въ редакцію и неизбѣжно спрашивалъ:

— Ну, господа писатели, что новенькаго слышно?

Потомъ обводилъ хозяйскимъ окомъ комнаты и, замѣтивъ на полу чернильныя пятна, нагибался, плевалъ и старался стереть ихъ.

— Вотъ это ужъ неладно... полъ—паркетный... Если въ чернильницы налить чернилъ не много, а такъ наполовину,—этихъ капель не будетъ... Ильичъ!—звалъ онъ сторожа,—надо, братецъ, за этимъ послѣдить... Посмотри — что тутъ!.. словно дождикъ чернильный прошелъ...

— Безъ этого нельзя, — строго и сухо отвѣчалъ Ильичъ,—теперича гдѣ мы ни жили, безъ этого нельзя. Гдѣ пьешь, тамъ и льешь...

Евгеній Алексѣевичъ заявлялся лишь къ двумъ часамъ. Онъ спрашивалъ, нѣтъ ли какихъ-нибудь непріятностей, не придется ли ему ѣхать къ цензору объясняться и, если все было благополучно, уходилъ, говоря: „ну, валяйте! валяйте!“; когда же ему сообщали,

что надо побывать у цензора, онъ морщился и сѣтовалъ на свою участь:

— Моя роль—самая жалкая: объясняться за всѣхъ, принимать на свою голову всѣ нахлобучки и непріятности, быть можетъ, современемъ даже сидѣть за диффамацію,—и ни капельки славы!—Эгоисты!

— Зато у васъ—„театръ и музыка“, самый веселый и пріятный отдѣлъ, — укоряла его Зинаида Петровна.

— Ну, до свиданія, господа, я исчезаю...

— Оставайтесь сегодня обѣдать.

— Не могу... Я обѣдаю у Елены Михайловны...

— Ну, такъ убирайтесь...

Однажды въ контору „Вѣстника“ зашелъ черноволосый съ закоптѣлымъ лицомъ молодой парень въ рыжихъ сапогахъ и спросилъ себѣ 120-ый номеръ газеты. Сверкавшіе на черномъ лицѣ бѣлки глазъ этого человѣка, закорузлыя руки съ порѣзами и шрамами и весь костюмъ въ пятнахъ, лоснящійся и потертый, изобличали въ немъ рабочаго. Бывшая въ конторѣ Зинаида Петровна заинтересовалась, зачѣмъ этому парню понадобился № 120.

— Васъ кто-нибудь прислалъ?

— Нѣтъ, для себя.

— Зачѣмъ же вамъ 120-ый номеръ? вы купите свѣжій, нынѣшній.

— Нѣтъ, мнѣ надо 120-ый... Тамъ одна статейка напечатана.

— Вы кто такой?

— На заводѣ у Картошкина работаю, литейщикъ.

— Что же вамъ интересно въ 120-омъ номерѣ?

— Тамъ есть одна штука... Про нашего брата.

Зинаида Петровна вспыхнула: ей было такъ пріятно убѣдиться, что не на вѣтеръ бросаютъ они свои слова.

— Покажите мнѣ, гдѣ эта статья! — попросила Зинаида Петровна, раскрывая номеръ 120-ый „Вѣстника“.

Парень сморщилъ лобъ, тряхнулъ вихрами и сталъ

водить закорузлымъ пальцемъ, обмотаннымъ грязною тряпкою, по широкому полю газетнаго листа.

— Гдѣ же она?.. тутъ должна быть... „Наши корреспонденціи“... „Внѣшнія“... А вотъ гдѣ: Германія! тутъ!

— Развѣ интересно?

Парень усмѣхнулся и кашлянулъ.

— Конечно, интересно,—сказалъ онъ и началъ свертывать номеръ.

— Пятачекъ?—спросилъ онъ, положивъ мѣдную монету на столъ къ Зинаидѣ Петровнѣ.

— Ничего не надо. Возьмите деньги! какъ васъ зовутъ?

Парень опять ухмыльнулся и, поматывая картузомъ въ рукѣ, спросилъ:

— А вамъ зачѣмъ?

— Хочу съ вами познакомиться...

— Когда такъ,—Петръ Максимычъ Коровинъ!—сконфуженно произнесъ парень и подержалъ въ своей жесткой и сильной рукѣ протянутую ему Зинаидой Петровной руку.

Присутствовавшій при этой сценѣ Ильичъ стоялъ, заложивъ руки за спину, и не безъ удивленія смотрѣлъ на это знакомство. „Чудитъ барыня“,—подумалъ онъ и замѣтилъ парню:

— А ты, братецъ, натопталъ тутъ порядочно...

— Ничего. Гдѣ вы, Петръ Максимычъ, живете? Скажите свой адресъ,—я вамъ буду посылать газету безплатно... Вы любите читать?

— Конечно... Мало только время у насъ... Весьма благодаренъ. Я живу въ Слободкѣ... Очень далеко... не найдутъ меня... Кабы можно было,—я лучше приходилъ бы иногда за газетой...

— Заходите! Я велю давать вамъ номеръ безплатно.

— Очень благодаренъ. Счастливо оставаться!—сказалъ парень и самъ уже протянулъ руку.

— А меня зовутъ Зинаидой Петровной; если вамъ надо будетъ увидать меня,—я всегда здѣсь... Приходите и велите меня позвать... Я вамъ могу, если хотите, интересныхъ книжекъ дать почитать...

— Если заблагоразсудите, очень буду благодаренъ. Я читать очень люблю. Конечно, времени нѣтъ у насъ, а то...

— Зайдите-ка ко мнѣ въ воскресенье, вечеркомъ!

— Отчего же... Весьма благодаренъ.

Парень ушелъ, а Зинаида Петровна побѣжала въ редакцію и подѣлилась своей радостью съ товарищами. Этотъ день былъ для Промотовыхъ цѣлымъ праздникомъ: такъ пріятенъ былъ этотъ неожиданный откликъ грязнаго человѣка съ закорузлыми руками. Зинаида Петровна весь день ходила, какъ-то подплясывая, смѣялась и спорила съ Силинымъ о значеніи этого явленія.

— Ужъ и „явленіе“! Пришелъ одинъ чумазый парень, такъ у васъ ужъ цѣлое явленіе...—говорилъ тотъ, хотя и ему былъ очень пріятенъ этотъ приходъ чумазаго парня.

Съ тѣхъ поръ Петръ Максимычъ началъ похаживать въ контору за номерочкомъ, а по праздникамъ заходить къ Зинаидѣ Петровнѣ. Скоро онъ пересталъ чувствовать неловкость въ обществѣ чужестранцевъ, называлъ всѣхъ по фамиліи, прибавляя „господинъ“, и говорилъ съ ними, сидя за чайнымъ столомъ, о своей жизни, о своемъ заводѣ и о своихъ товарищахъ, о томъ, какіе порядки на заводахъ въ чужихъ краяхъ, о томъ, какъ живется тамъ рабочему человѣку... Зинаида Петровна взяла подъ свое покровительство этого смышленаго парня и шла навстрѣчу любознательности Петра Максимыча, ссужая его популярными книжками по разнымъ отраслямъ знанія, бесѣдуя съ нимъ по поводу прочтеннаго и объясняя непонятное:

— Что-то вотъ здѣсь непонятно мнѣ... Коли больше плата—лучше живется; коли лучше живется—народъ

множится... И опять загвоздка: коли народъ множится — дѣться некуда, цѣну сбиваютъ... Что жъ теперь противъ этого дѣлать?—спрашивалъ Петръ Максимычъ, и въ его глазахъ было столько напряженнаго ожиданія, столько жажды услышать разрѣшеніе, понять, что не только Зинаида Петровна, но и Владиміръ Николаевичъ, и даже Силинъ начинали наперерывъ пространно и торопливо объяснять. Когда Петръ Максимычъ понималъ,— его глаза свѣтились дѣтскою радостью, и онъ поматывалъ своей вихрастой головой, но какъ только переставалъ понимать, такъ лобъ его морщился, ротъ какъ-то пріоткрывался, и во всей фигурѣ Петра Максимыча было столько безпомощности, столько отчаянія и досады на себя, что Зинаида Петровна спѣшила его утѣшить:

— Непонятно? Ничего. Нельзя все сразу... Потомъ поймемъ...

— Голова тугая,—конфузясь и виновато улыбаясь, говорилъ Петръ Максимычъ...

Когда Петръ Максимычъ уходилъ, Зинаида Петровна, довольная успѣхами своего ученика, бросала Силину:

— Что, нечего дѣлать? а? Дѣла много, только не надо задаваться скороспѣлыми проектами геологическихъ катастрофъ...

— Ха-ха-ха!.. Отыскали бѣднаго Максимыча и готовы разорвать его на части...

И начинался споръ.

— Все это, сударыня, не ново, все это — старая штука... Такое дѣло всегда дѣлалось и составляло лишь одну крупицу одного большого дѣла...

— Вотъ въ томъ-то и ошибка,—вступалъ въ споръ Владиміръ Николаевичъ,—въ томъ и ошибка, что на это смотрѣли, какъ на крупицу, въ то время, какъ эта крупица и есть то именно зерно, которое способно прорости... Наша интеллигенція былого времени слишкомъ надѣялась на свои силы и полагала, что она на своихъ

плечахъ подниметъ всю тяжесть соціальныхъ золъ... Ну, и надорвалась!.. А силы наши очень маленькія и надо использовать ихъ съ возможною пользою... Не надо сражаться съ вѣтряными мельницами и совершать геркулесовскаго подвига... Теперь ясно, что одно геройство не поможетъ...

— Что-то похоже на „наше время—не время широкихъ задачъ!"—замѣчалъ Силинъ.

— Совсѣмъ непохоже... Задачи могутъ быть очень широкія, но способъ ихъ разрѣшенія совсѣмъ не геройскій... Только и всего!—горячилась Зинаида Петровна.—Я, напримѣръ, не пойду въ сермяжный людъ, потому что онъ меня раздавитъ своимъ невѣжествомъ и не пойметъ, не пойду къ буржуазіи, потому что нечего мнѣ тамъ дѣлать, не пойду къ солдату...

— Только къ одному своему Максимычу, значитъ?

— Да, къ Максимычу... Да и нечего мнѣ ходить: вы видѣли, что онъ самъ идетъ ко мнѣ. Мнѣ его не приходится водить на помочахъ, онъ самъ идетъ, и ему нужно только посвѣтить на темной дорогѣ...

— Иначе собьется?—Не дойдетъ? Или въ участокъ забредетъ?

— Дойдетъ и самъ, но почему не помочь? Скорѣй дойдетъ, не будетъ колесить зря и спотыкаться...

— Тѣхъ же щей, да пожиже влей!—острилъ Силинъ.—Свѣтить можно вездѣ и всегда полезно... И почему, спрашивается, надо свѣтить только Максимычу?.. Это такое дѣло, которое дѣлаетъ каждый совершенно невольно.

— А вамъ что же, какъ Архимеду, хочется непремѣнно отыскать ту точку, которая дастъ вашей рукѣ силу повернуть всю землю сразу?—спокойно замѣчаетъ Промотовъ, а Зинаида Петровна сердится:

— Чего съ нимъ, Владиміръ, говорить?! Попусту только время тратить...

— Конечно, съ Максимычемъ интереснѣе...

— Совершенно вѣрно.

И они расходились.

Только Софья Ильинишна осталась въ сторонѣ: къ литературному труду она не чувствовала склонности да и не считала себя способной. Въ то время, какъ всѣ другіе сплотились, благодаря газетѣ, въ тѣсный кружокъ людей, связанныхъ между собою ежедневнымъ общимъ дѣломъ, Софья Ильинишна, чуждая этому дѣлу, осталась совершенно одинокой. На первыхъ порахъ она тоже заходила въ редакцію, но скоро поняла, что ей тутъ нечего дѣлать: весь интересъ, всѣ разговоры вертѣлись по преимуществу около газеты, и то, что всѣ остальные принимали близко и горячо къ сердцу, ей было чуждо, а иногда даже просто непонятно; всѣ здѣсь были заняты, торопились, горячились и часто совершенно забывали о присутствіи Софьи Ильинишны... И она перестала ходить въ редакцію.

Утѣшало Софью Ильинишну теперь одно: ей разрѣшили повѣсить вывѣску... Быть можетъ, скоро у нея будетъ тоже свое дѣло—дѣло, для котораго она готовилась и въ которое она постарается уйти отъ тоски и одиночества!..

Ахъ, это одиночество такъ выростаетъ и такъ сильно гнететъ въ эти тихіе весенніе вечера и лунныя ночи.

Сидя на бульварѣ надъ Волгой, лунной ночью,— Софья Ильинишна смотритъ на звѣзды, на огоньки пароходовъ; прислушивается къ отголоскамъ засыпающаго города, къ протяжнымъ свисткамъ и къ шуму колесъ убѣгающихъ куда-то пароходовъ,—и ей становится такъ грустно-грустно, и хочется плакать... Какъ ей хотѣлось бы быть рядомъ съ хорошимъ, добрымъ и близкимъ человѣкомъ; ни на мгновеніе не сомнѣваясь въ немъ, довѣрить ему всю себя, со всѣми скрытыми въ тайникахъ сердца мыслями, душевными движеніями, безъ боязни, что это откровеніе будетъ осквернено и

— А меня зовутъ Зинаидой Петровной; если вамъ надо будетъ увидать меня,—я всегда здѣсь... Приходите и велите меня позвать... Я вамъ могу, если хотите, интересныхъ книжекъ дать почитать...

— Если заблагоразсудите, очень буду благодаренъ. Я читать очень люблю. Конечно, времени нѣтъ у насъ, а то...

— Зайдите-ка ко мнѣ въ воскресенье, вечеркомъ!

— Отчего же... Весьма благодаренъ.

Парень ушелъ, а Зинаида Петровна побѣжала въ редакцію и подѣлилась своей радостью съ товарищами. Этотъ день былъ для Промотовыхъ цѣлымъ праздникомъ: такъ пріятенъ былъ этотъ неожиданный откликъ грязнаго человѣка съ закорузлыми руками. Зинаида Петровна весь день ходила, какъ-то подплясывая. смѣялась и спорила съ Силинымъ о значеніи этого явленія.

— Ужъ и „явленіе“! Пришелъ одинъ чумазый парень, такъ у васъ ужъ цѣлое явленіе...—говорилъ тотъ, хотя и ему былъ очень пріятенъ этотъ приходъ чумазаго парня.

Съ тѣхъ поръ Петръ Максимычъ началъ похаживать въ контору за номерочкомъ, а по праздникамъ заходить къ Зинаидѣ Петровнѣ. Скоро онъ пересталъ чувствовать неловкость въ обществѣ чужестранцевъ, называлъ всѣхъ по фамиліи, прибавляя „господинъ“, и говорилъ съ ними, сидя за чайнымъ столомъ, о своей жизни, о своемъ заводѣ и о своихъ товарищахъ, о томъ, какіе порядки на заводахъ въ чужихъ краяхъ, о томъ, какъ живется тамъ рабочему человѣку... Зинаида Петровна взяла подъ свое покровительство этого смышленаго парня и шла навстрѣчу любознательности Петра Максимыча, ссужая его популярными книжками по разнымъ отраслямъ знанія, бесѣдуя съ нимъ по поводу прочтеннаго и объясняя непонятное:

— Что-то вотъ здѣсь непонятно мнѣ... Коли больше плата—лучше живется; коли лучше живется—народъ

множится... И опять загвоздка: коли народъ множится — дѣться некуда, цѣну сбиваютъ... Что жъ теперь противъ этого дѣлать?—спрашивалъ Петръ Максимычъ, и въ его глазахъ было столько напряженнаго ожиданія, столько жажды услышать разрѣшеніе, понять, что не только Зинаида Петровна, но и Владиміръ Николаевичъ, и даже Силинъ начинали наперерывъ пространно и торопливо объяснять. Когда Петръ Максимычъ понималъ,— его глаза свѣтились дѣтскою радостью, и онъ поматывалъ своей вихрастой головой, но какъ только переставалъ понимать, такъ лобъ его морщился, ротъ какъ-то пріоткрывался, и во всей фигурѣ Петра Максимыча было столько безпомощности, столько отчаянія и досады на себя, что Зинаида Петровна спѣшила его утѣшить:

— Непонятно? Ничего. Нельзя все сразу... Потомъ поймемъ...

— Голова тугая,—конфузясь и виновато улыбаясь, говорилъ Петръ Максимычъ...

Когда Петръ Максимычъ уходилъ, Зинаида Петровна, довольная успѣхами своего ученика, бросала Силину:

— Что, нечего дѣлать? а? Дѣла много, только не надо задаваться скороспѣлыми проектами геологическихъ катастрофъ...

— Ха-ха-ха!.. Отыскали бѣднаго Максимыча и готовы разорвать его на части...

И начинался споръ.

— Все это, сударыня, не ново, все это — старая штука... Такое дѣло всегда дѣлалось и составляло лишь одну крупицу одного большого дѣла...

— Вотъ въ томъ-то и ошибка,—вступалъ въ споръ Владиміръ Николаевичъ,—въ томъ и ошибка, что на это смотрѣли, какъ на крупицу, въ то время, какъ эта крупица и есть то именно зерно, которое способно прорости... Наша интеллигенція былого времени слишкомъ надѣялась на свои силы и полагала, что она на своихъ

— А меня зовутъ Зинаидой Петровной; если вамъ надо будетъ увидать меня,—я всегда здѣсь... Приходите и велите меня позвать... Я вамъ могу, если хотите, интересныхъ книжекъ дать почитать...

— Если заблагоразсудите, очень буду благодаренъ. Я читать очень люблю. Конечно, времени нѣтъ у насъ, а то...

— Зайдите-ка ко мнѣ въ воскресенье, вечеркомъ!

— Отчего же... Весьма благодаренъ.

Парень ушелъ, а Зинаида Петровна побѣжала въ редакцію и подѣлилась своей радостью съ товарищами. Этотъ день былъ для Промотовыхъ цѣлымъ праздникомъ: такъ пріятенъ былъ этотъ неожиданный откликъ грязнаго человѣка съ закорузлыми руками. Зинаида Петровна весь день ходила, какъ-то подплясывая, смѣялась и спорила съ Силинымъ о значеніи этого явленія.

— Ужъ и „явленіе“! Пришелъ одинъ чумазый парень, такъ у васъ ужъ цѣлое явленіе...—говорилъ тотъ, хотя и ему былъ очень пріятенъ этотъ приходъ чумазаго парня.

Съ тѣхъ поръ Петръ Максимычъ началъ похаживать въ контору за номерочкомъ, а по праздникамъ заходить къ Зинаидѣ Петровнѣ. Скоро онъ пересталъ чувствовать неловкость въ обществѣ чужестранцевъ, называлъ всѣхъ по фамиліи, прибавляя „господинъ“, и говорилъ съ ними, сидя за чайнымъ столомъ, о своей жизни, о своемъ заводѣ и о своихъ товарищахъ, о томъ, какіе порядки на заводахъ въ чужихъ краяхъ, о томъ, какъ живется тамъ рабочему человѣку... Зинаида Петровна взяла подъ свое покровительство этого смышленаго парня и шла навстрѣчу любознательности Петра Максимыча, ссужая его популярными книжками по разнымъ отраслямъ знанія, бесѣдуя съ нимъ по поводу прочтеннаго и объясняя непонятное:

— Что-то вотъ здѣсь непонятно мнѣ... Коли больше плата—лучше живется; коли лучше живется—народъ

множится... И опять загвоздка: коли народъ множится — дѣться некуда, цѣну сбиваютъ... Что жъ теперь противъ этого дѣлать?—спрашивалъ Петръ Максимычъ, и въ его глазахъ было столько напряженнаго ожиданія, столько жажды услышать разрѣшеніе, понять, что не только Зинаида Петровна, но и Владиміръ Николаевичъ, и даже Силинъ начинали наперерывъ пространно и торопливо объяснять. Когда Петръ Максимычъ понималъ,— его глаза свѣтились дѣтскою радостью, и онъ поматывалъ своей вихрастой головой, но какъ только переставалъ понимать, такъ лобъ его морщился, ротъ какъ-то пріоткрывался, и во всей фигурѣ Петра Максимыча было столько безпомощности, столько отчаянія и досады на себя, что Зинаида Петровна спѣшила его утѣшить:

— Непонятно? Ничего. Нельзя все сразу... Потомъ поймемъ...

— Голова тугая,—конфузясь и виновато улыбаясь, говорилъ Петръ Максимычъ...

Когда Петръ Максимычъ уходилъ, Зинаида Петровна, довольная успѣхами своего ученика, бросала Силину:

— Что, нечего дѣлать? а? Дѣла много, только не надо задаваться скороспѣлыми проектами геологическихъ катастрофъ...

— Ха-ха-ха!.. Отыскали бѣднаго Максимыча и готовы разорвать его на части...

И начинался споръ.

— Все это, сударыня, не ново, все это — старая штука... Такое дѣло всегда дѣлалось и составляло лишь одну крупицу одного большого дѣла...

— Вотъ въ томъ-то и ошибка,—вступалъ въ споръ Владиміръ Николаевичъ,—въ томъ и ошибка, что на это смотрѣли, какъ на крупицу, въ то время, какъ эта крупица и есть то именно зерно, которое способно прорости... Наша интеллигенція былого времени слишкомъ надѣялась на свои силы и полагала, что она на своихъ

— А меня зовутъ Зинаидой Петровной; если вамъ надо будетъ увидать меня,—я всегда здѣсь... Приходите и велите меня позвать... Я вамъ могу, если хотите, интересныхъ книжекъ дать почитать...

— Если заблагоразсудите, очень буду благодаренъ. Я читать очень люблю. Конечно, времени нѣтъ у насъ, а то...

— Зайдите-ка ко мнѣ въ воскресенье, вечеркомъ!

— Отчего же... Весьма благодаренъ.

Парень ушелъ, а Зинаида Петровна побѣжала въ редакцію и подѣлилась своей радостью съ товарищами. Этотъ день былъ для Промотовыхъ цѣлымъ праздникомъ: такъ пріятенъ былъ этотъ неожиданный откликъ грязнаго человѣка съ закорузлыми руками. Зинаида Петровна весь день ходила, какъ-то подплясывая. смѣялась и спорила съ Силинымъ о значеніи этого явленія.

— Ужъ и „явленіе“! Пришелъ одинъ чумазый парень, такъ у васъ ужъ цѣлое явленіе...—говорилъ тотъ, хотя и ему былъ очень пріятенъ этотъ приходъ чумазаго парня.

Съ тѣхъ поръ Петръ Максимычъ началъ похаживать въ контору за номерочкомъ, а по праздникамъ заходить къ Зинаидѣ Петровнѣ. Скоро онъ пересталъ чувствовать неловкость въ обществѣ чужестранцевъ, называлъ всѣхъ по фамиліи, прибавляя „господинъ“, и говорилъ съ ними, сидя за чайнымъ столомъ, о своей жизни, о своемъ заводѣ и о своихъ товарищахъ, о томъ, какіе порядки на заводахъ въ чужихъ краяхъ, о томъ, какъ живется тамъ рабочему человѣку... Зинаида Петровна взяла подъ свое покровительство этого смышленаго парня и шла навстрѣчу любознательности Петра Максимыча, ссужая его популярными книжками по разнымъ отраслямъ знанія, бесѣдуя съ нимъ по поводу прочтеннаго и объясняя непонятное:

— Что-то вотъ здѣсь непонятно мнѣ... Коли больше плата—лучше живется; коли лучше живется—народъ

множится... И опять загвоздка: коли народъ множится — дѣться некуда, цѣну сбиваютъ... Что жъ теперь противъ этого дѣлать?—спрашивалъ Петръ Максимычъ, и въ его глазахъ было столько напряженнаго ожиданія, столько жажды услышать разрѣшеніе, понять, что не только Зинаида Петровна, но и Владиміръ Николаевичъ, и даже Силинъ начинали наперерывъ пространно и торопливо объяснять. Когда Петръ Максимычъ понималъ,— его глаза свѣтились дѣтскою радостью, и онъ поматывалъ своей вихрастой головой, но какъ только переставалъ понимать, такъ лобъ его морщился, ротъ какъ-то пріоткрывался, и во всей фигурѣ Петра Максимыча было столько безпомощности, столько отчаянія и досады на себя, что Зинаида Петровна спѣшила его утѣшить:

— Непонятно? Ничего. Нельзя все сразу... Потомъ поймемъ...

— Голова тугая,—конфузясь и виновато улыбаясь, говорилъ Петръ Максимычъ...

Когда Петръ Максимычъ уходилъ, Зинаида Петровна, довольная успѣхами своего ученика, бросала Силину:

— Что, нечего дѣлать? а? Дѣла много, только не надо задаваться скороспѣлыми проектами геологическихъ катастрофъ...

— Ха-ха-ха!.. Отыскали бѣднаго Максимыча и готовы разорвать его на части...

И начинался споръ.

— Все это, сударыня, не ново, все это — старая штука... Такое дѣло всегда дѣлалось и составляло лишь одну крупицу одного большого дѣла...

— Вотъ въ томъ-то и ошибка,—вступалъ въ споръ Владиміръ Николаевичъ,—въ томъ и ошибка, что на это смотрѣли, какъ на крупицу, въ то время, какъ эта крупица и есть то именно зерно, которое способно прорости... Наша интеллигенція былого времени слишкомъ надѣялась на свои силы и полагала, что она на своихъ

это съ обидою въ голосѣ, – очевидно, онъ считалъ себя въ числѣ тѣхъ, „которыхъ не надо“...

— А главное: мы безпочвенны!..

— Вы, Захаръ Петровичъ, всегда были и будете безпочвенны,—замѣтила Глафира Ивановна.

— Ты вѣдь знаешь, Глаша, что я стараюсь... Чѣмъ же я наконецъ виноватъ, что пока изъ стараній ничего не выходитъ,—уже сердито сказалъ Захаръ Петровичъ, хотя всѣ его старанія въ этомъ направленіи ограничивались чтеніемъ тѣхъ статей „Гражданина“, которыя касались земскихъ начальниковъ.

Время шло. Опять началась война за зелеными столами, и казалось, конца не будетъ всѣмъ этимъ „вистъ“, „пасъ“, „безъ одной“ и время отъ времени раздающимся возгласамъ Перетычкина: „а не выпить ли намъ сызнова изъ бутылки-то акцизнаго!“ Зинаида Петровна чувствовала себя скверно: она съ тоской посматривала на часы, лѣниво поддерживала разговоръ съ дамами; въ вискахъ стучало, въ глазахъ темнѣло, во всемъ тѣлѣ чувствовалось утомленіе, всѣ окружающіе казались противными... Усѣвшись въ креслѣ, Зинаида Петровна что-то отвѣчала, когда ее спрашивали; насильно улыбалась, когда гости смѣялись; дѣлала видъ, что все слышитъ и соображаетъ, въ то время, какъ въ ушахъ ея отдавались только одни неопредѣленные звуки голосовъ, а глаза смыкались. Остановивши свой взглядъ на физіономіи Петра Трофимовича, Зинаида Петровна вдругъ замѣчала, что эта физіономія расплывается, уши ея оттопыриваются, а носъ растетъ, какъ надуваемый гуттаперчевый шаръ... Вздрогнувъ и очнувшись отъ столбняка, Зинаида Петровна должна была дѣлать на лицѣ непринужденную улыбку, но это у нея не выходило...

— Владиміръ! Не пора ли намъ?—умоляюще спрашивала она мужа.

— Да, да... идемъ...

Но Захаръ Петровичъ вскакивалъ съ мѣста и кричалъ:

— Ни за что! Безъ ужина? не пущу... Я и шапки у всѣхъ отобралъ, и калоши спряталъ...

— Что вы это?—вмѣшивалась Глафира Ивановна.— Въ кои-то вѣки соберетесь, да посидѣть не хотите? Еще рано, нѣтъ 12...

И Промотовы снова послушно опускались на мѣста. Судьба однако сжалилась: изъ редакціи прибѣжалъ сторожъ Ильичъ и хриплымъ голосомъ заявилъ, что г. Силинъ проситъ сейчасъ же въ редакцію, что цензоръ все исполосовалъ, что запасу нѣтъ, а ѣхать къ цензору некому: Евгеній Алексѣевичъ не заходилъ и найти его нигдѣ не могутъ...

Промотовы и обрадовались, и встревожились: хорошо, что есть предлогъ положить конецъ своимъ пыткамъ, но скверно, что нѣтъ Евгенія Алексѣевича... Простившись съ гостепріимными родственниками и гостями, они торопливо пошли въ редакцію.

— Гдѣ же онъ? въ номера посылали?—спрашивалъ дорогой Промотовъ.

— Посылали... Со вчерашняго не были! — махнувъ рукой, проворчалъ Ильичъ и началъ жаловаться на порядки:

— Какое ужъ это направленіе! Ледактора собаками не сыщешь... Сколько теперь служу, а такого направленія не было...

— Надо бы въ номерахъ мальчика оставить, на случай, если вернется.

— Совсѣмъ даже не стоитъ: они не вернутся. Путаются съ этой барыней...

— Съ какой барыней?

— До со вдовой-то этой, предводительшей-то...

— Что ты пустяки болтаешь! — обрѣзала его Зинаида Петровна.

— Какіе же это пустяки, барыня? вѣрно!.. Его только

тамъ и можно теперь отыскать... Коридорный въ номерахъ сказывалъ, что барыня эта съ нимъ раза три въ номера приходила... Молодой человѣкъ, конечно...

— Туда бы и сходилъ, посовѣтовалъ Промотовъ.

— Былъ... И пальто ихнее видѣлъ... Только разя они скажутъ? Имъ теперь не то что газета, а прямо на все наплевать... Да загорись теперь „Вѣстникъ“,— они и тушить не придутъ... Молодой человѣкъ, конечно...

Въ редакціи былъ одинъ Силинъ. Онъ курилъ, нетерпѣливо ожидая помощи.

— Ну-съ, Владиміръ Николаевичъ, — скверно-съ!— встрѣтилъ онъ Промотова.—Во-первыхъ, весь мой фельетонъ къ чорту пошелъ, во-вторыхъ, изъ политики вся Германія и Франція вылетѣли, въ третьихъ, отъ вашей передовой одинъ хвостъ вершка въ четыре остался.

— Куда же дѣвался нашъ почтеннѣйшій редакторъ?

— Гдѣ ихъ теперь отыщешь? — отозвался стоявшій поодаль Ильичъ.

— Ильичъ! Тебя не спрашиваютъ, значитъ—молчи!

— Не спрашиваютъ, такъ и не спрашиваютъ... По мнѣ хоть совсѣмъ завтра безъ номера будемъ, все равно... — недовольно заворчалъ Ильичъ и, отмахнувшись рукой, вышелъ въ контору.

— Надо ѣхать,—въ раздумьѣ произнесъ Промотовъ.

— Поѣзжай, Владиміръ! Что же иначе дѣлать?

— Необходимо,—вставилъ Силинъ.

Промотовъ наскоро одѣлся и полетѣлъ на извозчикѣ къ цензору. Спустя 20—30 минутъ пролетка подкатилась обратно къ крыльцу.

— Пріѣхалъ Володя!—вскрикнула Зинаида Петровна, сидѣвшая въ ожиданіи мужа на подоконникѣ. Дверь распахнулась.

— Ну что?

— Ничего.

— Пропустилъ?

— Какой тамъ „пропустилъ“! даже и разговаривать со мной не хочетъ. Я, говоритъ, васъ не знаю! съ вами никакихъ дѣлъ не имѣю, и имѣть не желаю... Ильичъ!

— Что такое?

— Вотъ тебѣ рубль! Бери извозчика и махай. Гдѣ хочешь, достань намъ Евгенія Алексѣевича...

— Я достану... Живого или мертваго, а ужъ привезу. Какъ же это подписчика безъ номера оставить?.. Я знаю, гдѣ онъ, я пальто-то ихнее видѣлъ... Я не уйду... выволоку небойсь, — забормоталъ Ильичъ и отправился на поиски пропавшаго редактора.

— Совсѣмъ свихнулся господинъ художникъ, — заговорилъ Силинъ, въ возбужденіи ходя взадъ и впередъ по редакціи,—передъ каждой юбкой таетъ, а передъ Еленой Михайловной прямо глупѣетъ...

— Развѣ это правда?—спросила Зинаида Петровна.

— На-дняхъ я былъ у него въ номерахъ... „Крючникъ“ стоитъ въ углу, покрытый пылью, а на мольбертѣ красуется портретъ Елены Михайловны...

— Увлекающійся господинъ...

XIX.

Апрѣль близился къ концу. Цѣлую недѣлю лилъ дождь, и окраины города обратились въ грязную русскую Венецію. Ночи стояли темныя, но по календарю числилась луна, а потому фонари не зажигались. Во тьмѣ кромѣшной было слышно, какъ шлепали ногами по грязи пѣшеходы и рѣдкія извозчичьи лошадки, да было видно, какъ въ громадныхъ грязныхъ озерахъ тамъ и сямъ отражались одинокіе огоньки изъ обывательскихъ оконъ...

Въ одну изъ такихъ скверныхъ ночей Софья Ильинишна возвращалась домой отъ Елены Михайловны, которая и оказалась той именно дамой, которой потре-

бовались услуги Софьи Ильинишны. Ничего особеннаго, впрочемъ, не было: ей пришлось только въ теченіе пяти дней поухаживать за Еленой Михайловной; пріѣзжалъ три раза докторъ, осматривалъ больную и быстро уходилъ, говоря, что все идетъ прекрасно... Сегодня докторъ былъ въ четвертый разъ и сказалъ, что дня черезъ два больная можетъ встать съ постели. Елена Михайловна поцѣловала Софью Ильинишну, сказала ей: „теперь вы, голубчикъ, можете меня оставить“ и на прощанье дала ей конвертъ:

— Это вамъ за хлопоты...

Софья Ильинишна покраснѣла, неловко взяла конвертъ и торопливо сунула его въ ридикюль; затѣмъ онѣ распрощались, и Софья Ильинишна направилась во-свояси...

Несмотря на то, что было всего часовъ десять вечера, улицы городского предмѣстья, гдѣ жила Софья Ильинишна, были совершенно пусты и казались вымершими. Впрочемъ, и этого сказать нельзя: въ густомъ мракѣ никакихъ улицъ видно не было, а было только слышно, какъ бранился подвыпившій титулярный совѣтникъ Илья Гавриловичъ Травкинъ, возвращавшійся отъ именинника-сослуживца...

Илья Гавриловичъ шелъ очень медленно, нащупывая путь тростью, и кряхтѣлъ, останавливаясь въ полномъ недоумѣніи въ тѣхъ случаяхъ, когда его изысканія открывали какія-нибудь незнакомыя ему дыры въ гнилыхъ тротуарахъ, новыя лужи и новые пути сообщенія, въ видѣ камней и дощечекъ...

— Кхе-кхе! Прогрессъ!—ворчалъ Илья Гавриловичъ, вспоминая разговоръ въ гостяхъ о прогрессѣ, — дыру на тротуарѣ не соберутся починить! Эта дыра, если не ошибаюсь, была тутъ еще въ то время, когда я былъ губернскимъ секретаремъ, вся разница: поменьше была эта дыра...

И дѣйствительно, прогрессъ словно забылъ о суще-

ствованіи городского предмѣстья: та же грязь, та же вонь, тѣ же рѣдкіе накренившіеся фонарные столбы на перекрестныхъ пунктахъ, тѣ же полусгнившіе деревянные тротуары...

— Прогрессъ! чортъ васъ побери совсѣмъ! Калошу вотъ потерялъ, анаѳемы! чтобы вамъ пусто было!.. Кто идетъ?

— Я!—вскрикнула Софья Ильинишна, шарахнувшись въ сторону отъ неожиданнаго сердитаго окрика.

— Виноватъ, мадамъ! простите великодушно... А... скажите вы мнѣ, пожалуйста, гдѣ я нахожусь въ настоящее время? Совершенно понять не могу, темень...

— На Прямой улицѣ,—робко отвѣтила Софья Ильинишна, чувствуя, какъ застукало ея сердце отъ испуга.

— Ага, понимаю... Вотъ извольте тутъ правильный курсъ взять. Гдѣ тутъ востокъ и гдѣ западъ?.. Солнце садится у насъ за полицейскимъ управленіемъ, а гдѣ оное? Тьма кромѣшная... Я считалъ, что иду по Узенькому проулку.

— Нѣтъ, по Прямой улицѣ.

— Мерси! боку мерси! Шагайте, мадамъ, лѣвѣе: тутъ лужа, а вотъ здѣсь два камешка... А я все-таки калошу потерялъ.. Новая... два съ четвертакомъ...

Илья Гавриловичъ чиркнулъ спичкой. Красноватый огонекъ освѣтилъ его грязныя ноги, часть лужи, столбушку—и погасъ...

— Анаѳемы! Позвать сюда градского голову, взять его за бороду и — подать сюда мою новую калошу — снова заворчалъ Илья Гавриловичъ, а Софья Ильинишна побѣжала дальше.

Вотъ наконецъ и знакомый домикъ о трехъ окошкахъ съ зелеными ставнями. Свѣтится огонекъ... Софья Ильинишна дернула за ручку звонка, гдѣ-то звякнулъ колокольчикъ, зашумѣла запатавшаяся желѣзная проволока звонка, и визгливый голосъ крикнулъ:

— Сейчасъ!

Потомъ послышались крѣпко притопывающіе по сѣнямъ шаги, крючокъ соскочилъ съ петли и появилась фигура хозяйки, вся въ бѣломъ, со свѣчой въ рукахъ.

— А я ужъ спать ложусь...

— Что такъ рано?

— Завтра на базаръ хочу сходить, на Нижній базаръ... А къ вамъ приходили, — съ нѣкоторою таинственностью сообщила хозяйка.

— Кто?

— Вотъ ужъ не могу вамъ сказать... Прикрылась шалью... однимъ глазкомъ выглядывала, — какимъ-то замирающимъ, сладострастнымъ шопотомъ отвѣчала хозяйка.

— Ну?—нетерпѣливо вскрикнула Софья Ильинишна.

„Практика“—промелькнуло у нея въ головѣ, и сердце забилось такъ же сильно, какъ давеча, при встрѣчѣ съ подвыпившимъ титулярнымъ совѣтникомъ.

— Спрашивала, когда васъ видѣть можно...

— Ну?

— Ну, я сказала, что не раньше, какъ завтра утромъ, потому что, молъ, она въ хорошемъ домѣ... Да не радуйтесь больно-то! Незавидная!—замѣтила хозяйка, по своему истолковавши восторгъ Софьи Ильинишны.

— Что такое?

— Незавидная, говорю, прахтика-то... Одѣта бѣдненько, скромненько такъ... Тутъ много не попадетъ.

— Все равно...

— Все равно да не одно. Развѣ что секретная... Ну, тогда другой разговоръ, все-таки можно поздравить...

— Все равно!—съ досадою повторила Софья Ильинишна, отвертываясь отъ циничной женщины.

— А видно, что дѣло нечисто: прикрылась шалью и голосъ дрожитъ... Наблудила, сейчасъ уже видно... Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

Ахъ, Дарья Игнатьевна, какое намъ съ вами

дѣло? Человѣкъ пришелъ за помощью, стало быть мы должны ему помочь, а копаться въ душѣ этого человѣка, право, не интересно...

— Да какъ это не интересно?—не безъ удивленія возразила Дарья Игнатьевна.--Да у меня въ третьемъ годѣ акушерка-то стояла, такъ весь интересъ въ этихъ и былъ...

— Я—не такая. Я этимъ не занимаюсь... Нельзя ли самоварчикъ?

— Самоваръ шумѣлъ, шумѣлъ да и пересталъ ужъ... Сейчасъ подогрѣю...

Какъ только хозяйка вышла за дверь, Софья Ильинишна раскрыла ридикюль, вынула конвертъ и разорвала его: на столъ упала сторублевая бумажка. Софья Ильинишна просто остолбенѣла отъ удивленія; глаза ея остановились неподвижно, руки опустились, и кровь застучала въ вискахъ. Странное дѣйствіе произвела на Софью Ильинишну эта сторублевая бумажка: это была смѣсь ощущеній страха, радости и стыда. Сторублевой бумажки въ ея рукахъ никогда не было. Человѣку, который привыкъ жить на гроши, изодня-въ-день, который тратилъ на себя не болѣе десяти, двѣнадцати рублей въ мѣсяцъ, сто рублей должны были показаться такимъ солиднымъ капиталомъ, что не трудно было поддаться и радости; съ другой стороны, этотъ громадный капиталъ испугалъ Софью Ильинишну: она испытывала нѣчто общее съ воромъ, который укралъ кусокъ хлѣба и боится, что ему не дадутъ его съѣсть, войдутъ и отнимутъ; наконецъ ей было стыдно передъ собой, стыдно за то, что за пять дней работы ей заплатили 100 руб. За что? Развѣ стоитъ ея трудъ такихъ денегъ? Немножко похоже на подачку или подарокъ.

Цѣлый рой мыслей закружился въ головѣ Софьи Ильинишны, и она вдругъ почувствовала ужасное утомленіе, особенно въ ногахъ.

Случилось что-то странное, и пріятное, и угнетающее совѣсть...

Хозяйка принесла самоваръ. Софья Ильинишна прикрыла сторублевую бумажку книгой и сѣла, съ трудомъ переводя духъ.

— Да что съ вами, словно на васъ воду возили?— удивилась Дарья Игнатьевна.

— Ничего... Устала очень...

Въ этотъ моментъ такъ сильно задребезжалъ колокольчикъ, такъ сильно запрыгалъ и застучалъ о стѣну, что и хозяйка, и Софья Ильинишна вскрикнули отъ испуга.

— Ухъ! Что такое, съ нами Мать Пресвятая Владычица!..—зашептала Дарья Игнатьевна и побѣжала въ сѣни отпирать дверь.

Это былъ Евгеній Алексѣевичъ. Онъ былъ одѣтъ франтовато: въ смокингѣ, съ бантомъ кремоваго галстуха на шеѣ, въ шавровыхъ мягко-ступающихъ ботинкахъ. Отъ него пахло духами и виномъ. Роскошная шевелюра Евгенія Алексѣевича была пышно взбита, на лѣвой рукѣ оставалась перчатка; другую перчатку онъ бросилъ вмѣстѣ съ мягкою пуховой шляпою на столъ и тогда молча пожалъ руку Софьи Ильинишны.

— Прежде всего, моя хорошая Софья Ильинишна, простите меня, что немного поздно я заявился...

Евгеній Алексѣевичъ взялъ руку Софьи Ильинишны и заглянулъ въ ея лицо своими добрыми глазами...

— Ничего, Евгеній Алексѣевичъ... Я сама только что вернулась. Сейчасъ будемъ пить чай.

— Извозчика оставите, или отпустить?—спросила черезъ дверь недовольнымъ голосомъ хозяйка.

— Пусть ждетъ... Ну-съ... А теперь я посижу у васъ... И чаю съ вами выпью... Скучно мнѣ, Софья Ильинишна! Я вѣдь эгоистъ, ужасный эгоистъ!.. Да и всѣ мы въ сущности эгоисты...—минорнымъ тономъ заговорилъ Евгеній Алексѣевичъ...

— Что это вы, Евгеній Алексѣевичъ, точно извиненія все просите? будетъ вамъ!

— Потому что виноватъ передъ вами... Давно я не навѣщалъ васъ... Все, знаете, мыслями-то витаю въ облакахъ... И теперь пришелъ съ корыстной цѣлью, да...—тихо сказалъ Евгеній Алексѣевичъ.

— Говорите...

— Я вѣдь считаю васъ, Софья Ильинишна, товарищемъ, хорошимъ товарищемъ...

Софьѣ Ильинишнѣ становилось неловко: она не привыкла къ такимъ изліяніямъ и смущалась все больше и больше.

— Вотъ что, Софья Ильинишна... да... Не скажете ли вы мнѣ что-нибудь про Елену Михайловну?

— Вотъ вамъ и разъ! Что же я могу вамъ сказать про нее?

— Славный она человѣкъ? добрый?

— Я ее мало знаю,—отвѣтила Софья Ильинишна и покраснѣла: не знаетъ ли ужъ Евгеній Алексѣевичъ о томъ, что Елена Михайловна дала ей 100 рублей, и не потому ли онъ справляется объ ея добротѣ?

— Не знаю...

— Скоро она встанетъ съ постели?

— Черезъ два дня.

— Значитъ, здорова?

— Ничего...

— Поправилась? Похудѣла? Ахъ, я не видалъ ея цѣлую вѣчность! Мнѣ скучно, ужасно скучно.

— Ну такъ чѣмъ же я-то могу вамъ помочь?

— Нѣтъ, нѣтъ... Я только хотѣлъ узнать... больше ничего... такъ здорова? Значитъ, завтра я могу ее увидать? Боже мой, какъ я доволенъ! Знаете, моя хорошая Софья Ильинишна, я передъ вами не могу прятаться... Вы не будете надо мной подтрунивать... Всѣ они вышучиваютъ, всѣмъ имъ смѣшно... Какіе они хо-

лодные люди! да... Зачѣмъ смѣяться надъ такимъ хорошимъ чувствомъ?

— Я не знаю, право, Евгеній Алексѣевичъ, о чемъ вы говорите, не понимаю...

— Не понимаете?.. Ну такъ я скажу вамъ прямо: я люблю Елену Михайловну... Я ужасно по ней скучаю... Я ее очень люблю, со всѣми ея пороками, съ ея пустотой, съ ея буржуазностью... просто люблю, и мнѣ вдругъ захотѣлось кому-нибудь сказать объ этомъ... Вы меня поймете... а тѣ, — тѣмъ только странно, какъ можно любить человѣка, который не раздѣляетъ твоихъ взглядовъ и твоихъ общественныхъ симпатій... Грѣшный она человѣкъ, но вѣдь и мы всѣ не святые... Правда?

— Давайте лучше чай пить...— сказала Софья Ильинишна, заслышавъ, какъ Дарья Игнатьевна грузно топаетъ надѣтыми на босую ногу калошами, неся подогрѣтый самоваръ.

— Никакъ опять затрезвонили?—воскликнула Дарья Игнатьевна, водрузивъ на столѣ самоваръ. — Такъ и есть! Вотъ, прости Господи...

Въ передней тихо, несмѣло вздрогнулъ звонокъ, потомъ стукнула дверь, и донесся хриплый голосъ Ильича:

— За ледакторомъ я присланъ, за Евгеніемъ Алексѣевичемъ!..

— Эхъ, чортъ бы васъ побралъ совсѣмъ! — прошепталъ съ досадою Евгеній Алексѣевичъ и ухмыльнулся доброю улыбкой.

— Что тебѣ, Ильичъ? — спросилъ онъ, подойдя къ двери.

— Какъ что? васъ надо! Цѣльный часъ по городу ѣздію... Пожалуйте въ редакцію! — строго отвѣтилъ Ильичъ.

— Да что тамъ опять?

— Какъ это что? Цензоръ весь номеръ перекрестилъ, а вамъ и горя нѣтъ? Всѣ на васъ сердятся... Первый

такой ледакторъ... Пожалуйте одѣваться!.. Я на извозчикѣ.

— Поѣзжай! У меня—тоже извозчикъ стоитъ. Сейчасъ пріѣду.

— Нѣтъ, ужъ вы, сдѣлайте милость, — со мной пожалуйте! Мнѣ безъ васъ не велѣли пріѣзжать.

— Говорю, сейчасъ пріѣду?.. На тебѣ за хлопоты, выпей за мое здоровье!

Евгеній Алексѣевичъ далъ Ильичу двугривенный.

— Весьма благодаренъ, — сказалъ Ильичъ, пряча монету въ карманъ, — а ѣхать все-таки, Евгеній Алексѣевичъ, надо... Потрудитесь ужъ...

— Отъ тебя не отвяжешься. До свиданія, Софья Ильинишна... Хотѣлось такъ съ вами по душѣ поговорить, да не велятъ... Чортъ бы взялъ вашу газету и всѣхъ васъ! — шутливо сказалъ Евгеній Алексѣевичъ, берясь за шляпу. — Вмѣсто объясненій въ любви приходится объясняться съ цензоромъ.

— Какъ же это—не объясняться? не вы первый, не вы послѣдній... всѣ ледакторы объясняются... Служба такая,—отозвался въ передней Ильичъ...

Дверь хлопнула, и все смолкло.

Долго не спалось въ эту ночь Софьѣ Ильинишнѣ. Сто рублей не давали ей покоя: на тысячу ладовъ обсуждала она случившееся обстоятельство, взвѣшивала его и такъ, и этакъ, то старалась себя убѣдить, что ничего особеннаго и страннаго тутъ нѣтъ, что все это въ порядкѣ вещей, что Елена Михайловна человѣкъ богатый, и для той 100 рублей значатъ столько же, сколько для нея 100 копеекъ; то опять поддавалась неясному голосу совѣсти и терзалась „подачкой на бѣдность“... То она строила проекты, какъ употребить эти деньги, то рѣшала, что завтра она размѣняетъ сторублевую бумажку, отсчитаетъ 75 руб., запечатаетъ ихъ въ конвертъ и возвратитъ Еленѣ Михайловнѣ...

Написать что-нибудь, или такъ, вложить только деньги? Не лучше ли послать эти 75 руб. Ерошину?

Пѣтухъ на дворѣ прокричалъ уже во второй разъ, когда, совершенно обезсилѣвъ, Софья Ильинишна сомкнула глаза и избавилась отъ проклятой сторублевой бумажки...

XX.

На другой день, часовъ въ десять вечера, въ передней осторожно звякнулъ колокольчикъ.

— Дома, дома... Проходите сюда! — донесся голосъ Дарьи Игнатьевны.

Софья Ильинишна сейчасъ же догадалась, что это — практика и вышла навстрѣчу.

— Пожалуйте сюда, въ мою комнату.

Незнакомка какъ-то шмыгнула въ дверь и, когда Софья Ильинишна заперла эту дверь, та слегка пріоткрыла шаль. Молодое красивое лицо глянуло на Софью Ильинишну изъ-подъ шали; сѣрые глаза, оттѣненные легкой синевой, казались чрезмѣрно большими и такъ умоляюще вперились въ лицо Софьи Ильинишны.

— Спасите меня, — прошептала дѣвушка.

— Садитесь,—сказала Софья Ильинишна, обезкураженная такимъ страннымъ вступленіемъ.

Дѣвушка опустилась на стулъ. Шаль съ ея головы спала, но лицо пряталось за поднятою рукою, на которую оперлась дѣвушка.

— Вамъ нужна моя помощь? — спросила Софья Ильинишна, обрывая неловкое для обѣихъ молчаніе.

— Да. Вы не откажете?—нѣтъ?—тихо спросила дѣвушка и показала свое лицо, озаренное печальной улыбкою.

— Отчего? Съ удовольствіемъ... Когда вы ждете?

— Нѣтъ, не то... Я не хочу... Вы меня спасете, да?

Софья Ильинишна растерялась. Теперь она поняла, что значило „спасти“.

— Что же я могу сдѣлать?..

— Вы можете... Голубушка! ну помогите ради Бога— съ отчаяніемъ и мольбой произнесла дѣвушка и закрыла свое лицо обѣими руками.

— Ахъ, какая я несчастная... Какъ мнѣ стыдно и страшно...

— Вы не хотите, чтобы объ этомъ узнали ваши родные?

Дѣвушка раскрыла лицо, залитое краской горячаго стыда, и опустила глаза въ землю.

— Да,—едва слышно отвѣтила она и заплакала, опустивъ голову на руки.

— Не плачьте! перестаньте! какъ-нибудь все устроится... Зачѣмъ отчаиваться? —подойдя къ дѣвушкѣ и положивъ руку на плечо ея, заговорила ласково Софья Ильинишна, которой сдѣлалось такъ жалко этого безпомощнаго, плачущаго человѣка, что и самой захотѣлось плакать.

— Можно уѣхать въ другой городъ... И никто ничего не узнаетъ... Не плачьте...

— Меня не пустятъ. И некуда уѣхать... Господи, какая я бѣдная...

Дѣвушка поднялась съ мѣста и порывисто упала своей головой на грудь Софьи Ильинишны.

— Голубушка! родная моя! Ну помогите мнѣ, ну пожалѣйте меня,—сквозь слезы шептала она, вздрагивая отъ рыданій, и стала ловить руку Софьи Ильинишны, чтобы поцѣловать эту руку.

— Что вы? — что вы? — испуганно отшатнувшись, воскликнула Софья Ильинишна, — какъ-нибудь устроится... Подумаемъ...

— Надо бѣжать домой... Тамъ ждутъ, будутъ спрашивать, гдѣ была, — встрепенувшись, произнесла дѣвушка и стала утирать слезы рукавомъ кофточки.

— Вотъ увидятъ, что я плакала... будутъ спрашивать...

— Не надо плакать...

— Я не буду,—улыбаясь отвѣтила дѣвушка,—я къ вамъ приду потомъ, когда будетъ можно.

— Приходите. Какъ-нибудь... Подумаемъ...

Съ тѣхъ поръ пацiентка Софьи Ильинишны почти каждый день забѣгала къ ней на одну минуту и все умоляла спасти ее. Софья Ильинишна утѣшала ее, какъ могла и умѣла, но спасти медлила и день за днемъ откладывала, измышляя, какъ бы выйти изъ даннаго положенiя и ей самой, и дѣвушкѣ. Спасти такъ, какъ просила ее дѣвушка, Софья Ильинишна не могла: она считала это дѣломъ безнравственнымъ и всегда бросала грязью въ своихъ товарищей по профессiи, занимающихся подобными операцiями. Надо было придумать что-нибудь другое... Но что? Ничего не придумаешь, кромѣ давно уже придуманнаго: убѣдить съ терпѣнiемъ и мужествомъ встрѣтить страданiя, позоръ, всѣ невзгоды и все, все, во имя того неповиннаго существа, которое столько горя и несчастiя принесло уже матери, не успѣвъ появиться на свѣтъ... Развѣ это существо виновато?.. Отказать однако въ спасенiи прямо и категорично Софья Ильинишна не рѣшалась и говорила, что теперь его выгнать нельзя, и что надо обождать, выигрывая такимъ образомъ время, чтобы подготовить дѣвушку исподволь къ грядущимъ страданiямъ. Дѣвушка была беззавѣтно благодарна Софьѣ Ильинишнѣ, не подозрѣвая здѣсь отговорки, и смотрѣла на нее съ какимъ-то особеннымъ выраженiемъ въ глазахъ: такъ смотритъ ребенокъ на взрослаго, когда тотъ за него вступится и не дастъ въ обиду. Наташа—такъ звали пацiентку—называла Софью Ильинишну „милой", „родной" и говорила, что теперь у нея одинъ только и есть человѣкъ на свѣтѣ, передъ которымъ она не боится открыть свою душу... Нѣсколько разъ Наташа разсказывала Софьѣ Ильинишнѣ про свою обиду.

Романъ былъ самый заурядный и неинтересный, какими бываютъ вообще романы бѣдныхъ дѣвушекъ. Онъ—студентъ новѣйшей формаціи, сынъ Ивана Парфеновича Перетычкина; каждое лѣто пріѣзжалъ къ родителямъ отдыхать отъ наукъ и усердно ухаживалъ за наивными провинціальными Маргаритами. Въ числѣ послѣднихъ была и Наташа, дочь того самаго титулярнаго совѣтника Ильи Гавриловича, который потерялъ на Прямой улицѣ новую резиновую калошу и ругалъ прогрессъ. Илья Гавриловичъ былъ старичокъ съ голымъ затылкомъ и съ височками въ формѣ запятыхъ; онъ гордился безпорочною тридцатипятилѣтнею службою въ полицейскомъ управленіи и особое значеніе придавалъ вписаннымъ въ его формуляръ словамъ: „случаямъ, лишающимъ его права на полученіе въ свое время“ и т. д. Илья Гавриловичъ отличался богобоязненностью, аккуратно посѣщалъ церковныя службы, соблюдалъ всѣ посты, а по субботамъ надѣвалъ круглыя очки съ веревочкой на голову и читалъ своей престарѣлой подругѣ житія святыхъ на славянскомъ нарѣчіи; по женскому вопросу онъ строго придерживался совѣтовъ „Домостроя“, дочь воспитывалъ въ строгости и не отдѣлялъ ея цѣломудрія отъ чистоты своего формулярнаго списка... Проклянетъ, выгонитъ вонъ, умретъ съ горя, если узнаетъ, что его Наташа связалась, какъ какая-нибудь потаскушка, безъ законнаго брака...

А Наташа повѣрила своему студенту и согрѣшила... Студентъ уѣхалъ осенью въ Петербургъ и на цѣлый рядъ пламенныхъ писемъ Наташи наконецъ отвѣтилъ до востребованія такими словами: „Я рѣшительно не понимаю, чѣмъ вызвано ваше предположеніе, что ребенокъ долженъ быть мой, а потому убѣдительно прошу васъ, милостивая государыня, оставить меня въ покоѣ“. Письмо было написано жирнымъ разгонистымъ почеркомъ, свидѣтельствовавшимъ о силѣ воли и недюжин-

номъ характерѣ автора. Подписи на письмѣ никакой не было. Показывая это письмо Софьѣ Ильинишнѣ, Наташа такъ наивно и искренно жаловалась:

— Вотъ какіе мужчины безсовѣстные: погубятъ и еще надругаются...

— Наташа, онъ обѣщалъ вамъ жениться?

— Онъ клялся мнѣ, что женится... Какъ кончитъ ученье, такъ женится...

Въ головѣ Софьи Ильинишны блеснула мысль: нельзя ли разрѣшить это дѣло женитьбой?.. Это была послѣдняя соломинка, за которую можно было ухватиться... Исподволь разспросивъ Наташу о родителяхъ студента, Софья Ильинишна, послѣ долгихъ колебаній, рѣшилась сходить къ нимъ и поговорить... Она постарается увидать мать студента и разскажетъ ей все откровенно, не называя, конечно, имени дѣвушки... Мать пойметъ,— она сама женщина... Быть можетъ, что-нибудь и выйдетъ. Надо сдѣлать все, что можно сдѣлать.

Набравшись мужества, Софья Ильинишна пошла въ домъ купца Перетычкина.

— Можно увидѣть сына, студента? — спросила она отперевшаго ей дверь мальчика.

— А вы кто такіе будете?

— Надо мнѣ... Знакомая.

— Сына нѣтъ, онъ нынче не пріѣзжалъ.

— Кто тамъ?—раздался грубый голосъ Перетычкина изъ сосѣдней комнаты.

Мальчикъ стремительно исчезъ, а затѣмъ вскорѣ вышелъ въ переднюю самъ Перетычкинъ.

— Кого тебѣ надо? — спросилъ онъ сердито.

— Я хотѣла бы поговорить съ матерью студента Перетычкина.

— Зачѣмъ тебѣ мать? Говори со мною. Я — самъ Перетычкинъ, отецъ. Долженъ, что ли, тебѣ Колька?

— Нѣтъ... Съ вами неудобно говорить... Нельзя ли увидать вашу жену?

— Что за секреты такіе?.. Она вѣдь, все одно, скажетъ мнѣ, это ты знай...

— Пусть скажетъ, а мнѣ неудобно...

— Вотъ... хм!..—выпустилъ Перетычкинъ, улыбаясь во весь ротъ.

Видимо, его заинтересовала эта таинственность.

— Пройди въ залу! Сядь тутъ!.. Сейчасъ пришлю жену...

Явилась жена.

— Что вамъ отъ меня требуется? — спросила она, отвѣтивъ на поклонъ Софьи Ильинишны издали, оглядываясь, — словно боялась и предупреждала кого-то быть насторожѣ.

— Я пришла переговорить съ вами о сынѣ, Николаѣ Ивановичѣ... На душѣ у него есть большой грѣхъ, который надо...

— У кого, матушка, нѣтъ грѣховъ?.. Всѣ мы—грѣшны... — перебила Перетычкина и присѣла на стулъ.

Софья Ильинишна разсказала подробности грѣха.

— Честный человѣкъ долженъ жениться... А вы, мать, поддержать его...

— Ну, ужъ это меня не касается... А жениться на всякой не только что не одобримъ, а отговаривать будемъ.

Софья Ильинишна вспыхнула и постращала.

— Хорошо... Но тогда есть судъ!.. Вашъ сынъ соблазнилъ дѣвушку...

— А чѣмъ ты это докажешь? — громко спросилъ Перетычкинъ, отворяя дверь сосѣдней комнаты.

— Докажемъ.

— Гдѣ документы? Гдѣ свидѣтели? Ты вотъ что,—поди-ка съ Богомъ, откуда пришла, а то...—закричалъ онъ, шагнувъ впередъ.

Софья Ильинишна вскочила съ мѣста и выбѣжала вонъ. На улицѣ уже она вспомнила, что оставила въ

передней у Перетычкина свой зонтикъ, но не вернулась за нимъ...

Время шло. Надо было наконецъ сказать Наташѣ правду.

— Наташа! Я много думала о васъ и о томъ... который родится... Надо все перенести, не надо губить ребенка. Онъ вѣдь не виноватъ?—сказала однажды Софья Ильинишна пришедшей къ ней Наташѣ

Наташа поблѣднѣла и неподвижно остановила свой взоръ на Софьѣ Ильинишнѣ.

— Надо все перенести... Ребенокъ не виноватъ...

— А я развѣ виновата?.. вѣдь я не знаю, какъ все это случилось...

Софья Ильинишна, потупясь, молчала. Жирный котъ прыгнулъ на колѣни къ Наташѣ и, мурлыча, сталъ гладить ей щеку своимъ пушистымъ хвостомъ. Любопытная хозяйка толкнулась въ запертую дверь и, когда Софья Ильинишна сказала „нельзя“,—заявила, что ей нужно взять самоваръ, — „завтра праздникъ и нехорошо, если самоваръ останется невычищеннымъ“. Наташа накинула шаль и отвернулась въ сторону, а Софья Ильинишна взяла самоваръ и понесла его къ двери.

— Возьмите!

— А канфорочка тутъ?

— Тутъ, тутъ!

Когда дверь была снова на крючкѣ, Наташа глухо спросила:

— Какъ же быть?

— Надо перестрадать, Наташа...

— Нѣтъ, не могу, Софья Ильинишна!.. Силъ не хватитъ... Лучше ужъ умереть бы!...—простонала дѣвушка.

— Все пройдетъ, перемелется—мука будетъ...

— Нѣтъ, лучше умереть... Вы меня спасете? вы пожалѣете? Ему все равно, ребенку... Онъ ничего не будетъ чувствовать...

— Да. Но не въ томъ дѣло... Это, Наташа, безнравственно... Я этого не имѣю права сдѣлать... Я не боюсь наказанія (за это могутъ вѣдь въ Сибирь!), но просто мои убѣжденія не позволяютъ... Я не могу, Наташа!.. Обратитесь къ кому-нибудь другому...

Хозяйка, затаивъ дыханіе, стояла у двери и смотрѣла въ щель. Она страшно сердилась, что въ дырочку видно одну только Софью Ильинишну. Котъ, нырнувшій давеча вслѣдъ за самоваромъ, лѣзъ къ Дарьѣ Петровнѣ со своими неумѣстными ласками, и та, сердито отшвыркивая его погою, злобно шипѣла: „да провались ты, окаянный!“

— Мои убѣжденія не позволяютъ,—сказала еще разъ Софья Ильинишна.

— Убѣжденія...—тупо повторила Наташа.—Ну, прощайте!

— Вамъ будутъ нужны деньги, Наташа... Этимъ я могу вамъ помочь,—проговорила Софья Ильинишна.

— Нѣтъ.

Наташа быстро накинула на голову шаль, закрыла лицо и исчезла за дверью.

„Постойте!“— хотѣлось крикнуть Софьѣ Ильинишнѣ, но уже хлопнула дверь въ передней, и задребезжалъ колокольчикъ... Можно бы еще догнать... Но нѣтъ!.. Софья Ильинишна рѣшила: этого не можетъ и не должно быть...

Когда Наташа ушла, Софья Ильинишна стала томиться тягостнымъ чувствомъ какой-то пустоты и одиночества: словно что-то оторвали отъ ея сердца... Долго лежала она на постели безъ движенія, съ закрытыми глазами, и въ душѣ ея мало-по-малу выростала какая-то тревога... Были моменты, когда она готова была итти къ Наташѣ и сказать, что—согласна... Въ мозгу Софьи Ильинишны шла упорная, хотя и не вполнѣ сознательная, борьба разсудка съ чувствомъ и отвлеченнаго долга съ простымъ человѣческимъ состраданіемъ. Эта борьба

перемѣшивала всѣ мысли, чувства и ощущенія въ какой-то сумбуръ. Отрывки мыслей и мимолетныхъ душевныхъ движеній кружились вихремъ въ какой-то хаотической путаницѣ, и не было силъ разобраться въ ней... Хотѣлось найти выходъ изъ заколдованнаго круга противорѣчій и парадоксовъ жизни, разрѣшить нравственную дилемму...

— Вѣрно, дѣла будутъ?—проговорила Дарья Игнатьевна, появляясь въ комнатѣ.

Софья Ильинишна открыла глаза и вопросительно посмотрѣла на хозяйку.

— Тутъ, говорю, можно копеечку зашибить! — подмигнувъ глазомъ, сказала Дарья Игнатьевна.

— Ахъ, оставьте вы меня въ покоѣ! Уйдите!.. Уйдите!.. — неожиданно для себя и хозяйки закричала Софья Ильинишна и такъ же неожиданно расплакалась.

— Нервы-то у васъ, погляжу я, ко псамъ не годятся!—сочувственно сказала Дарья Игнатьевна, вздохнула и вышла изъ комнаты.

Часы за стѣнкой мѣрно били маятникомъ. Жирный котъ громко мурлыкалъ гдѣ-то близко, а Дарья Игнатьевна мѣсила въ кухнѣ тѣсто, энергично встряхивая всей квашней...

XXI.

На землю опустился теплый іюльскій вечеръ...

Солнце спряталось за лѣсомъ. Золотистыя облака стали розовѣть, и широкая гладь рѣки подернулась пурпуромъ, а дальнія горы потонули въ сизомъ туманѣ. На востокѣ, надъ контуромъ синѣвшаго на луговой сторонѣ лѣса, протянулась длинная полоса вечерней зари, и эта полоса быстро теряла, одинъ за другимъ, свои тона, тускнѣла и меркла, вмѣстѣ съ розовыми и пурпуровыми облаками, и наконецъ превратилась въ темно-фіолетовую сумрачную гряду тучекъ,

все шире и шире расползавшуюся по горизонту. Небесная синева сгущалась, становилась темнѣе, и въ горнихъ высотахъ быстро вспыхивали и все ярче разгорались звѣзды. Все сильнѣй пахло черемухой, березой, тополемъ. За Волгой начали перекликаться коростели. Гдѣ-то защелкалъ соловей...

Городъ успокаивался отъ дневной сутолоки. Городской гулъ дѣлался мягкимъ; все рѣже дребезжали по камнямъ мостовой извозчичьи пролетки, медленнѣе стучали по панелямъ ноги пѣшеходовъ, и звуки стали обособляться и казаться одинокими... Вѣяло не то сладкой истомой, не то задумчивостью...

Стемнѣло. Луны не было, и звѣзды горѣли ярко и казались большими. Закутанный сумерками упавшей ночи городъ громоздился по нагорному берегу темными несуразными массами зданій, потерявшихъ свои контуры, и мигалъ безчисленнымъ множествомъ красноватыхъ огоньковъ въ невидимыхъ теперь окнахъ. Поверхность рѣки сдѣлалась совершенно черной. На судовыхъ мачтахъ расположившагося внизу, подъ городомъ, каравана тоже зажглись огни сигнальныхъ фонарей. Слышно, какъ подъ горой пыхтитъ буксирный пароходъ: онъ вздыхаетъ, охаетъ, словно утомленъ непосильной тяжестью—вереницей свѣтящихся огоньками баржей, длиннымъ хвостомъ тянущихся за нимъ на буксирѣ. Вотъ надъ рѣкой проносится голосъ въ рупоръ, долго виситъ въ воздухѣ и, улетая въ горы, замираетъ въ сумракѣ... На церковной колокольнѣ бьютъ часы: удары колокола, рѣдкіе, протяжные, мелодичные, заставляютъ вздрагивать чуткую ночь и прислушиваться... Звонъ колокола тихо пролетаетъ надъ городомъ, надъ рѣкой, уносится въ луговую сторону и таетъ. Въ садахъ, по склонамъ спускающихся къ рѣкѣ горъ, постукиваютъ караульщики: кто—въ заборъ, кто—въ кусокъ желѣза, кто—колотушкой... На медленно плывущихъ плотахъ пищитъ гармоника, и слышно, какъ гдѣ-то далеко,

очень далеко, хлопаетъ плицами колесъ торопливо и тревожно почтовый пароходъ...

Съ каждой минутой становится тише, спокойнѣе. Ночь все глубже и глубже захватываетъ природу, и кажется, что она, какъ ревнивая женщина, подслушиваетъ, о чемъ шепчутся между собою деревья, подсматриваетъ за перемигивающимися на небѣ звѣздами и, сдерживая дыханіе, ловитъ каждый звукъ, шорохъ и шелестъ...

Съ запада набѣгалъ легкій и теплый, какъ живое дыханіе, вѣтерокъ, шелестилъ листвою садовыхъ деревьевъ и игралъ кольцами черныхъ волосъ Елены Михайловны. Ея изящная фигура склонилась надъ перилами садовой веранды, лѣпившейся на кручѣ нагорнаго берега, и застыла въ созерцаніи открывавшейся передъ взоромъ картины...

Елена Михайловна смотрѣла на широкую рѣку съ ея черной, какъ смола, поверхностью, въ которой трепетали отраженія звѣздъ и судовыхъ огней, на бездонную глубину широко развернувшихся надъ головою синихъ небесъ, на задернутую таинственнымъ мракомъ даль Заволожья, откуда, вмѣстѣ съ ароматомъ травъ, прилетали обрывки соловьиной пѣсни,—и сладостная тревога вливалась жгучей волной въ душу молодой женщины...

Она глубже вперяла въ темноту ночи свои глаза съ расширенными зрачками и полной грудью пила влажный рѣчной воздухъ... Отдаваясь волнамъ томительно-сладостныхъ ощущеній, Елена Михайловна закидывала вдругъ свою голову къ небесамъ и улыбалась, сверкая въ сумракѣ ночи своими бѣлыми красивыми зубами... Какъ хорошо! Чудится, что за спиною колыхаются крылья, и стоитъ только взмахнуть ими, чтобы улетѣть въ невѣдомый міръ, затеряться въ безбрежномъ эѳирѣ и потонуть въ морѣ безграничнаго счастья... Какъ хочется жить, любить!.. Когда всѣ гости уѣдутъ,— Волчанскій вернется, и они будутъ сидѣть здѣсь, на

верандѣ, вдвоемъ, и сердце будетъ замирать отъ счастья.

А пока рядомъ съ Еленой Михайловной стоялъ безъ шляпы Евгеній Алексѣевичъ, не отрываясь смотрѣлъ въ лицо ей и чувствовалъ, что онъ любитъ, любитъ до безумія, безразсудно, совсѣмъ по-юношески эту красивую и капризную женщину, похожую на избалованнаго ребенка... Евгенію Алексѣевичу казалось, что онъ никогда еще не испытывалъ такого глубокаго всепоглощающаго чувства...

Евгеній Алексѣевичъ взялъ руку Елены Михайловны, и эта рука дрогнула и слабо отвѣтила на его пожатіе. Потомъ онъ поднесъ эту руку къ своимъ губамъ, и рука не вырвалась, послушно отдаваясь чужой волѣ...

О, какъ счастливъ Евгеній Алексѣевичъ!

Черезъ густую зелень деревьевъ свѣтились окна большого дома; оттуда доносились голоса и веселый смѣхъ гостей, собравшихся провести день на пригородной дачѣ Елены Михайловны. Вотъ чьи-то руки упали на клавіатуру рояля, и изъ оконъ полились въ темноту ночи тихіе грустные аккорды...

Евгеній Алексѣевичъ прислушивался къ мелодичнымъ звукамъ, и ему было немного грустно и хорошо, и эта грусть становилась все шире и ощутительнѣе, щемила сердце, и ему хотѣлось плакать. Душа его переполнялась призракомъ какого-то великаго, недоступнаго человѣку счастья, котораго не было силъ и не находилось словъ, чтобы передать Еленѣ Михайловнѣ... Онъ слушалъ, какъ грустно пѣлъ рояль, и ему казалось, что все, что онъ не можетъ выразить словомъ, что ускользаетъ отъ ума, что прячется гдѣ-то въ глубинѣ души отъ сознанія и чего нельзя ни видѣть, ни слышать, ни даже — понять хорошенько, — все это передаютъ аккорды тихой и нѣжной мелодіи...

Было мгновеніе, когда Евгенію Алексѣевичу показалось вдругъ, что они съ Еленой Михайловной уже

сказали другъ другу все, что хотѣлось сказать, и онъ съ безграничнымъ восторгомъ торжествующей любви, съ отуманенными взорами, взялъ снова руку Елены Михайловны и прошепталъ:

— Лена! Ты будешь моей женой... да?

Елена Михайловна не отвѣтила: она тоже размечталась, хотя совершенно на другую тему.

— Да? будешь моею женою? — нѣжно повторилъ Евгеній Алексѣевичъ, заглядывая въ глаза Елены Михайловны.

Елена Михайловна, взглянувъ на него, отстранилась и отвѣтила:

— Что вы, Евгеній Алексѣевичъ? Опомнитесь!

Съ этими словами Елена Михайловна поднялась со скамьи и быстро пошла прочь.

— Елена Михайловна! Елена Михайловна! Погодите на минуту!—говорилъ Евгеній Алексѣевичъ, шагая слѣдомъ за Еленой Михайловной съ непокрытой головою, и обиженно улыбался, прислушиваясь къ шелесту платья любимой женщины, легкой тѣнью скользившей подъ крышей сплетшихся вѣтвей акаціи.

— Зачѣмъ вы меня мучаете? — сказалъ онъ съ дрожью въ голосѣ и остановился.

Шелестъ платья стихъ въ отдаленіи.

Что все это значитъ? Отчего Елена Михайловна за послѣднее время сдѣлалась какъ будто бы холоднѣе къ нему? Нѣтъ, это только такъ кажется. Она—странная женщина, непохожая на всѣхъ другихъ. Она его любитъ, но она любитъ его мучить, играть, какъ играетъ кошка съ мышью, прежде чѣмъ съѣсть ее. Въ ней столько непосредственности чувства, искренности! Сейчасъ она любитъ и готова отдать душу за любимаго человѣка, черезъ часъ—набѣжало облачко, солнышко скрылось, и Елена Михайловна способна до глубины души обидѣть, оскорбить его...

Такъ думалъ Евгеній Алексѣевичъ, медленно шагая

по темной аллеѣ по направленію къ свѣтящемуся окнами дому. И чѣмъ ближе онъ подходилъ къ дому, тѣмъ сильнѣе убѣждался, что это такъ, что Елена Михайловна его любитъ и что она будетъ его женой... О, какое счастье!..

Гости веселились, а Елена Михайловна — больше всѣхъ. Она звонко смѣялась, порой шалила совершенно непростительно съ мужчинами, какъ шалятъ только школьники, — и всѣмъ это нравилось, и всѣхъ поощряло къ шалостямъ и дурачествамъ. Играли, какъ ребята, въ фанты, и Елена Михайловна заставила всѣхъ хохотать отъ души, когда на ея долю выпалъ фантъ— сказать каждому въ глаза правду.

Евгенію Алексѣевичу Елена Михайловна сказала:

— Вы похожи на книгу, которая на первыхъ главахъ заинтересовываетъ, а потомъ кажется скучной, шаблонной...

— Такъ что не хочется дальше и читать?— спросилъ кто-то.

— Да. Скучно... Наивно ужъ очень!..

Волчанскому она сказала:

— Вы хитры, какъ лисица, и хищны, какъ шакалъ...

— У-у, страсти какія!.. Въ чемъ же проявляется моя хитрость?

— Догадайтесь!.. А все-таки на васъ можно положиться...

— Ну! хотя это утѣшеніе...

Эти двѣ „правды“ вонзили двѣ стрѣлы въ сердце Евгенія Алексѣевича. Онъ ушелъ къ столу съ винами и какъ-то отчаянно опрокинулъ въ горло рюмку, а за ней другую...

Волчанскій видѣлъ издали силуэтъ Евгенія Алексѣевича, отчаянно вливающаго въ горло утѣшительный напитокъ, и улыбнулся: ему вспомнилось, какъ когда-то та же самая картина происходила въ буфетѣ

театра, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ былъ самъ онъ, Волчанскій.

Евгеній Алексѣевичъ сдѣлался мрачнымъ и смотрѣлъ на Волчанскаго уничтожающимъ взоромъ. А тотъ, чувствуя подъ собой законную почву свободной конкуренціи, старался не замѣчать этихъ взглядовъ и, какъ ни въ чемъ ни бывало, оставался къ Евгенію Алексѣевичу попрежнему деликатенъ и внимателенъ, заговаривалъ съ нимъ о газетѣ, отчаянно либеральничалъ, острилъ надъ цензоромъ и относился къ Еленѣ Михайловнѣ совершенно такъ же, какъ и ко всѣмъ другимъ дамамъ... Наблюдая это послѣднее обстоятельство, Евгеній Алексѣевичъ начиналъ вѣрить въ свое счастье...

Послѣ фантовъ танцовали кадриль. Елена Михайловна подошла къ Евгенію Алексѣевичу и сказала:

— Что вы сегодня такой скучный? Пойдемте со мной танцовать!

Этого было вполнѣ достаточно, чтобы вѣра въ свое счастье окрѣпла, и вся мрачность отлетѣла. Евгеній Алексѣевичъ танцовалъ кадриль съ особеннымъ одушевленіемъ и граціей, обмахивался вѣеромъ своей дамы и сдѣлался снова веселъ, милъ, находчивъ... Когда кадриль кончилась, Елена Михайловна подхватила своего кавалера подъ руку и пошла съ нимъ.

При встрѣчѣ съ Волчанскимъ, Елена Михайловна выронила изъ руки вѣеръ и приказала:

— Поднимите!

Нѣсколько человѣкъ бросилось поднимать, но Волчанскій одержалъ побѣду: на его долю выпало удовольствіе получить отъ Елены Михайловны mercі.

Раздались звуки вѣнскаго вальса

— Пойдемте!—шепнула Елена Михайловна и приподняла уже свою руку, чтобы положить ее на плечо Евгенію Алексѣевичу.

— Вѣнскій не танцую...—съ грустью сказалъ Евгеній Алексѣевичъ,—давайте обыкновенный, въ два па...

— Не люблю! — отвѣтила Елена Михайловна и, отдавъ Евгенію Алексѣевичу пунцовую розу, поднесенную ей кѣмъ-то изъ кавалеровъ, улыбнулась навстрѣчу Волчанскому...

Вставши въ аркѣ, отдѣлявшей залъ отъ гостиной, Евгеній Алексѣевичъ слѣдилъ взоромъ за Еленой Михайловной... Вотъ она граціозно плаваетъ красивыми па вѣнскаго вальса, склонивъ на бокъ свою голову... Кончили туръ. Идутъ мимо... Какъ обворожительно хороша Елена Михайловна! Щеки горятъ, глаза блестятъ огоньками, грудь колышется...

Евгеній Алексѣевичъ почувствовалъ легкое головокруженіе, ему стало вдругъ душно и захотѣлось остаться одинъ-на-одинъ со своими грезами... Онъ вышелъ на террасу, спустился по ступенямъ широкой лѣстницы и медленно зашагалъ въ глубь темнаго сада...

Когда свѣтлые глаза дома пропали за листвою деревьевъ, Евгеній Алексѣевичъ прижалъ къ губамъ пунцовую розу и сталъ пить ея ароматъ, и въ этомъ ароматѣ, ему казалось, было что-то общее и съ его чувствомъ, и съ Еленой Михайловной, изъ рукъ которой перешелъ къ нему цвѣтокъ... На душѣ Евгенія Алексѣевича была музыка счастья... Ему хотѣлось сказать кому-нибудь объ этомъ счастьѣ... Онъ остановился, отнялъ отъ губъ розу, глубоко вдохнулъ полной грудью чистый воздухъ лѣтней ночи, посмотрѣлъ на темносинее небо, съ брошенными на немъ въ безпорядкѣ звѣздами, и прислушался... Въ домѣ играютъ все тотъ же вальсъ. Рояль звучитъ вдали, какъ арфа... Коростель кричитъ за Волгой... Листья шелестятъ... Нѣтъ, это—шаги, шелестъ платья...

Какъ застигнутый на мѣстѣ преступленія воръ, Евгеній Алексѣевичъ испугался этихъ шаговъ, и, сжавъ

въ рукѣ стебель розы, торопливо свернулъ въ темную аллею акацій.

Евгенію Алексѣевичу казалось, что тому, кто идетъ, покажется странной и смѣшной эта встрѣча съ уединившимся съ розою человѣкомъ... Пройдя по аллеѣ, онъ двинулся по узенькой тропинкѣ, среди кустовъ малинника и смородины, ведущей къ старой заброшенной бесѣдкѣ... Отсюда Евгеній Алексѣевичъ хотѣлъ перейти на лѣвую сторону сада, болѣе глухую и запущенную, а затѣмъ незамѣтно вернуться на террасу...

Онъ былъ уже возлѣ бесѣдки, когда чьи-то голоса заставили его вздрогнуть. Онъ инстинктивно замеръ на мѣстѣ.

Гдѣ-то тявкала собака, и стучалъ въ чугунную доску караульщикъ. А вблизи, почти рядомъ, скользили двѣ человѣческихъ тѣни и вполголоса разговаривали:

— Лена! Скажи правду: ты все-таки немного увлекалась этимъ лохматымъ художникомъ? а?

— Да клянусь тебѣ, — нѣтъ! Это былъ просто маленькій капризъ... А потомъ я сердилась на тебя и хотѣла тебѣ отомстить...

Лена? Какая Лена? она?

Сердце Евгенія Алексѣевича забило тревогу, въ глазахъ потемнѣло... Потемнѣли вдругъ и небо, и звѣзды на немъ: прозвучалъ поцѣлуй и повторились еще и еще..

— Люблю! люблю! люблю!—страстно шепталъ женскій голосъ.

— Ха-ха-ха! Браво!—неестественно громко расхохотавшись, закричалъ Евгеній Алексѣевичъ.

На мгновеніе сдѣлалось тихо, а потомъ рѣзкій, металлическій голосъ Волчанскаго произнесъ отчетливо:

— Шпіонъ!

И тѣни скрылись...

Евгеній Алексѣевичъ швырнулъ изъ рукъ пунцовую розу. Пошатываясь, добрелъ онъ до первой лавочки и, опустившись на нее, закрылъ лицо руками и застылъ...

Въ домѣ плясали. Звуки вальса долетали сюда, глухіе и нѣжные. Собака тявкала гдѣ-то. Коростель скрипѣлъ за Волгой...

XXII.

Со дня своихъ именинъ Захаръ Петровичъ началъ усиленно думать о службѣ. Глафира Ивановна, замѣтивъ въ мужѣ небывалый интересъ къ земскимъ начальникамъ, удвоила свои натиски. Благодаря этимъ натискамъ, Захаръ Петровичъ уже нѣсколько разъ садился писать прошеніе, однажды надѣвалъ даже фракъ, чтобы лично представиться губернатору и просить о мѣстѣ. Попытки эти, впрочемъ, до конца не доводились: то окажется, что въ сочиненномъ прошеніи стоитъ „ѣ“ на томъ мѣстѣ, гдѣ приличнѣе было бы помѣститься „е“, и наоборотъ, то въ заключеніе ляжетъ на бумагу рядомъ съ росчеркомъ чернильная клякса; на фракѣ не оказалось пуговицъ, а фрачныя панталоны—настолько узкими, что вызвали искреннее удивленіе Захара Петровича, перешедшее вслѣдъ затѣмъ въ недовольство Глафирой Ивановной.

— У васъ вѣчно нѣтъ пуговицъ!—сказалъ онъ раздраженно женѣ.

— Это у васъ, Захаръ Петровичъ,—спокойно возразила Глафира Ивановна.

— Это называется—жена!

— Напрасно думаете, что жена существуетъ для пуговицъ...

Захаръ Петровичъ такъ разсердился, что когда фракъ былъ приведенъ въ надлежащій видъ, а панталоны найдены другіе, не пожелалъ уже больше снова одѣваться и отложилъ дѣло до слѣдующаго пріемнаго дня.

— Захаръ!

— Что еще тамъ?

— Сегодня тебѣ — къ губернатору! — напомнила Глафира Ивановна.

— Знаю, безъ васъ знаю! — съ болѣзненнымъ стономъ отвѣтилъ Захаръ Петровичъ и добавилъ:

— Острый ножъ для меня эти оффиціальные визиты! Комедія!

— Ждешь, когда сами пригласятъ? — уколола Глафира Ивановна.

Захаръ Петровичъ сейчасъ же нашелъ себѣ дѣло по хозяйственной части, стараясь избавиться отъ этой „комедіи".

— Гаврила?—спросилъ онъ, выйдя на дворъ.

— Здѣся!

— Что у тебя каретникъ растворенъ?

— Для свѣту, баринъ. Пролетку мою.

— Ну мой, мой!..

Захаръ Петровичъ пошелъ въ каретникъ медленной, лѣнивой поступью человѣка, которому некуда дѣвать время. Здѣсь, остановившись около работавшаго Гаврилы, Захаръ Петровичъ смотрѣлъ и покуривалъ папироску.

— А вѣдь это, Гаврила, кажется—дыра?

— Гдѣ дыра?—тревожно спросилъ тотъ, переставая работать.

— Да вотъ здѣсь, въ кожѣ.

— Дыра-то дыра, да она махонькая, никакого вниманія нестоющая.

— У васъ, дураковъ, всегда такъ: у васъ все господское добро никакого вниманія не стоитъ!..

— Зачѣмъ же, Захаръ Петровичъ? А что касаемое дыры, такъ она, баринъ, прошлогодняя... Вы въ прошломъ году ругали ужъ меня за нее.

— Ну что ты врешь? Зачѣмъ врать?.. Осторожнѣй! Олухи! Дай-ка сюда тряпку!

Захаръ Петровичъ взялъ у Гаврилы тряпку и началъ любовно поглаживать ею свою пролетку.

— Вотъ какъ надо. Легонько! бережно!..

А Гаврила стоялъ и, ухмыляясь, смотрѣлъ на барина.

Провозившись часа полтора около пролетки, Захаръ Петровичъ, красный и потный, возвратился въ комнаты.

— Захаръ!

— Что еще?

— Ты не забылъ о губернаторѣ?

— Уфъ! видишь, я весь мокрый! Надо же остыть немного...

А когда Захаръ Петровичъ „остылъ“, и жена снова напомнила ему о губернаторѣ, — онъ посмотрѣлъ на карманные часы и сказалъ:

— Кто же, матушка, въ такое время ходитъ къ губернатору? теперь ужъ скоро два, надо одѣться, итти,—будетъ три...

— Что же ты думалъ раньше?

— Хоть разорвись: и туда, и сюда!.. вездѣ одинъ поспѣвай. Сущая каторга. Цѣлый день на ногахъ... Анатолій! опять стопталъ сапогъ? Я тебѣ что говорилъ? а?

Послѣдовалъ звонкій шлепокъ и затѣмъ гнусавый ревъ Анатолія.

— Черезъ два мѣсяца покупай имъ сапоги! Это... Это что-то удивительное! Изъ рукъ вонъ! Хоть бы ты немножко присмотрѣла за ними. Не могу же я, матушка, вездѣ—одинъ...

— Полноте вамъ, Захаръ Петровичъ, пустяки-то говорить!.. Одинъ! Одинъ! Тьфу!..

— Не харкайте, пожалуйста, Глафира Ивановна!.. Не забывайте, что вы—моя жена...

— Какая честь! Скажите пожалуйста! Вы лучше не забывайте, что вы мой мужъ...

— Къ сожалѣнію, Глафира Ивановна, это такъ...

— Тьфу! не смотрѣла бы!

— Сдѣлайте такое одолженіе!..

И Захаръ Петровичъ удалился отъ людей. Теперь у него было еще одно дѣло по душѣ: онъ завелъ большую тетрадь, озаглавилъ ее „Къ свѣдѣнію и руководству“ и, просмотрѣвъ хранившійся у него „Гражданинъ“ за два послѣднихъ года, вырѣзалъ и аккуратно подклеилъ на листки этой тетради всѣ статьи и замѣтки, касающіяся, прямо или косвенно, земскихъ начальниковъ; затѣмъ онъ уже не пропускалъ текущихъ номеровъ газеты и своевременно подклеивалъ свѣжія новости. Этимъ дѣломъ Захаръ Петровичъ увлекся и посвящалъ ему иногда цѣлые вечера, стараясь усовершенствовать и систематизировать подготовляемое имъ руководство. Расположивъ сперва матеріалъ въ хронологическомъ порядкѣ, Захаръ Петровичъ нашелъ потомъ, что удобнѣе разбить его по отдѣльнымъ группамъ; пришлось расшивать объемистую тетрадь, разбирать вырѣзки и снова сшивать. Въ тетради появились заголовки: I функціи, II розги и кабакъ, III циркуляры и проекты, IV нравственность крестьянъ, V письма съ поля дѣйствія...

Глядя на корпящаго по вечерамъ надъ газетнымъ хламомъ мужа, Глафира Ивановна чувствовала душевное спокойствіе, отраду и старалась не нарушать занятій мужа. Къ этому любимому дѣлу Захаръ Петровичъ прибѣгалъ всегда и въ тѣхъ случаяхъ, когда его выводили изъ терпѣнія жена или дѣти. Ушелъ онъ и теперь. Выйдя изъ кабинета только пообѣдать, Захаръ Петровичъ сейчасъ же снова удалился и сѣлъ за газеты.

— Отнесите Захару Петровичу чай въ кабинетъ!

— Толя! Коля! не кричите и не бѣгайте: отецъ занимается...

— Что тебѣ, Гаврила?

— Насчетъ мерена съ бариномъ покалякать надо.

— Послѣ! Теперь барину некогда, занятъ онъ...

Захаръ Петровичъ, шелестя бумагою, прислушивался

къ этимъ разговорамъ вдали и проникался чувствомъ глубокаго самопочтенія. Дѣловито откашлянувшись, онъ всталъ съ мѣста и закричалъ:

— Что тамъ еще съ мереномъ? Всегда лѣзутъ, когда я занятъ.

— Скучатъ что-то меренъ у насъ, баринъ! — крикнулъ изъ передней Гаврила.

Захаръ Петровичъ бросилъ любимое дѣло и вышелъ въ одномъ жилетѣ, съ перомъ за ухомъ.

— Что такое?

— Меренъ, говорю, что-то скучатъ у насъ...

— Что же, я еще и мерена долженъ по-твоему развлекать? а?

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Я только сказать... Не захворалъ бы!..

— Дуракъ, и больше ничего!

Захаръ Петровичъ съ сердцемъ захлопнулъ дверь кабинета, заперъ на ключъ и опять усѣлся за газетныя вырѣзки.

Однажды Глафира Ивановна получила письмо отъ своей сестры изъ Толоканска, жены управляющаго удѣльнымъ округомъ. Предпославъ различныя семейныя новости и описавъ геніальность своего ползающаго потомства, сестра, между прочимъ, высказывала свое соболѣзнованіе по поводу бездѣльничанья Захара Петровича и тоже удивлялась, почему онъ не поступитъ въ земскіе начальники. „Въ нашей губерніи,—писала она,—сдѣлать это легко, потому что не хватаетъ своихъ дворянъ и принимаютъ изъ чужихъ губерній. А мой Петя очень хорошъ съ вице-губернаторомъ и съ предводителемъ и бываетъ на картахъ у губернатора. Мы съ женой предводителя — большія пріятельницы и,—представь, Глаша!—у обѣихъ насъ въ прошломъ году родилось по двойнямъ!.. Это насъ еще болѣе сблизило... Если Захаръ Петровичъ хочетъ,—мы устроимъ—въ земскіе“...

— Можно тебѣ немножко помѣшать? — спросила Глафира Ивановна, подходя съ этимъ письмомъ къ двери кабинета.

— Что еще? Опять что-нибудь съ мереномъ случилось?

— Письмо отъ Капочки. Прочитай, очень интересно для тебя.

— Что тутъ особенно интереснаго? Навѣрное опять про двойни пишетъ... два письма читалъ и въ обоихъ есть о двойняхъ. Забываетъ и пишетъ одно и то же... Воображаетъ, что это такъ интересно.

Захаръ Петровичъ сталъ небрежно пробѣгать строки. Лицо его становилось все серьезнѣе...

— Прекрасно!.. Только едва ли что-нибудь выйдетъ... Напиши, что я не имѣю ничего противъ... Удивляетъ меня, матушка, одно только: зачѣмъ ты по всей Россіи пишешь, что я ничего не дѣлаю. Твоя Капочка, которая кромѣ своихъ двоенъ ничего не знаетъ, позволяетъ себѣ говорить, что я — болтаюсь безъ дѣла! Уйду вотъ! брошу все къ чорту, тогда посмотримъ...

— Ну вотъ и поѣзжай на службу.

— И поѣду!

— И отлично!

— И прекрасно!

— Баринъ! — послышался голосъ Гаврилы изъ передней.—Надо бы помойную яму почистить... Фараонъ второй разъ приходилъ...

— Вотъ-съ! не угодно ли, сударыня, заняться этимъ дѣломъ?—съ злорадствомъ спросилъ Захаръ Петровичъ жену и потомъ вышелъ къ Гаврилѣ и внушительно, громко и членораздѣльно отдалъ распоряженіе:

— Теперь я слагаю съ себя всѣ обязанности. Съ помойными ямами, съ меренами и со всякой тамъ ерундой изволь впредь обращаться къ барынѣ. Слышишь?

Гаврила молчалъ и лишь переминался съ ноги на ногу.

— Теперь я не хозяинъ. Слышишь? Къ барынѣ, — еще громче повторилъ Захаръ Петровичъ, погрозилъ Гаврилѣ пальцемъ и ушелъ въ кабинетъ.

Дѣйствительно, съ этого дня Захаръ Петровичъ уже совершенно ушелъ въ свое любимое дѣло и отрывался отъ него лишь затѣмъ, чтобы пообѣдать и поужинать; чай онъ сталъ пить въ кабинетѣ, между дѣломъ. Не бросалъ Захаръ Петровичъ только редакціи; каждый день, попрежнему, заходилъ онъ сюда, спрашивалъ: „ну, что новенькаго въ газетахъ пишутъ?“ бралъ, „Гражданинъ“ и, видя, что онъ не распечатанъ, удивлялся.

— Плохо за литературой слѣдите!..

Однажды онъ, по обыкновенію, пришелъ въ редакцію, но ничего не спрашивалъ, а оффиціальнымъ тономъ попросилъ свиданія съ редакторомъ.

Его пригласили въ кабинетъ къ Промотову.

— Много у васъ подписчиковъ?—спросилъ Захаръ Петровичъ, нахмуривъ брови.

— Н... не особенно...

— Хотите: увеличится вдвое?

— Отчего же...

Промотовъ улыбнулся.

— Умно вы пишете, нѣтъ словъ, да... скучно, господа! И невесело, и непрактично. Пользы мало извлекаетъ подписчикъ изъ вашихъ писаній...

— Ну-съ?

— Я вамъ принесъ, Владиміръ Николаевичъ, одну вещь, которая, дѣйствительно, будетъ очень многимъ полезна и практична...

Самодовольно улыбаясь, Захаръ Петровичъ вытащилъ изъ бокового кармана объемистую тетрадь, расправилъ ее и торжественно положилъ на столъ передъ Промотовымъ.

— Три мѣсяца не вставая работалъ... Спины не

разгибалъ!.. Гонорарія не надо... Богъ съ вами! Я такъ, изъ высшихъ интересовъ,—сказалъ Захаръ Петровичъ, воображая, какъ онъ поразилъ Владиміра Николаевича отказомъ отъ гонорара.

Промотовъ посмотрѣлъ на заголовокъ тетради, перелистовалъ ее, выпустилъ „гм!“ и улыбнулся.

— Неподходяще,—сказалъ онъ, стараясь смягчить отказъ.

— Да вы прочитайте!—обиженно воскликнулъ Захаръ Петровичъ.

— Хорошо. Оставьте!

— Капитальная вещь! Какъ это не подходяще?!

— Мѣста много займетъ.

— Ничего не значитъ! Пускайте фельетоны, разъ въ недѣлю.

— Хорошо. Оставьте. Посмотримъ...

Съ этихъ поръ Захаръ Петровичъ, заявляясь въ редакцію, всегда, послѣ вопроса о новенькомъ, предлагалъ и другой вопросъ:

— Ну, когда начнете печатать мое сочиненіе?

Однажды, когда Захаръ Петровичъ спросилъ объ этомъ Силина, тотъ пренебрежительно потрясъ въ рукахъ произведеніе Захара Петровича, и, возвращая тетрадь автору, махнулъ рукой и сказалъ:

— Ерунда, Захаръ Петровичъ!

Захаръ Петровичъ не ожидалъ ничего подобнаго; его физіономія вытянулась, сердце закипѣло негодованіемъ. Спрятавъ рукопись въ карманъ и не простясь съ сотрудниками, Захаръ Петровичъ пошелъ изъ редакціи.

И больше онъ не приходилъ справляться о „новенькомъ“.

Захаръ Петровичъ былъ такъ оскорбленъ и униженъ, что не пожелалъ даже получать „Вѣстникъ“, несмотря на то, что получалъ онъ его безплатно. „Прошу прекратить высылку вашей газеты, потому что

у меня нѣтъ времени читать всякую ерунду",—написалъ онъ въ редакцію „Вѣстника" по городской почтѣ.

Произошелъ полный разрывъ Промотовыхъ съ Рябчиковыми. Захаръ Петровичъ не выносилъ „Вѣстника" и на всѣхъ перекресткахъ кричалъ, что газетой завладѣли нигилисты, и что порядочному человѣку не только не слѣдуетъ выписывать ее, но даже завертывать въ нее ваксу. Впрочемъ, не одинъ Захаръ Петровичъ былъ такого мнѣнія: большинство подписчиковъ были недовольны „Вѣстникомъ" подъ новой редакціей. Сотрудники распинались, чтобы сдѣлать изъ газеты органъ съ цѣльнымъ направленіемъ, органъ серьезный: они помѣщали тамъ длинныя экономическія статьи, переводы съ нѣмецкаго, полемизировали съ далекими противниками по принципіальнымъ вопросамъ и думали, что каждый номеръ для всѣхъ такъ же интересенъ, какъ для нихъ самихъ... А обыватель засыпалъ надъ „скучной матеріей", безчисленными цифрами, фактами, ругался, встрѣчая много непонятныхъ научныхъ терминовъ, и удивлялся непонятной полемикѣ изъ-за какихъ-то тамъ „факторовъ" политическихъ, экономическихъ и нравственныхъ, до которыхъ ему не только не было никакого дѣла, но о существованіи которыхъ онъ подчасъ даже и не подозрѣвалъ вовсе...

— Скучная газета!--говорили одни.

— Опять развели свою статистическую антимонію,— сердились другіе.

— Нечего почитать... Экъ изгадилась газета!

Лучшіе изъ благополучныхъ обывателей смѣялись надъ „Вѣстникомъ" съ чужого голоса; перечитывая журнальныя статьи полемическаго характера и привыкши безпрекословно внимать голосу генераловъ отъ литературы, эти обыватели такъ и жарили чужими фразами.

Оставался вѣренъ „Вѣстнику" только Петръ Максимычъ Коровинъ, который продолжалъ брать газету и

находилъ въ ней неисчерпаемый источникъ новыхъ свѣдѣній. Были, впрочемъ, и еще поклонники: пріѣзжіе на лѣто изъ университетскихъ городовъ студенты. Многіе изъ нихъ сочли долгомъ сдѣлать визитъ „Вѣстнику“, познакомились съ сотрудниками и аккуратно перечитывали каждый номеръ газеты. Они почти ежедневно забѣгали въ редакцію то поодиночкѣ, то цѣлой компаніей, любили здѣсь потолкаться и поговорить съ Зинаидой Петровной; всѣ они получали „Вѣстникъ“ и изрѣдка сами давали небольшія статейки. Иногда они собирались у Промотовыхъ почитать новый журналъ или послушать написанную Владиміромъ Николаевичемъ статью, и автору было пріятно, что его произведеніе вызываетъ оживленный разговоръ и дебаты. Между студентами сидѣлъ обыкновенно и Максимычъ,—какъ называли всѣ они Коровина,—и тоже слушалъ съ нахмуреннымъ лбомъ и низко опущенной головою чтеніе; въ споры онъ не вступалъ, но по лицу его было видно, какое живое участіе принимаетъ онъ въ общемъ разговорѣ своимъ умомъ и сердцемъ: глаза его то смѣялись, то дѣлались серьезными, на лицѣ то вспыхивалъ румянецъ, то оно покрывалось какими-то тѣнями думъ и печали...

Съ матеріальной стороны дѣла „Вѣстника“ шли съ каждымъ мѣсяцемъ хуже. Были подписчики въ столицахъ, въ большихъ центрахъ, было даже нѣсколько подписчиковъ во Франціи и Соединенныхъ Штатахъ, но мѣстные и областные подписчики быстро сокращались, розничная продажа съ каждымъ днемъ падала.

— Возьмите, господинъ, „Вѣстникъ“! Интересный фельетончикъ!—предлагалъ толкавшійся на перекресткѣ улицъ разносчикъ въ красной фуражкѣ и совалъ проходившему мимо барину свѣжій номеръ „Вѣстника“.

Баринъ пренебрежительно шевелилъ пальцемъ и молча проходилъ мимо, полный недосягаемаго величія.

Но самый сильный, такъ сказать, смертельный ударъ

былъ нанесенъ „Вѣстнику“ его бывшимъ издателемъ, Борисомъ Дмитріевичемъ Сорокинымъ.

Этотъ фениксъ опять возродился изъ пепла...

Недовольство обывателей „Вѣстникомъ“ подъ новой редакціей всегда сопровождалось сожалѣніемъ о „Вѣстникѣ“ старомъ, временъ Бориса Дмитріевича. Тѣ самые обыватели, которые бранили не такъ давно Бориса Дмитріевича, теперь вспоминали о немъ въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ:

— То ли дѣло было при Борисѣ Дмитріевичѣ!.. Ужъ коли проберетъ, такъ дѣйствительно проберетъ... Читать весело и пріятно... А это что? Канитель на постномъ маслѣ...

Однимъ словомъ, общественное мнѣніе города постепенно складывалось въ пользу погибшаго феникса, чѣмъ тотъ и не замедлилъ воспользоваться. При помощи Волчанскаго и примадонны Семирамидиной, Борисъ Дмитріевичъ получилъ генеральское одобреніе своей идеи—купить „Справочный листокъ объявленій“, расширить его программу и такимъ образомъ создать вторую газету, особенно необходимую въ настоящее время въ видахъ противовѣса „Вѣстнику“.

Идея Бориса Дмитріевича осуществилась очень быстро, и у „Вѣстника“ явился сильный и опасный конкурентъ.

Въ первомъ номерѣ реформированнаго „Листка“ Борисъ Дмитріевичъ выступилъ за подписью „Стараго знакомаго“ съ теплымъ обращеніемъ къ читателю:

„Мы,—писалъ онъ,—прежде всего N-скіе жители и потому считаемъ наиболѣе существеннымъ пунктомъ нашей программы писать о мѣстныхъ нуждахъ, мѣстныхъ интересахъ, разрабатывать наши собственные N-скіе вопросы, а не разглагольствовать объ идеалахъ и принципахъ, несогласныхъ съ самымъ существомъ русскаго человѣка. Какое намъ дѣло до всѣхъ этихъ рейхстаговъ и рейхсратовъ, когда у насъ есть свои

собственныя, освященныя закономъ и временемъ учрежденія?..“ и т. д.

Одновременно съ открытіемъ второй газеты ушелъ изъ „Вѣстника“ старый конторщикъ и сторожъ Ильичъ, а вмѣстѣ съ нимъ исчезла и книга адресовъ иногородннихъ подписчиковъ. Сотрудники „Вѣстника“ очень безпокоились объ этихъ иногородннихъ подписчикахъ, старались возстановить по памяти и по старымъ книгамъ исчезнувшіе адреса ихъ. А иногородніе подписчики были столько же удивлены, сколько и обрадованы, когда въ одинъ прекрасный день получили, вмѣсто скучнаго „Вѣстника“, веселый „Листокъ“...

XXIII.

Стоялъ августъ, теплый, солнечный, ведренный... На деревьяхъ появились первые золотые листочки... Въ воздухѣ, насыщенномъ запахомъ спѣлыхъ яблокъ и огурцовъ, плавали паутинки, въ садахъ расцвѣли георгины, на поляхъ, остриженныхъ серпомъ словно подъ гребенку, встали пирамидки сжатаго хлѣба...

Софья Ильинишна любила это время.

Почти каждый день она уходила за городъ, въ поле, и безцѣльно бродила по дорогѣ и по межамъ, убѣгавшимъ межъ сжатой ржи куда-то далеко... Она шла, пока городъ не исчезалъ за пригоркомъ, поросшимъ мелкимъ дубнякомъ, и тогда усаживалась гдѣ-нибудь подъ кустикомъ и наслаждалась полнымъ одиночествомъ... Солнышко грѣетъ такъ ласково, въ сжатомъ хлѣбѣ перекликаются перепела... Тихо такъ и спокойно... Передъ глазами—желтѣющее поле уходитъ къ самому горизонту; синее небо съ повисшимъ въ немъ бѣлымъ облакомъ широко опрокинулось надъ головою... Гдѣ-то, очень далеко, бѣлѣетъ колокольня сельской церкви... Изрѣдка по дорожкѣ, змѣей пробѣгающей по жнитву, труситъ крестьянская лошадка... Какая-то тихая

грусть разлита въ природѣ, и эта грусть навѣваетъ на душу кроткое спокойствіе, какую-то примиренность. Отлетаютъ всѣ заботы, вся горечь жизни и, словно рука матери, ласкаютъ лицо и слухъ вѣтерокъ и пѣсня перепела...

Однажды вечеромъ, когда Софья Ильинишна вернулась съ такой прогулки, Дарья Игнатьевна встрѣтила ее такими словами:

— Отравилась ваша практика-то!.. Спичекъ нажралась!

— Кто? — вздрогнувъ, спросила Софья Ильинишна.

— Да та, что къ вамъ-то все бѣгала!.. Вчера ночью!

— Что вы говорите?

— Отравилась!.. Вотъ вѣдь дуры, прости Ты, Господи, мое согрѣшеніе! Словно не знаютъ, на что идутъ... Дочь чиновника... Отецъ-то, говорятъ, съ ума сходитъ... Вотъ онѣ, понѣшнія-то крали! Чуть только подрастетъ,— сейчасъ и любовника заводитъ...

— Жива она?

— Зачѣмъ жива? Померла! — съ какой-то радостью поспѣшила сообщить Дарья Игнатьевна, — давеча и гробъ провезли! плохонькій гробъ, изъ дешевенькихъ... Все-таки, чиновники: поприличнѣе надо бы...

Софья Ильинишна почувствовала, какъ задрожали у нея ноги. Сперва ей захотѣлось куда-то побѣжать, предпринять что-то, но сейчасъ же этотъ инстинктивный порывъ погасъ... Все покончено. Некуда итти и нечего дѣлать... Кто-то тамъ все устроилъ, по-своему разрѣшилъ трудную задачу: Наташу избавилъ отъ страданій и позора, а Софью Ильинишну освободилъ отъ участія въ нравственномъ преступленіи... И все это такъ скоро и безповоротно! Не прошло еще и двухъ недѣль съ тѣхъ поръ, какъ Наташа сидѣла вотъ на этомъ самомъ стулѣ, гдѣ сидитъ теперь Софья Ильинишна. Образъ Наташи, какъ живой, всталъ въ памяти

Софьи Ильинишны. Изъ-подъ шали смотрѣли на нее съ мольбою добрые глаза дѣвушки, и губы ея шептали: „ну пожалѣйте же меня!..“

Софья Ильинишна сидѣла на стулѣ и тупо смотрѣла въ землю; холодный потъ выступилъ у нея на лбу, руки дрожали, губы кривились странной улыбкой... „Наташа, Наташа!“—шептала она и еще ниже опускала свою голову... На столѣ лежала роговая шпилька; эта шпилька Наташина: она обронила ее у Софьи Ильинишны и все позабывала взять... Софья Ильинишна увидѣла эту шпильку, взяла ее въ руки и долго смотрѣла на нее... Какая-то связь между этой пустой вещицей и умершей Наташей, кажется, остается еще не порванной, и Софья Ильинишна внимательно смотритъ, вертитъ шпильку въ рукѣ, и слезы падаютъ съ ея рѣсницъ и катятся по щекамъ.

— Наташа, Наташа, зачѣмъ ты такъ сдѣлала?!

Софья Ильинишна кинулась въ постель и неудержимо разрыдалась...

— Что это вы?.. Нервы-то у васъ ничего не стоятъ... Что она вамъ?—ни мать, ни сестра... Жалко, конечно, а все-таки ревѣть-то не изъ-за чего... Обо всѣхъ плакать, такъ и слезъ не хватитъ! — говорила Дарья Игнатьевна, стоя въ дверяхъ.

Софья Ильинишна молчала, уткнувшись лицомъ въ подушку. Она только отмахивалась рукою отъ разсужденій Дарьи Игнатьевны.

На другой день, едва Софья Ильинишна очнулась отъ коротенькой дремоты съ страшной головной болью и съ пустотой на сердцѣ, какъ Дарья Игнатьевна просунула въ дверь руку и сказала:

— Письмецо вамъ!

Софья Ильинишна выхватила изъ руки письмо, разорвала конвертъ и прочитала:

„Прощайте, милая Софья Ильинишна! Я прощаюсь только съ папашенькой, мамашенькой и съ вами;

больше мнѣ не съ кѣмъ прощаться. Меня всѣ осудятъ и будутъ смѣяться. Вы добрая, и я поняла, что нельзя другого человѣка изъ-за себя въ грѣхъ вводить. Придите въ церковь со мной проститься. Я буду знать, что кромѣ папашеньки съ мамашенькой меня провожаетъ еще одинъ человѣкъ, который проститъ мнѣ мое прегрѣшеніе. Готовая къ услугамъ, ваша покорнѣйшая слуга Наталья Травкина".

День былъ веселый, радостный. Солнышко свѣтило въ окошко и играло на полу свѣтлыми пятнами. За окномъ ворковали голуби. Благовѣстили къ обѣднѣ. Мимо окна торопливо шмыгали барыни и кухарки съ корзинами, полными зелени и мяса, возвращаясь съ базарной площади. Изъ кухни доносился стукъ тяпки,— Дарья Игнатьевна рубила мясо на котлеты... Все шло своимъ чередомъ...

У Николы звонили не такъ, какъ въ другихъ церквахъ: сперва звучалъ маленькій колоколъ, потомъ побольше, еще больше, и наконецъ раздавался какой-то нестройный надтреснутый аккордъ, въ которомъ басомъ гудѣлъ большой колоколъ.

У Николы былъ покойникъ: туда несли Наташу.

Софья Ильинишна исполнила желаніе Наташи: пошла въ церковь.

Въ церкви было много народу. Никто не интересовался живой Наташей, но всѣмъ было интересно посмотрѣть на нее мертвую...

Наташа сильно измѣнилась. Въ своемъ розовомъ гробѣ „изъ дешевенькихъ" она какъ-то пряталась отъ любопытныхъ взоровъ публики, которая тѣснилась къ ней со всѣхъ сторонъ, готовая оттолкнуть папашеньку и мамашеньку. Софья Ильинишна не рѣшилась подойти ближе: ей было страшно посмотрѣть въ лицо мертвой Наташи. Вставши въ дальнемъ углу церкви, вблизи отъ выхода, Софья Ильинишна стояла безъ движенія, сосредоточенная и серьезная. Грустные погребальные

напѣвы разносились подъ сводами стараго храма и огоньки свѣчъ въ какомъ-то туманѣ мерцали въ заволоченныхъ слезами глазахъ Софьи Ильиничны. На клиросѣ пѣли „Благослови, душе моя, Господа“, и въ печальные аккорды пѣснопѣнія врывались чьи-то стоны и всхлипыванія.

Рыдала мать Наташи. Илья Гаврилычъ стоялъ смиренный, покорный, трясъ своей головой съ всклокоченными сѣдинами и шамкалъ беззубымъ ртомъ: „да будетъ воля Твоя, да будетъ воля Твоя“...

Когда Наташу выносили изъ церкви, въ дверяхъ произошла страшная давка отъ хлынувшаго къ выходу народа. Гробъ колыхался въ пестрой толпѣ и казался лодкой, плывшей на волнахъ по теченію... Когда онъ плылъ мимо, такъ близко, почти рядомъ, Софья Ильинишна рванулась вдругъ за гробомъ и стала мысленно твердить: „прости меня, прости меня!“

Опять съ колокольни раздавался перезвонъ. Извозчики торопились схватить сѣдока и наскакивали другъ на друга. Прохожіе останавливались и снимали шапки. Городовой сердито спорилъ о чемъ-то съ Дарьей Игнатьевной. Нѣсколько чиновниковъ, сослуживцевъ Ильи Гаврилыча, съ женами, стояли кучкой, болтая о чемъ-то между собою.

Когда на паперти показался гробъ и за нимъ лысая голова Ильи Гаврилыча съ развѣвающимися по вѣтру сѣдыми височками, чиновники сдѣлали грустныя лица, стали вздыхать и торопливо креститься.

Гдѣ-то солдаты съ пѣсней, свистомъ и барабаннымъ боемъ возвращались съ ученья, и ихъ залихватская пѣсня мѣшалась съ погребальными мотивами, и казалось, что смерть сплетается съ жизнью...

Софья Ильинишна машинально пошла за печальной процессіей, торопливо шагая за быстро уносимымъ гробомъ. На нее смотрѣли и удивлялись, потому что лицо ея сейчасъ же выдавало еврейку. Дошли до клад-

бища, и на дальней аллеѣ, подъ березами, похоронили Наташу. Всѣ ушли, остались только три человѣка: отецъ съ матерью да вдали, межъ деревьями, Софья Ильинишна. Отецъ трясъ непокрытой головой, стоя надъ свѣжимъ могильнымъ холмомъ, а старуха-мать стояла на колѣняхъ и опускала голову на глину могилы. Кругомъ пѣли птицы, и солнышко, прорываясь черезъ вѣтви деревьевъ, играло на травѣ бликами... По аллеямъ бродили рѣдкіе прогуливающіеся посѣтители; они останавливались у нѣкоторыхъ памятниковъ и читали надписи; завидѣвъ Илью Гавриловича, они сейчасъ же сворачивали въ сторону, желая миновать непріятное зрѣлище...

Софья Ильинишна стояла и думала о томъ, что она могла бы спасти Наташу отъ смерти, и тогда не было бы ни этого глинистаго кургана, ни этихъ двухъ людей, совершенно разбитыхъ и уничтоженныхъ...

— Пойдемъ, Машенька!—сказалъ старикъ и нетвердымъ шагомъ пошелъ прочь отъ могилы; старушка начала торопливо креститься и кланяться могилѣ, потомъ встала и, оглядываясь назадъ, пошла за мужемъ. Когда старики скрылись за деревьями, Софья Ильинишна подошла къ могилѣ и тоже постояла здѣсь съ понуренной головою и тоже ушла. Она такъ устала, что не могла итти домой пѣшкомъ. Выйдя за ворота кладбища, она сѣла на извозчика. Извозчикъ попался веселый и, слегка подхлестывая свою лошадку, разговаривалъ и шутилъ съ ней.

— Смотрите, барышня, меньше четвертака я не повезу такую даль!—предупредилъ онъ, обернувшись къ Софьѣ Ильинишнѣ.

— Хорошо.

Извозчикъ подхлестнулъ лошадь, и пролетка покатилась, упруго подпрыгивая на рытвинахъ и выбоинахъ дороги и побрякивая желѣзными рессорами.

Когда Софья Ильинишна пріѣхала домой и вошла

въ свою комнату, въ душу ея хлынула тоска... Казалось, что она потеряла послѣдняго родного ей на землѣ человѣка... Посидѣла на стулѣ, опять повертѣла въ рукахъ роговую шпильку; сѣла у окна, взяла книгу, но читать не могла... Сердце ныло, и было скучно, невыносимо скучно и тяжело... Надо уйти, потому что тоска гложетъ все сильнѣе, и лицо мертвой Наташи представляется, восковое, съ темными пятнами и острымъ носомъ.

Софья Ильинишна вышла на улицу и направилась на бульваръ набережной. Усѣвшись здѣсь на скамейкѣ, она смотрѣла, какъ отваливали отъ пристаней пароходы и убѣгали, оставляя за собой длинный хвостъ взбудораженной воды и черную ленту клубящагося дыма; слушала, какъ галдѣли внизу, подъ горой, рабочіе, копошась около затонувшей баржи, и какъ они пѣли „вотъ разокъ, еще разокъ, еще махонькій разокъ да у-у-у-у-хъ“. Мимо фланировали обыватели, совершающіе свой утренній моціонъ. Вотъ идетъ корректный господинъ медленной поступью, съ заложенными за спину руками въ перчаткахъ, и покачиваетъ за спиною тросточкой. Лицо очень знакомое. Гдѣ-то Софья Ильинишна встрѣчалась съ этимъ господиномъ... Кто онъ?..

Поровнявшись съ Софьей Ильинишной, господинъ приподнялъ надъ головою свою шляпу котелкомъ и слегка поклонился. Софья Ильинишна отвѣтила. Господинъ подсѣлъ къ ней, вынулъ массивный серебряный портсигаръ и закурилъ папиросу. Кто онъ?

— Прелестная погода! дивное утро!—сказалъ господинъ, ковыряя тросточкой желтый песокъ около лавочки.

— Да! Очень хорошо,—отвѣтила Софья Ильинишна, тщетно стараясь вспомнить, гдѣ и когда она видѣла своего сосѣда. А сосѣдъ сперва спросилъ ее о томъ, какъ дѣла, есть ли практика, потомъ обратилъ внима-

ніе на лодочку, чернымъ пятномъ мелькавшую въ волнахъ, позади парохода, и наконецъ спросилъ:

— Ну, какъ Елена Михайловна?

— Я ее давно уже не видала, — отвѣтила Софья Ильинишна, моментально догадавщись, что рядомъ съ нею сидитъ тотъ самый докторъ, который дѣлалъ Еленѣ Михайловнѣ операцію.

— А пролежала она еще три дня, какъ я велѣлъ ей? Она очень нетерпѣлива и непослушна...

— Кажется, нѣтъ...

— Напрасно!

Докторъ покачалъ головой и сталъ объяснять, что въ такихъ случаяхъ необходимо выдержать больную въ постели возможно дольше, и ударился въ спеціальный медицинскій разговоръ, изъ котораго Софья Ильинишна поняла, что ея сомнѣнія относительно характера болѣзни Елены Михайловны были вполнѣ основательны, и что докторъ „спасалъ“ ее именно такъ, какъ упрашивала Софью Ильинишну спасти Наташа.

Докторъ еще говорилъ о многомъ, жаловался на отсутствіе въ городѣ знающаго товарища-акушера, но Софья Ильинишна не слушала. Она неподвижно смотрѣла въ луговую сторону Волги, гдѣ синѣлъ зубчатый контуръ далекаго лѣса, и ей хотѣлось уйти куда-то, далеко-далеко, за этотъ лѣсъ, на край свѣта, гдѣ въ легкой, прозрачной дымкѣ купаются бѣлыя облака и гдѣ, должно быть, такъ хорошо, такъ тихо и спокойно...

XXIV.

Въ редакціи „Вѣстника“ шелъ большой сумбуръ. Новый конторщикъ былъ неопытенъ и все путалъ. Новый сторожъ не умѣлъ разыскивать, въ случаѣ надобности, редактора, а редакторъ не только забросилъ „театръ и музыку“, но прямо таки плюнулъ на всѣ свои обязанности. Матеріальныя дѣла газеты совершен-

но пошатнулись. Постоянные платежи то за бумагу, то за печать въ типографію, то сотрудникамъ и служащимъ не пополнялись приходомъ и давно уже совершались на счетъ быстро таявшаго промотовскаго наслѣдства. Объявленій почти не поступало: они всѣ перешли въ „Листокъ"; полугодовая подписка не прибавила, а убавила подписчиковъ. Въ довершеніе непріятностей въ „Гражданинѣ" стали систематично появляться выдержки изъ „Вѣстника" съ ужасными коментаріями и восклицаніями „caveant consules"!

— Опять господа, „caveant consules"! — кричалъ Силинъ, натыкаясь на обличительный пафосъ „Гражданина".

— Пускай! „Гражданинъ" потерялъ свой престижъ давно уже...

— Однако мы, кажется, состоимъ подъ неусыпнымъ надзоромъ почтеннаго князя?..

— Я увѣренъ, что причиной этому обстоятельству вашъ милѣйшій родственникъ, Рябчиковъ... Онъ вѣдь хвастался, что состоитъ въ перепискѣ съ княземъ...

— Ну и нравы!..

Подъ впечатлѣніемъ одного изъ такихъ „caveant consules" Силинъ настрочилъ злобный фельетонъ на тему объ отношеніяхъ между провинціальной газетой и обывателями. Характеризуя послѣднихъ, онъ нарисовалъ типъ читателя-доносчика.

На землѣ всего страшнѣе
Ссора съ гадиною мелкой,
Защищающейся вонью,

закончилъ онъ свой фельетонъ.

На другой день, въ числѣ полученныхъ редакціей писемъ, было одно анонимное. Авторъ его ругалъ газету, редактора и всѣхъ сотрудниковъ самыми сквернѣйшими словами и въ заключеніе заявлялъ: „Читаю „Гражданина" и „Русь" и ничего не боюсь!"

— Это вашъ родственникъ пишетъ,—сказалъ Силинъ, бросая письмо.

— Ну, ужъ вы, кажется, готовы всякіе помои лить на нашихъ родственниковъ,—обиженно отвѣтила Зинаида Петровна,—каковъ бы ни былъ мой братъ, а на такую мелкую подлость онъ все-таки не пойдетъ...

— Вы думаете? Почему же?.. Потому что—дворянинъ?—съ усмѣшкой спросилъ Силинъ.

— Не хочу я съ вами говорить!..

— Въ васъ говоритъ еще родовое начало...

— А въ васъ—злоба!.. Какъ вы любите злословить!..

Они едва не поссорились... Нѣсколько дней избѣгали излишнихъ разговоровъ и сухо здоровались при встрѣчѣ. Зато какъ же торжествовалъ Силинъ, когда братецъ преподнесъ Зинаидѣ Петровнѣ уже явную, неопровержимую подлость.

Захаръ Петровичъ прислалъ въ редакцію оффиціальное заявленіе съ предложеніемъ уплатить ему за истекшее полугодіе арендную плату за квартиру, согласно условія—250 р., и 250 р. впередъ за остальное полугодіе...

— Что такое?.. Не можетъ быть!

Зинаида Петровна прочитала это заявленіе дважды и все-таки не вѣрила своимъ глазамъ. Онѣ условились съ Глафирой Ивановной, что тѣ 500 руб., которые Зинаида Петровна дала Рябчиковымъ заимообразно, на уплату какихъ-то тамъ процентовъ, пойдутъ въ уплату за снятую квартиру.

Зинаида Петровна сейчасъ же отвѣтила письмомъ къ Глафирѣ Ивановнѣ, прося ее разъяснить недоразумѣніе. Отвѣтъ пришелъ отъ Захара Петровича: онъ управляетъ домомъ, онъ сдавалъ квартиру, и ему нѣтъ никакого дѣла до какихъ-то тамъ разсчетовъ частнаго характера.

— Вы, конечно, дали безъ росписки?—спросилъ Силинъ.

— Какая росписка! Неужели отъ родныхъ требовать росписку?

— Какое у насъ родство, Зинаида Петровна? Мы—чужіе, чужіе всѣмъ этимъ людямъ, съ которыми у насъ есть только то общее, что мы живемъ въ одномъ городѣ или... на одной планетѣ. Родство! Ну, вотъ вамъ—подлость!.. Хотя и не мелкая, на сумму 500 руб., но очень доказательная...

— Будетъ вамъ, господа, кричать! Вы мнѣ мѣшаете,—сказалъ Владиміръ Николаевичъ, выглянувъ изъ кабинета.

— Сходи, Владиміръ, къ Рябчиковымъ!.. Надо выяснить сейчасъ же...

— Нѣтъ, ужъ увольте! Я съ ними ни въ письменныя, ни въ словесныя объясненія вступать не желаю... Поѣзжай въ банкъ, возьми денегъ и пошли... Напиши, что, если не совѣстно, могутъ получить...—сказалъ Владиміръ Николаевичъ и скрылся; притворивъ за собою дверь, онъ началъ опять писать и щелкать косточками счетовъ, работая надъ статьей „Голыя цифры и факты—отвѣтъ нашимъ оппонентамъ“, а Зинаида Петровна отправилась въ банкъ. Спустя полчаса она возвратилась, тревожная и грустная.

— Знаете, господа, сколько осталось у насъ денегъ?

— Сколько?

— 1.050 рублей!

— Какимъ же это образомъ? Не можетъ быть!—удивился Владиміръ Николаевичъ.

Начали считать, рыться въ книгахъ, припоминать „все сначала“: 2.000 р. отдали Сорокину за газету, которую онъ сгоряча сулилъ подарить, 3.700 р. уплатили долговъ, принятыхъ вмѣстѣ съ газетою на свою шею, потомъ въ типографію, за бумагу, жалованье служащимъ и сотрудникамъ, дали взаймы Глафирѣ Ивановнѣ... Припоминалось все больше и больше... Взяли

справку у конторщика о приходѣ и расходѣ по газетѣ и получили остатокъ въ тысячу съ чѣмъ-то рублей.

— Такъ оно и выходитъ!—радостно произнесъ Промотовъ и, успокоившись, пошелъ было снова въ кабинетъ, но жена остановила его.

— Что же будетъ дальше?

— Это—неизвѣстно...

— Но вѣдь на 1.000 руб. мы можемъ просуществовать самое большее два—три мѣсяца!..

Опять начались подсчеты и соображенія.

Наступали тяжелые дни. Сотрудники сидѣли въ конторѣ и ждали, когда принесутъ объявленіе, и какъ только деньги попадали въ кассу,—жадно перехватывали ихъ въ уплату неполученнаго ими гонорара, конкурируя другъ съ другомъ. Обремененный семействомъ репортеръ Козловъ сталъ неаккуратенъ и, словно изъ милости, сдавалъ для хроники маленькія замѣтки и пустенькія санитарныя обличенія...

Туго получая гонораръ, онъ давно уже завелъ сношенія съ „Листкомъ“, и тотъ щеголялъ теперь разнообразіемъ сообщеній о мѣстныхъ происшествіяхъ, скандалахъ, новостяхъ изъ административной и торговой жизни. Силинъ ругался, ежедневно сравнивая номера „Вѣстника“ и „Листка“.

— Ужасное убійство. На Дворянской улицѣ... А у насъ оно имѣется?

— Нѣтъ, Владиміръ Николаевичъ!

— Что скажете?

— Опять у насъ ничего нѣтъ объ убійствѣ.

— Ну, такъ что жъ такое?

— Вотъ тебѣ и разъ! Такой случай нельзя проходить молчаніемъ...

— Пустяки!

Начинался споръ о значеніи хроники вообще. Промотовъ относился къ хроникѣ съ презрѣніемъ.

— Какое значеніе имѣютъ всѣ эти кражи, убійства, подкинутые младенцы?.. Я понимаю какое-нибудь сообщеніе общественной важности... Засѣданіе, гдѣ разсматриваются вопросы экономической важности, извѣстіе о какомъ-нибудь крупномъ событіи изъ мѣстной общественной жизни, а всѣ эти случаи, младенцы...

— Вы ничего не понимаете! Хотя вы и послѣдователь объективизма, но простите, вы ни чорта не понимаете, если хотите игнорировать этихъ младенцевъ...

— Зачѣмъ они? Докажите!

— Чего тутъ доказывать? Неужели вы не хотите знать, что большинству нашихъ читателей эти убійства интереснѣе вашихъ голыхъ фактовъ и цифръ?.. Вы — младенецъ! Подкинутый младенецъ! — горячился Силинъ.

Промотовъ терпѣливо слушалъ и улыбался. Зинаида Петровна переходила на сторону Силина.

— Вѣрно, вѣрно. Сегодня „Листокъ“ продастъ пятьсотъ номеровъ въ розницу, а мы — пять...

— Ну и прекрасно! У насъ не лавочка...

— Однако вѣдь мы должны же думать о денежной сторонѣ дѣла?

— Должны. Но все-таки питаться отъ убійствъ намъ не къ лицу.

— Это непослѣдовательно! — кричалъ Силинъ.—Сами вы сводите значеніе личности къ нулю, а между тѣмъ заявляете претензію на героя.

Споръ переходилъ на принципіальную почву.

Однажды, когда они спорили такъ между собою, вошелъ репортеръ Козловъ.

Козловъ былъ немного смущенъ, виновато улыбался и смотрѣлъ по сторонамъ.

— Владиміръ Николаевичъ!

— Что?

— Я... я ухожу отъ васъ, оставляю „Вѣстникъ“,— печально заявилъ Козловъ.

— Почему?

— Заставляютъ обстоятельства... Я—человѣкъ семейный... Мнѣ всегда нужны деньги... Мнѣ тамъ даютъ двѣ съ половиной построчно и 30 р. помѣсячно...

— Быть можетъ, и мы вамъ дали бы столько же?

— Все-таки я не хочу... Я уже далъ слово...

— Было бы... деликатнѣе сперва переговорить съ нами... Я полагалъ, что мы ближе вамъ, чѣмъ тѣ господа... Сорокины, Монтекристы... — съ негодованіемъ началъ Промотовъ.

— Владиміръ Николаевичъ! Вы сами знаете, что у васъ трудно получить авансъ, а иногда и гонораръ... А я—человѣкъ семейный...

— При чемъ тутъ близость?—вмѣшался Силинъ,— это опять непослѣдовательно!..

— Я могу получить причитающійся мнѣ гонораръ?— спросилъ Козловъ...

— Сдѣлайте одолженіе! — гордо отвѣтила Зинаида Петровна.

Оказалось однако, что въ кассѣ было всего 18 р. съ копейками, въ то время, какъ Козлову причиталось получить около 30 рублей.

Пришелъ конторщикъ.

— Что скажете?

— Денегъ, Владиміръ Николаевичъ!

— Зачѣмъ, какихъ? — сердито спросилъ Промотовъ.

— Не хватаетъ г. Ковлову.

— Сколько?

— Надо еще двѣнадцать.

— Сдѣлайте одолженіе! отдайте!—сказала Зинаида Петровна и выбросила на столъ имперіалъ.

— Тамъ еще со счетомъ изъ типографіи приходили.

— Сколько?

— 54 руб., за три номера не платили.

— Сдѣлайте одолженіе!—съ раздраженіемъ въ голосѣ произнесла Зинаида Петровна и выкинула сторублевую бумажку.

— Размѣняйте и отдайте!

А „Листокъ“ торжествовалъ. Борисъ Дмитріевичъ хорошо зналъ подписчика и умѣлъ пойти навстрѣчу его вкусамъ и склонностямъ. Онъ завелъ у себя преинтереснѣйшіе отдѣлы: „О чемъ говорятъ“, „Смѣшное и любопытное“, „Недомолвки и зигзаги“,—и все это писалось на мѣстныя злобы и преподносилось подъ пикантнымъ соусомъ. Всякія убійства, пожары и ужасные случаи появлялись въ „Листкѣ“ моментально и при томъ съ такими подробностями, словно репортеры этой газеты всегда и всюду были, по меньшей мѣрѣ, очевидцами. Подписка тамъ росла, объявленія сыпались, розничная продажа шла бойко. Фельетонистъ „Листка“, подъ внушительнымъ псевдонимомъ „Графа Монтекристо“, перешелъ въ наступленіе и началъ систематически высмѣивать „Вѣстникъ“, а обыватель съ жадностью перечитывалъ все, что появлялось за подписью этого „графа“. Провѣдавши стороною, что денежныя дѣла „Вѣстника“ крайне плачевны, графъ Монтекристо сталъ весьма прозрачно намекать на близкій крахъ своего сотоварища и жалѣть подписчиковъ...

Сотрудники „Вѣстника“ негодовали, писали о правилахъ литературной порядочности и заявляли, что не считаютъ достойнымъ вступать въ полемику съ лицами, пользующимися недостойными средствами...

Конецъ „Вѣстника“ послѣдовалъ все-таки неожиданно и преждевременно . . . . . .

. . . . . .

Зинаида Петровна взглянула въ лицо мужа и сквозь слезы засмѣялась нервнымъ смѣхомъ растерявшагося человѣка.

— О чемъ, Зина, горевать? Это такъ и должно было быть...

— Но мнѣ жалко... ахъ, какъ жалко нашу газету!.. Я такъ привыкла къ ней...

И Зинаида Петровна, упавъ головой на грудь мужа, расплакалась...

— Значитъ, опять—свободные художники!.. Опять—нечего дѣлать!—произнесъ Силинъ, и губы его искривились непріятной улыбкою...

XXV.

Коридорный Ванька былъ страшно недоволенъ. Теперь, впрочемъ, его недовольство имѣло законное основаніе, ибо ему, дѣйствительно, не было никакого спокою. Въ номерахъ поселились всѣ бывшіе сотрудники „Вѣстника“ и безалаберностью своей жизни нарушали теперь всякій порядокъ дня и ночи. Они требовали самоваръ не только въ то время, когда настоящіе господа обѣдаютъ, но и глубокой ночью, когда всѣ люди должны спать, а не чай кушать. Они ходили другъ къ другу въ гости, поминутно требовали коридорнаго и посылали его то въ лавочку, то въ молочную, то за пивомъ, то за извозчикомъ...

— Сейчасъ только бѣгалъ... Что бы сразу сказать...

— Тогда было не надо, а теперь понадобилось...

— У меня ноги болятъ...

— Ну, ну!.. иди!

— У насъ лѣстница-то 15 ступеней... взадъ-впередъ 30... Небойсь, разовъ пятнадцать сбѣгаешь, такъ заболятъ ноги...

Особенно донимали Ваньку Евгеній Алексѣевичъ и Силинъ. Первый покучивалъ и то былъ чрезмѣрно добръ, заставлялъ Ваньку слушать о томъ, что на свѣтѣ скучно жить и не стоитъ жить, то былъ чрезмѣрно сердитъ и кричалъ за всякую малость.

— Эхъ, Иванъ!.. Живемъ мы живемъ, а толку, братецъ, ни на грошъ!.. Думаетъ человѣкъ, что вотъ-вотъ

поймалъ свое счастье, а оно—фюйть! и кончено!—изливался подвыпившій Евгеній Алексѣевичъ, наклонившись надъ бутылкой пива.

— Это правильно!.. Гдѣ его пымать, — соглашался Ванька.

— На, братецъ, выпей стаканчикъ!

— Съ большимъ удовольствіемъ... Много благодаренъ...

Или:

— Коридорный! Коридорный!

— Здѣсь, Евгеній Алексѣевичъ!.. Прибылъ!..

— Самоваръ готовъ?

— Ужъ не знаю, какъ... Углей у насъ нѣтъ...

— Что? Углей нѣтъ? А морда у тебя есть?

— Конечно-съ... Морда у всякаго, Евгеній Алексѣевичъ...

— Да ты что, мерзавецъ, смѣешься? а? Ты съ кѣмъ говоришь? а?

— Я очень хорошо понимаю...—говорилъ Ванька, отступая къ дверямъ.

— Вонъ! — дико кричалъ Евгеній Алексѣевичъ и трясъ кулакомъ передъ самой физіономіей Ваньки.

— Ну и характеръ,—удивлялся Ванька, очутившись за дверью,—вотъ ты его и пойми: давеча „выпей, братецъ“. а сейчасъ въ морду норовитъ...

Притаивъ дыханіе, Ванька прикладывалъ ухо къ двери и слушалъ, что происходитъ въ номерѣ Евгенія Алексѣевнча.

— Никакъ реветъ?.. вотъ чудной... Такъ и есть!..

И Ванька поспѣшно, но тихо, удалялся въ глубь коридора...

Силинъ, хотя и былъ тихъ и скроменъ, но совершенно уже не различалъ дня и ночи: днемъ спалъ, а ночью пилъ чай, читалъ или уходилъ гулять и будилъ Ваньку для отпиранія и запиранія входныхъ дверей.

— Больше не пойдете ужъ?

— Можетъ быть, пойду еще...

— Эхъ!.. Ночи-то ужъ немного осталось...

Недолюбливалъ Ванька и Зинаиду Петровну: та докучала ему чистотой въ номерѣ и чисткой своихъ платьевъ.

— И платье-то того не стоитъ, сколь щетку извозишь!—ворчалъ онъ, съ остервенѣніемъ вонзая щетину щетки въ шерстяную матерію.

— Вотъ когда каторга-то настоящая пришла!—жаловался Ванька, бѣгалъ отъ одной двери къ другой и, натыкаясь на груды старыхъ номеровъ „Вѣстника“, привезеннаго Промотовыми изъ покинутой редакціи и сложеннаго въ коридорѣ до пріисканія покупателя-старьевщика, сердился и говорилъ:

— Написали пудовъ двѣсти да и пріѣхали со своимъ добромъ... Ни пути, ни дороги!

А эти пудовъ двѣсти негодной бумаги были почти единственнымъ добромъ, которое осталось у бывшихъ сотрудниковъ „Вѣстника“ за ликвидаціей всѣхъ дѣлъ по газетѣ. У Промотовыхъ оставалось, впрочемъ, еще право на изданіе газеты, которое, какъ и бумагу, можно было продать...

Силинъ принималъ горячее участіе въ этихъ коммерческихъ операціяхъ. Онъ много разъ путешествовалъ къ Борису Дмитріевичу Сорокину съ предложеніемъ купить „Вѣстникъ“. Съ затаенной злобою, съ клокотаніемъ ненависти говорилъ онъ съ возродившимся фениксомъ, убѣждая того воспользоваться случаемъ и дешево пріобрѣсти вторую газету...

— Если вамъ заплатили за нее двѣ тысячи и приняли на себя всѣ долги, сумма которыхъ, какъ вамъ извѣстно, доходила до четырехъ тысячъ, то не пожелаете ли теперь вернуть газету, очищенную отъ всѣхъ долговъ, за тѣ же двѣ тысячи?

— Видите ли въ чемъ дѣло: тогда „Вѣстникъ“ стоилъ такихъ денегъ, больше стоилъ, а теперь... те-

перь, извините за откровенность, онъ ничего не стоитъ!..

— Это почему же?—нахмуривъ брови, спросилъ Силинъ.

— Очень просто: тогда „Вѣстникъ“ былъ единственной газетой, а теперь... Нашъ городъ не въ состояніи выдержать двѣ газеты: ему вполнѣ достаточно одной.

— Вашей, конечно?

— Это можетъ показать только будущее... Можетъ быть, и вашей... Рублей 300—400 я, пожалуй, за „Вѣстникъ“ дамъ и то—бросовыя деньги: если я куплю его, то единственно для того, чтобы прикрыть, а въ сущности...

— Имѣю честь кланяться, — отрѣзалъ Силинъ, повернулся и пошелъ вонъ.

Графъ Монтекристо стоялъ въ дверяхъ и, пока Силинъ говорилъ съ Сорокинымъ, кусалъ бороду и насмѣшливо-язвительнымъ взоромъ обозрѣвалъ побѣжденнаго врага.

— Я сто рублей дамъ! — сказалъ онъ вслѣдъ удалявшемуся Силину, но тотъ не обернулся и вышелъ съ чувствомъ какого-то нравственнаго оскорбленія.

Они рѣшили не сдаваться врагу до послѣдней крайности. А эта крайность быстро и рѣшительно шла имъ навстрѣчу. Наличныя деньги истощались: всѣ они были безъ работы и всѣ попытки найти ее оставались тщетными: имъ не было „мѣстъ“, и никто не обѣщалъ даже: „нѣтъ-съ мѣстъ“—сухо бросали имъ въ разныхъ учрежденіяхъ.

— Быть можетъ, будутъ?

— Нѣтъ-съ и не будутъ!—отвѣчали со злобой и ненавистью, потому что люди „безъ мѣстъ“ дѣйствительно выводили изъ терпѣнія людей „съ мѣстами“...

И они жили изо-дня-въ-день, тоскуя отъ нечего дѣлать. Газетная работа уже успѣла обратиться въ привычку; на первыхъ порахъ масса газетъ, журналовъ и

корреспонденцій, словно по инерціи, продолжали поступать каждый день,—и Промотовы съ Силинымъ начинали свой день просмотромъ и чтеніемъ ихъ... Пришло, между прочимъ, нѣсколько корреспонденцій изъ Шенкурска, отъ Ерошина. Ерошинъ обличалъ шенкурцевъ въ спячкѣ, въ бездѣятельности, громилъ мѣстную интеллигенцію въ индифферентизмѣ къ общественнымъ вопросамъ и въ постскриптумѣ въ редакцію просилъ о скорѣйшей высылкѣ гонорара. А послать Ерошину было не изъ чего, такъ какъ всѣ они уже жили впроголодь, закладывая въ ломбардъ зимнее платье, часы, портсигары. Ванька, таскавшій въ закладъ вещи квартирантовъ, терялъ къ нимъ всякое уваженіе и даже высказывалъ своему пріятелю, дворнику Григорію, опасеніе, какъ бы не пришлось выселять ихъ черезъ мирового.

Когда нужда ворвалась окончательно въ двери, Силинъ пошелъ на толкучій рынокъ и привелъ оттуда татаръ-старьевщиковъ.

— Отличная бумага! вотъ смотрите! — сказалъ онъ, подводя ихъ къ „Вѣстнику“

Татары критиковали „Вѣстникъ“ по-своему: они щупали его пальцами, взвѣшивали на рукѣ, смотрѣли на свѣтъ, о чемъ-то говорили между собою на родномъ языкѣ, мотали головами.

— Нэтъ, дорого прусишь, барынъ!.. Можетъ, старый брука, барынъ, есть? бутилка, сапогъ, калоши?

— Ты покупай газету, а потомъ ужъ будемъ говорить о брюкахъ.

— Ай-яй-яй!.. Куда яво дѣвать? Миста нэтъ!.. Пять пудовъ биремъ.

Торговались, и часть „Вѣстника“ переходила въ въ руки азіатовъ, а на вырученныя деньги сотрудники обѣдали. Потомъ снова Силинъ приводилъ татаръ и снова часть „Вѣстника“ переходила въ ихъ руки.

— Гдѣ яво бралъ? Ай-яй многа!

— Самъ, знакомъ, писалъ...

Зинаида Петровна посылала брату письма съ требованіемъ отдать ея 500 руб., при чемъ грозила сперва Богомъ, а потомъ прокурорской властью. Долго ея письма оставались безъ отвѣта, но вотъ однажды Гаврила принесъ пакетъ съ сургучными печатями.

„Опомнился!.. Совѣсть проснулась“,—подумала Зинаида Петровна, дрожащими руками разрывая конвертъ. Каково же было ея удивленіе, когда изъ развернутаго письма выпала трехрублевая бумажка. „Дорогая сестрица, входя въ твое бѣдственное положеніе, прошу тебя принять отъ насъ три рубля“, — писалъ Захаръ Петровичъ.

— Эй!.. Кто принесъ?.. вернись!

Гаврила возвратился.

— Погоди!

— Подождемъ.

Заинаида Петровна вложила въ конвертъ три рубля, прибавила отъ себя двугривенный и послала съ Гаврилой Захару Петровичу.

Гаврила не вернулся, и переписка прекратилась.

Промотовъ посылалъ телеграммы въ Петербургъ и просилъ объ авансахъ. Но авансы не прибывали.

Положеніе становилось критическимъ.

— Вотъ продадимъ еще послѣдніе экземпляры „Вѣстника“, поѣдимъ и умремъ! — юмористически относясь къ своему положенію, говорилъ Силинъ и шелъ на толкучій рынокъ.

Евгеній Алексѣевичъ уединялся. По цѣлымъ часамъ сидѣлъ онъ запершись въ своемъ номерѣ или ходилъ ночью взадъ и впередъ по длинному коридору и о чемъ-то все думалъ. Шаги его отдавались надъ самой головой Ваньки, и тотъ ворчалъ:

— Вотъ ходьба напала!.. ботъ да ботъ! Самимъ дѣлать нечего, такъ думаютъ, и другимъ тоже... За деньто умаешься, какъ собака, а имъ все не спится...

Евгеній Алексѣевичъ страшно измѣнился: онъ какъ-то обрюзгъ и выглядѣлъ потертымъ и измятымъ человѣкомъ; отъ прежней его франтоватости не осталось и слѣда; казалось, онъ совсѣмъ не причесывался, не умывался и не смотрѣлся въ зеркало. Въ его номерѣ, на подоконникахъ, стояли цѣлыя батареи бутылокъ; иногда онъ напивался, и было слышно, какъ онъ плакалъ въ запертомъ номерѣ.

Однажды, когда азіаты купили партію „Вѣстника“ и на вырученныя деньги Промотовы давали обѣдъ, — Евгеній Алексѣевичъ пришелъ въ какомъ-то растрепанномъ состояніи духа и тѣла; ѣлъ онъ мало и сразу принялся за пиво; потомъ онъ попросилъ купить водки и пилъ ее рюмку за рюмкой...

— Что-то вотъ сосетъ за самое сердце... Мерзко! Надо что-нибудь предпринять...—загадочно произнесъ Евгеній Алексѣевичъ, склонившись надъ бутылкой пива.

Всѣ удивленно взглянули въ его сторону, а Зинаида Петровна ласково спросила:

— Когда вы, Евгеній Алексѣевичъ, перестанете дурить? Пора, голубчикъ, взять себя въ руки!.. Вы — не гимназистъ...

Евгеній Алексѣевичъ неестественно расхохотался.

— Ахъ, Зинаида Петровна!.. Вы думаете, что я отъ безнадежной любви страдаю? Да нѣтъ же, нѣтъ!.. Совсѣмъ не то... А есть у меня одна пакость, которая не даетъ мнѣ покоя. Вотъ я выпью и разскажу вамъ...

И Евгеній Алексѣевичъ, со слезами на глазахъ, разсказалъ товарищамъ о полученномъ имъ отъ Волчанскаго оскорбленіи.

— Онъ назвалъ меня шпіономъ... Я не могу это оставить... Нѣтъ!.. Онъ, этотъ прохвостъ, назвалъ меня шпіономъ!.. Я долженъ смыть оскорбленіе...

Его стали уговаривать плюнуть на эти пустяки, стать выше всякихъ Волчанскихъ и Стоцкихъ...

— Оставьте ее!— крикнулъ Евгеній Алексѣевичъ.— Я все-таки ее люблю... Какая она ни на есть, подлая, развратная, пустая, а все-таки я люблю эту женщину и прощаю ей...

Всѣ замолчали... Силинъ всталъ съ мѣста и сталъ посвистывать и ходить по комнатѣ. Онъ боролся съ желаніемъ расхохотаться и зло посмѣяться надъ сантиментальностью и романтичностью Евгенія Алексѣевича. Тотъ раздражалъ его своими театральными позами, жестами и драматичностью въ голосѣ... „Изъ какой это оперетки?“—подмывало Силина спросить, но онъ сдерживался и лишь ухмылялся и щурился. Онъ вспомнилъ споръ съ Евгеніемъ Алексѣевичемъ на тему о сближеніи съ обществомъ и не выдержалъ:

— Такъ печально кончилось наше сближеніе съ обществомъ и наша попытка прекратить кастовый образъ жизни! — резонерски произнесъ онъ, останавливаясь у окна.

Напротивъ помѣщался полицейскій участокъ: на крыльцѣ его дремалъ будочникъ; онъ флегматично смотрѣлъ на носокъ своего пыльнаго сапога и то закрывалъ, то опять раскрывалъ свои усталые глаза... Вдоль улицы тащились извозчичьи клячи съ понурыми мордами и съ понурившими головы ваньками... Солнце садилось, золотя прощальными лучами крестъ выглядывавшей изъ-за крышъ церкви.....

Силинъ стоялъ и смотрѣлъ апатичнымъ, вялымъ взоромъ на улицу, на будочника, на извозчичьихъ клячъ и на прохожихъ. Вонъ, невдалекѣ отъ полицейскаго участка, въ грязной лужѣ, подъ сѣрымъ и гнилымъ заборомъ, лежитъ жирная свинья, утопая въ блаженствѣ...

Идетъ какой-то господинъ въ фуражкѣ съ кокардою и подручку съ полной, похожей на кубышку, барыней. Поровнявшись со свиньей, парочка остановилась. Будочникъ всталъ и лѣниво сдѣлалъ подъ ко-

зырекъ; господинъ началъ что-то говорить ему, сердито жестикулируя свободною лѣвою рукою. Видимо, дѣло шло о свиньѣ, такъ какъ, когда парочка зашагала далѣе, будочникъ лѣниво поплелся къ мѣсту свиного блаженства и, дойдя до него, сталъ сердито тыкать подъ бокъ свинью своимъ массивнымъ сапогомъ, одинъ разъ ткнулъ ее шашкой и, наконецъ, поднявъ съ мостовой камень, остановился и пустилъ имъ въ убѣгавшую свинью.

— Я тебѣ покажу, свиная морда, валяться, гдѣ не слѣдуетъ!—ворчалъ побѣдитель, возвращаясь на свой постъ.

Когда будочникъ усѣлся, свинья вернулась и опять легла на прежнее мѣсто. Будочникъ махнулъ рукой, почесалъ за ухомъ и сказалъ:

— Свинья, такъ она свинья и есть!

Силинъ, наблюдавшій всю эту сцену, улыбнулся: эта спокойная жирная свинья, поколоченная и снова улегшаяся въ грязи, напомнила ему благополучнаго провинціальнаго обывателя, съ его внезапными тревогами и обычнымъ времяпровожденіемъ...

Солнце сѣло. Въ номерѣ какъ-то сразу потемнѣло, стѣны комнаты смотрѣли такъ хмуро и низкій потолокъ съ обвалившейся штукатуркою какъ-то давилъ на душу... И Силину стало невыносимо скучно. Онъ зѣвнулъ и произнесъ: „Эхъ-хе-хе!..“

XXVI.

— Редакторъ „Вѣстника“ здѣсь живетъ?

— А какъ его настоящая фамилія? — спросилъ Ванька, — у насъ ихъ много, этого народу самаго... Вотъ, извольте на доску посмотрѣть, который?

— Ну, братецъ, тутъ ничего я не разберу.

— Въ номерѣ 4-мъ — Тарасовъ, Евгеній Алексѣевичъ, въ 5-мъ—господинъ Промотовъ и при нихъ ба-

рыня, въ 6-мъ—этотъ... г. Силинъ... Ежели вамъ—Евгенія Алексѣевича, то нельзя: они спятъ и будить не велятъ... У людей день, а у нихъ ночь, — говорилъ Ванька, пока Дарья Игнатьевна раздумывала, стоя около доски.

— Такъ который же изъ нихъ редакторъ газеты? Который у нихъ самый важный, главный?

— Всѣ они редакторы!.. Важныхъ изъ нихъ нѣтъ... Всѣ татарамъ брюки продаютъ... И газету всю татарамъ продали... Да вамъ зачѣмъ они понадобились?..

— Надо... Очень ужъ надо... Хоть котораго-нибудь...

— Идите къ г. Силину... Онъ посмирнѣе всѣхъ ихъ будетъ... Чай пьетъ. Онъ всталъ чуть свѣтъ. А можетъ, и не ложился... У нихъ и такъ бываетъ...

— Проводи ужъ меня...

— Въ номерѣ 6-омъ. Глядите на дощечку надъ дверью, — увидите!.. Всѣхъ провожать, такъ ногъ не хватитъ... Вверхъ по лѣстницѣ, потомъ налѣво.

Дарья Игнатьевна пошла и долго бродила по коридорамъ, разбирая въ полутьмѣ стертыя надписи на дощечкахъ. И, какъ нарочно, постучала въ № 8, гдѣ жилъ какой-то офицеръ.

— Кого вамъ? Какого чорта...—раздался за дверью хриплый сонный голосъ: кто-то энергично плюнулъ, постучалъ босыми ногами по полу,--и въ пріотворенную дверь выглянула злющая физіономія съ заспанными глазами.

— Что нужно? — хрипло спросилъ сонный голосъ, заранѣе уже готовый разгромить нарушителя покоя.

— Господина Силина, а не васъ,—испуганно произнесла Дарья Игнатьевна.

— Такъ какого же чорта вы лѣзете ко мнѣ!..—отвѣтилъ человѣкъ въ одѣялѣ и такъ громко прихлопнулъ свою дверь, что въ ушахъ Дарьи Игнатьевны зазвенѣло...

„Есть же такіе свирѣпые люди, — подумала Дарья

Игнатьевна:—кажется, разорвать готовъ!"—и пошла къ Ванькѣ.

— Нѣтъ, ты ужъ, сдѣлай милость, проводи меня!.. У васъ темно,—ничего не видно... А народъ какой-то бѣшеный... Ничего сказать не хотятъ...

— То-то вотъ и есть!.. Такой народъ, что живешь, какъ у чертей въ аду... ни днемъ, ни ночью спокою не знаешь!..

Иванъ довелъ Дарью Игнатьевну до 6-го номера, сказалъ „здѣсь!" и пошелъ.

— Ты ужъ постучи, а то кто ихъ знаетъ!..

— Кому надо, тотъ пусть и стучитъ... — отвѣтилъ Ванька, не оборачиваясь.

Дарья Игнатьевна нѣсколько мгновеній стояла въ нерѣшительности, но потомъ собралась съ духомъ и стукнула.

— Не заперто!—крикнулъ Силинъ.

Когда Дарья Игнатьевна вошла въ номеръ и поклонилась, Силинъ долго не могъ вспомнить, кто эта особа, несомнѣнно ему знакомая. Онъ такъ долго не былъ у Софьи Ильинишны и такъ давно уже не видѣлъ ея, что образъ Дарьи Игнатьевны не сразу даже напомнилъ ему о забытой всѣми ими Натансонъ...

— Здравствуйте! Присаживайтесь... Что скажете?..

— Плохо что-то у насъ...

— А что?

— Что-то Софья Ильинишна дуритъ.

— Больна?

— Нѣтъ... А такъ, я замѣчаю, что у ней что-то вотъ тутъ не въ порядкѣ! — шопотомъ отвѣтила Дарья Игнатьевна и ткнула указательнымъ пальцемъ въ свой лобъ. — Вы сходили бы къ ней... Никого у ней нѣтъ, никто не ходитъ, а дѣло не ладно...

— Что жъ она?

— Да что... Вотъ ужъ съ мѣсяцъ, какъ я замѣчать стала, что она не въ себѣ... Сперва задумы-

ваться стала... По цѣлымъ часамъ сидитъ на стулѣ и смотритъ...

— Ну, такъ что же?.. Я тоже иногда цѣлый часъ сижу и смотрю...

— Это опять, какъ сидѣть и какъ смотрѣть!.. Я вѣдь тоже понимаю. Я и сама другой разъ сижу... возьмешь чулокъ и вяжешь... И въ другой разъ часа два вяжешь... А эта какъ будто въ столбнякѣ: глазомъ не сморгнетъ... А потомъ еще хуже: принесла я ей разъ самоваръ, а она чай не пьетъ!..

— Ну, такъ что же? Не хочетъ.

— Да что вы мнѣ говорите?!. Взяла самоваръ, вылила кипятокъ и сама углей наложила... „Распаяется,— говорю, развѣ можно безъ воды?“ — Она посмотрѣла на меня, назвала меня дурой (ей-Богу, назвала!) и ушла... Я говорю: „Коли дура, такъ ищите себѣ квартиру другую, я не согласна“, а она стала кричать, что я отравить ее хочу... Тутъ ужъ я вижу, что съ ней помраченіе ума... Теперь не ѣстъ, не пьетъ, по ночамъ ей кажется, что въ окошко къ ней стучатся... А вчера подошла къ двери, слушаю,—разговариваетъ. „Съ кѣмъ это она?“ думаю... Сама съ собой! Право, индо жутко становится. Я въ цѣломъ домѣ одна, мужчинъ у насъ нѣту, кто ее знаетъ, что ей въ голову придетъ... Вотъ я и пришла... Вы, сдѣлайте одолженіе, возьмите ее!.. А то я приставу заявлю... У насъ мужчинъ нѣтъ, я одна.

— Я зайду... Сегодня же зайду...

— Да, ужъ потрудитесь, батюшка!.. А держать ее я не могу... Я боюсь.

— Хорошо, хорошо...

Дарья Игнатьевна вышла изъ номера, а Силинъ отправился къ Евгенію Алексѣевичу, разбудилъ его и сообщилъ о непріятной новости. Потомъ они вмѣстѣ пошли къ Промотовымъ и стали совѣщаться, что дѣлать. Главное — нѣтъ денегъ, которыя прежде всего, ко-

нечно, понадобятся. Говорили о томъ, что помѣщеніе въ психіатрическую больницу часто рѣшаетъ дѣло безповоротно, что сперва надо попытаться остановить начинающуюся болѣзнь какъ-нибудь безъ больничной обстановки. Рѣшили они снять еще одинъ номеръ и перевезти Софью Ильинишну сюда, а тамъ видно будетъ, что дѣлать и какъ поступить.

Силинъ отправился къ Софьѣ Ильинишнѣ.

— Вотъ послушайте-ка!—шопотомъ сказала Дарья Игнатьевна, когда Силинъ вошелъ въ квартиру, и показала на дверь. Черезъ дверь, дѣйствительно, былъ слышенъ голосъ Софьи Ильинишны, то громкій, то тихій.

— Отоприте, Софья Ильинишна!—отчетливо произнесъ Силинъ, постучавъ въ запертую дверь.

— Пришли? Ломайте двери, а я не пущу!.. Я васъ ждала, я знала, что вы придете!.. — отвѣтилъ рѣзкій женскій голосъ, и Силинъ вздрогнулъ: было въ этомъ визгливомъ голосѣ что-то чужое, новое, непохожее на голосъ Софьи Ильинишны...

— Софья Ильинишна! Это—я, Силинъ!

— Берите! ха-ха-ха!.. Я не виновата... Денегъ у меня нѣтъ... Я ихъ послала... А кому, не скажу...

— Вотъ вы мужчина, да боитесь, какъ же мнѣ, одинокой женщинѣ, не бояться? — тихо произнесла Дарья Игнатьевна.

— И все время такъ?

— Нѣтъ... Утихаетъ... Потомъ замолчитъ...

— Не узнала...

— Никакъ у ней окошко не заперто... Вы зашли бы съ улицы, да въ окно посмотрѣли...

Силинъ такъ и сдѣлалъ. Тихо растворивъ дверку окна, онъ приподнялъ занавѣску и взглянулъ.

Софья Ильинишна лежала на постели ничкомъ, растрепанная и истерзанная. Ея черные волосы безпорядочно раскидались по подушкѣ, одна нога была не

обута. Она крѣпко впилась кистями рукъ въ подушки и застыла.

Дѣлать было нечего. Не оставалось сомнѣнія, что Дарья Игнатьевна права...

— Вы куда же, батюшка? — окрикнула Дарья Игнатьевна, замѣтивъ намѣреніе Силина удалиться.

— Что жъ я сдѣлаю?! — сказалъ тотъ, медленно шагая.

— Надо послать за полиціей! — отвѣтила Дарья Игнатьевна, разводя руками.

— За докторомъ сперва надо... Полиція не вылѣчитъ...

— Это ужъ не мое дѣло!.. Я квартиру сдаю безъ докторовъ... Это ужъ меня не касается.

— Погодите, я пойду къ своимъ... Что-нибудь устроимъ. Привеземъ доктора...

— А когда это будетъ?

— Скоро.

— То-то! А то кто ее знаетъ... Мнѣ тоже несладко ночевать съ сумасшедшей...

Силинъ пошелъ домой. Пока они обсуждали дѣло, добывали денегъ и искали доктора,—Дарья Игнатьевна сбѣгала къ приставу и, когда Силинъ съ докторомъ подъѣхали на извозчикѣ къ воротамъ домика, гдѣ жила Софья Ильинишна,—они увидали здѣсь пеструю толпу народа, оживленно говорящую и тихо расползающуюся...

— Увезли ужъ! сейчасъ увезли! — сказалъ имъ какой-то мѣщанинъ, догадавшійся, по какому дѣлу пріѣхали эти два господина.

— Кровища такъ и хлещетъ!—добавилъ онъ.

— Какъ?

— Такъ! Шею себѣ перерѣзала она... Ножомъ, перочиннымъ ножомъ... И ножичекъ-то весь съ вершокъ, а дыру сдѣлала огромадную.

Докторъ сказалъ:

— Значитъ—нечего мнѣ дѣлать...

— Къ сожалѣнію, нечего...

Силинъ приподнялъ шляпу и пожалъ доктору руку. Тотъ, потрясая руку Силина, очень ловко вытащилъ изъ нея скомканную рублевую бумажку и тоже приподнялъ шляпу. Потомъ онъ сѣлъ на извозчика и, ткнувъ его пальцемъ въ спину, сказалъ: „пошелъ“...

Докторъ уѣхалъ, а Силинъ долго стоялъ у домика, гдѣ жила Софья Ильинишна, и смотрѣлъ на раскрытое окно съ колеблющейся отъ вѣтра зеленой занавѣской.

За ворота вышла Дарья Игнатьевна съ деревянной табуреткой въ рукахъ. Сперва она огрызнулась на толпившихся мальчишекъ:

— Чего ротъ разинули? Я вотъ позову полицію!

А потомъ подставила табуретъ къ воротамъ и стала отдирать вывѣску „Акушерка-фельдшерица“...

— Опоздали, батюшка!—сердито сказала она; замѣтивъ Силина, и ушла на дворъ.

— Да, опоздали! — повторилъ Силинъ, продолжая стоять въ раздумьѣ.

— Что тутъ такое случилось? — спросилъ какой-то господинъ, останавливаясь около все еще не расходившейся публики.

— Жидовка зарѣзалась!

— Отчего?

— Деньги, что ли, она какія-то украла, говорятъ, а когда приставъ съ городовыми пришли и стали двери ломать, она взяла да и зарѣзалась!.. Ножичкомъ перочиннымъ... И ножичекъ-то весь съ вершокъ!

Силинъ грустно ухмыльнулся и медленно пошелъ прочь.

XXVII.

Прошелъ годъ.

Зима была снѣжная, весна дождливая, многоводная... Разлившаяся Волга затопила луговую сторону на

цѣлые десятки верстъ и шумѣла громадою своихъ водъ, мутныхъ и сердитыхъ, у подножія города. Здѣсь кипѣла уже обычная приволжская жизнь: клубились дымомъ пароходныя трубы, скрипѣли отъ вѣтра гигантскіе рули покачивающихся на волнахъ баржей, раздавались то и дѣло свистки, и шумѣли, выпуская пары, пароходы. По набережной копошились люди; ломовые извозчики везли тюки, мѣшки и бочки; на легковыхъ—тряслись пріѣзжающіе и отъѣзжающіе, обложенные чемоданами, узлами, картонками и корзиночками... Здѣсь было шумно, суетливо и весело.

Суетился и Силинъ, бывшій въ числѣ отъѣзжающихъ.

Пароходъ уже далъ два свистка, а Силинъ забылъ купить на дорогу колбасы, чаю и сахару и леталъ по скрипучимъ сходнямъ большими шагами съ дорожною сумкою черезъ плечо, желая выгадать двѣ-три лишнихъ минуты, чтобы перекинуться прощальнымъ словомъ съ Промотовыми и Евгеніемъ Алексѣевичемъ, которые пришли проводить его въ далекое путешествіе...

Силинъ выхлопоталъ себѣ разрѣшеніе поѣхать для поправленія своего здоровья за границу, на воды. Евгеній Алексѣевичъ тоже уѣзжалъ, но на другомъ пароходѣ и въ другую сторону: онъ поступилъ въ труппу и ѣхалъ съ ней кочевать по захолустнымъ уѣзднымъ городкамъ.

Пароходъ дрожалъ подъ парами, готовый къ отходу. Крючники торопились закончить нагрузку и, одинъ за другимъ, ныряли подъ верхнюю палубу, съ тюками и мѣшками на спинахъ. Капитанъ уже показался на мостикѣ и орлинымъ взоромъ обозрѣлъ свое судно. Раздался послѣдній свистокъ, заглушившій шумъ на пристани, визгъ торговокъ, брань рабочихъ и стукъ подъѣзжающихъ пролетокъ... Началось торопливое прощаніе: одни грустили, другіе смѣялись, цѣловались,

крестили другъ друга и отирали платками глаза и носы, жали другъ другу руки и просили и обѣщали писать...

Силинъ появился на трапѣ. Перекинувшись черезъ перила, онъ, довольный и улыбающійся, переговаривался съ друзьями, стоявшими у самаго борта конторки.

— Ну какъ же? Куда?—спрашивали друзья.

— Не рѣшилъ еще... Вѣроятно,—въ Парижъ.

— Вернетесь?

Силинъ подозрительно оглядѣлся вокругъ и, приложивъ руку ко рту, осторожно отвѣтилъ:

— Нѣтъ. Мерси! Нечего дѣлать.

— Прими сходни!

— Есть!

— Какъ мнѣ досадно!—со слезами на глазахъ выкрикнула Силину Зинаида Петровна и печально улыбнулась.

— Вамъ, Евгеній Алексѣевичъ, всякихъ успѣховъ! Совѣтую докончить „Крючника“! — крикнулъ съ парохода Силинъ, — а вамъ, господа, перебраться въ Питеръ.

— Спасибо, спасибо,—отвѣтила Зинаида Петровна.

— Отдай кормовую!—сердито крикнулъ капитанъ.

Тяжелый канатъ, съ петлею на концѣ, упалъ въ воду, зашумѣло внизу, подъ кожухомъ, гигантское колесо парохода, и онъ отдѣлился отъ конторки.

Словно цѣпь какая-то порвалась вдругъ, и Силинъ глубоко вздохнулъ и улыбнулся... Снявъ свою широкополую шляпу, онъ потрясъ ею въ воздухѣ и послалъ друзьямъ воздушный поцѣлуй.

— Напишите намъ!—крикнула Зинаида Петровна, часто-часто кивая головой и помахивая зонтомъ.

Силинъ что-то отвѣтилъ, но шумъ колесъ и послѣдній свистокъ, прощальный свистокъ, заглушили его голосъ. А когда свистокъ пересталъ ревѣть и лишь

эхо его отскочило отъ разбросаннаго по горѣ города,— то ихъ раздѣляло уже недоступное для разговоровъ разстояніе. Силинъ опять снялъ шляпу и махалъ ею до тѣхъ поръ, пока конторка не сдѣлалась маленькой, и пока провожающіе не слились въ одну сплошную пеструю кучку людей, надъ которой бѣлѣли платочки... Потянулись мимо пароходы, дома набережной, баржи, плоты съ новыми сосновыми избушками, лодки, ныряющія въ волнахъ; все это скоро перемѣшалось, отодвинулось и быстро затерялось въ печальныхъ сумеркахъ надвигающагося пасмурнаго вечера...

Пароходъ двинулся полнымъ ходомъ вверхъ по теченію и скоро очутился въ безбрежномъ пространствѣ водяной стихіи.

Встрѣчныя волны, разсѣкаемыя острымъ носомъ парохода, лѣзли вверхъ, пѣнились и, разбиваясь вдребезги, упадали внизъ каскадами брызгъ и мелкой водяной пыли; за разбитыми лѣзли другія и, подвергаясь той же участи, уступали мѣсто новымъ и опять новымъ. Крѣпкія колеса равномѣрно хлопали своими массивными красными плицами; веревки мачты тряслись и стучали о древко; рулевыя цѣпи визгливо скрипѣли; кормовой флагъ извивался, хлопалъ полотнищемъ и рвался на волю; прорывающійся въ свистокъ паръ производилъ несмолкаемое монотонное гудѣніе. Корпусъ парохода трясся и вздрагивалъ.

Приближающійся штормъ заставилъ пассажировъ спрятаться подъ крышу. Верхняя палуба опустѣла, на трапѣ остался одинъ только Силинъ. Онъ сидѣлъ, облокотившись обѣими руками на перила, въ носовой части трапа, и смотрѣлъ впередъ; фалды его пальто отдувались и топырились, выбившіеся изъ-подъ шляпы волосы трепались по вѣтру, и казалось, что онъ летитъ впередъ, навстрѣчу вѣтру и катящимся волнамъ съ бѣлыми гребнями... По временамъ появлялась на трапѣ еще и другая человѣческая фигура: изъ рубки

выбѣгалъ плотный бородатый капитанъ, безпокойно смотрѣлъ въ большой морской бинокль и, быстро повертываясь, исчезалъ снова за дверью рубки. Вѣтеръ крѣпчалъ и злился. Съ сѣвера ползли и ширились мрачныя грозовыя тучи. Небеса потемнѣли еще болѣе. Высокіе валы поднимались все выше; бѣлые гребни ихъ, достигнувъ максимальной высоты, перегибались дугой впередъ и съ шумомъ рушились въ водяную бездну. Вдали перекатывались продолжительные громовые раскаты.

Черная ночь опускалась все ниже...

На мачтѣ парохода блеснулъ огонекъ сигнальнаго фонаря и бросилъ дрожащій свѣтъ свой на бушующую стихію. На кожухахъ тоже загорѣлись, какъ глаза чудовища, два цвѣтныхъ фонаря: красный и зеленый. Небосклонъ то и дѣло прорѣзывался ослѣпительно-яркими голубыми стрѣлами молній...

Силинъ, все еще сидѣвшій на томъ же мѣстѣ, вздрогнулъ: крупная холодная капля съ силою хлопнула ему въ лицо и, разбившись, побѣжала тонкими холодными струйками... Онъ вопросительно посмотрѣлъ вверхъ, потомъ обтерся рукавомъ и всталъ. Стукнуло о палубу еще нѣсколько капель, и черныя тучи заплакали дружнымъ шумливымъ ливнемъ... Силинъ спустился по крутой винтовой лѣсенкѣ на нижнюю палубу... Здѣсь было такъ уютно, тепло и людно. Палуба кишмя-кишѣла пассажирами; слышался говоръ, возгласы, порой смѣхъ и дѣтскій плачъ; пили чай, закусывали, шныряли по палубѣ и толкались около буфета; нѣкоторые крѣпко спали въ замысловатыхъ позахъ, другіе только еще укладывались.

Силинъ бродилъ по палубѣ, приглядывался и вслушивался въ разговоры. Около парового котла вповалку лежало нѣсколько семей переселенцевъ.

Силинъ подошелъ къ нимъ и сталъ разговаривать.

— Куда ѣдете?

— На Амуръ!.. счастья пытать... А ты далеко ли бѣжишь?

— Я?.. Не знаю, братецъ, и самъ не знаю... Тоже счастья пытать!..

— Али плохо и вамъ, господамъ, живется?—насмѣшливо спросила баба съ ребенкомъ на рукахъ, а мужичокъ, не давъ отвѣтить Силину, прибавилъ:

— Хорошо, да еще лучше хочется!.. Рыба ищетъ—гдѣ глубже, человѣкъ—гдѣ лучше... А чѣмъ ты займашься?

— Ничѣмъ, братецъ...—отвѣтилъ Силинъ.

— Да что имъ дѣлать-то?.. — пискнула баба, — хлѣба—сколь хочешь, сладко ѣдятъ и сладко пьютъ...

Силинъ ухмыльнулся.

— Да, братцы, нечего намъ дѣлать...—сказалъ онъ и пошелъ дальше... Проходя мимо иллюминатора, онъ заглянулъ подъ стеклянныя приподнятыя рамы его: тамъ что-то стукало, пыхтѣло, двигалось и вертѣлось; его обдало тепломъ, насыщеннымъ запахомъ масла и перегрѣтаго пара. Силинъ остановился, облокотился на мѣдныя перила и сталъ пристально смотрѣть въ трюмъ.

Машина пыхтѣла, заставляя съ каждымъ вздохомъ вздрагивать весь корпусъ парохода; массивные стержни поршней поперемѣнно то выдвигались, то прятались; элипсоидальные эксцентрики плавно скользили и терлись другъ о друга; прочные шатуны, вытягиваясь, вертѣли блестящій стальной валъ; паръ съ визгомъ и шипѣніемъ вырывался наружу; слышался металлическій отзвукъ, побрякиваніе и вздохи...

Силинъ стоялъ и смотрѣлъ, смотрѣлъ долго и пристально. И ему казалось, что онъ видитъ какое-то живое существо, одаренное жизнью и разумомъ; стальные стержни—это двѣ руки великана, вертящія безъ устали валъ: этому великану тяжело, но онъ преодолѣваетъ всѣ препятствія и несетъ всѣхъ ихъ впередъ... Какая сила, мощь, непреложная, неодолимая!..

И Силинъ сталъ думать объ этой машинѣ, во власть которой переходило человѣчество... „Неужели же эта бездушная вещь, созданная самимъ человѣкомъ, способна покорить своего творца? Неужели нѣтъ выхода изъ этого ужаснаго и непонятнаго рабства? Неужели это—тотъ идолъ, создавши который, человѣкъ долженъ пасть передъ нимъ ницъ?“

Взглядъ Силина упалъ на мелькнувшую въ глубинѣ машины человѣческую фигуру. Маленькій, тщедушный и грязный человѣкъ стоялъ, освѣщенный краснымъ отблескомъ раскаленныхъ топокъ, въ выжидательной позѣ, съ широко разставленными ногами; по временамъ онъ почесывалъ въ затылкѣ и сплевывалъ въ сторону. Вотъ онъ подошелъ ближе къ машинѣ, выждалъ моментъ, когда одинъ изъ шатуновъ поднялся вверхъ, и, проворно нырнувъ подъ него, очутился среди двигающихся, вертящихся и постукивающихъ частей машины. Страшно дѣлалось за этого маленькаго и грязнаго человѣчка. Сверху казалось, что вотъ-вотъ какая-нибудь часть движущагося великана подхватитъ его, подниметъ и расшибетъ вдребезги... Однако грязненькій человѣкъ стоялъ, какъ ни въ чемъ не бывало, пригибался, когда тяжелый стержень опускался внизъ, привставалъ, когда онъ поднимался, и, дотрогиваясь до шатуновъ, любовно поглаживалъ ихъ своей грязной ладонью. Вотъ внизу дрогнулъ колокольчикъ. Маленькій человѣкъ встрепенулся и, быстро отбѣжавъ въ глубь машины, что-то схватилъ рукою... И могучій великанъ разомъ притихъ и пересталъ пыхтѣть... Опять звякнулъ колокольчикъ, опять маленькій человѣкъ повелъ рукою,—и великанъ снова задвигался, запыхтѣлъ и застукалъ...

„Вѣдь можетъ же этотъ хиленькій человѣкъ остановить машину! Вѣдь распоряжается же онъ этимъ могучимъ великаномъ, повелѣваетъ имъ?..“—думалъ Силинъ и стоялъ, опустивъ голову...—Да, гдѣ найти раз-

рѣшеніе этой чертовской загадки?.. А надо найти во что бы то ни стало, потому что иначе весь остатокъ жизни будетъ нечего дѣлать... Надо учиться, снова пересмотрѣть и разрѣшить, такъ или иначе, вопросъ: одинъ ли этотъ грязный человѣчекъ, стоящій рядомъ съ могучимъ великаномъ, обратитъ его въ рабство, или и они, бездомные и безродные интеллигенты, могутъ найти наконецъ свою точку въ этой войнѣ съ идоломъ современнаго человѣчества?..

А за бортомъ бѣсновалась непогода. Востокъ безпрерывно загорался фосфорическимъ заревомъ молніи; громъ грозно перекатывался съ одного края небесъ до другого; высокія волны съ яростью бились о бортъ; неистовый вѣтеръ налеталъ все съ возрастающей силою. Враждебная стихія, казалось, напрягала всѣ усилія, чтобы одержать побѣду надъ человѣкомъ. Но усилія ея были напрасны: могучій великанъ въ союзѣ съ маленькимъ грязнымъ человѣчкомъ работали безъ устали,—и пароходъ двигался впередъ во мракѣ черной бушующей ночи...

ВЪ ОТСТАВКУ.

I.

Догоравшій зимній день тускло смотрѣлъ въ квартиру учителя математики Николая Семеновича Рузавина, и печальныя сумерки уже висѣли въ комнатахъ. Эти сумерки, казалось, были сотканы изъ невидимыхъ нитей скуки, вялости и апатіи, проникавшихъ собою все окружающее, начиная съ самого хозяина квартиры, который стоялъ у окна и флегматично, тупо смотрѣлъ на улицу, и кончая старинными стѣнными часами, какъ-то кисло смотрѣвшими со стѣны своимъ потертымъ и пожелтѣвшимъ циферблатомъ. Казалось, эти часы и Николай Семеновичъ Рузавинъ отлично понимали другъ друга и теперь совершенно одинаково чувствовали, — чувствовали утомленіе жизнью, отсутствіе интереса къ ней и полную безнадежность впереди...

Было время, когда часы были новы, щеголяли бѣлизною и свѣжестью своего циферблата, имѣли отличный ходъ съ тенденціей скорѣе забѣгать впередъ, чѣмъ отставать. Тогда они безостановочно шли впередъ, словно разсчитывали дойти наконецъ до какой-то цѣли, до чего-то новаго, неизвѣданнаго и заманчиваго...

Но прошло много лѣтъ, часы, что называется, пожили, и это отразилось и на циферблатѣ, который теперь смотритъ угрюмо тоскливо, и на постукиваніи

маятника, слабомъ и лѣнивомъ. Казалось, часы поняли наконецъ, что, въ сущности, они вовсе не идутъ впередъ, а топчутся на мѣстѣ, какъ топтались уже много лѣтъ въ счастливомъ невѣдѣніи, и что новаго, неизвѣданнаго и заманчиваго ждать не приходится: впереди все то же, что и позади, т.-е. безцѣльный круговоротъ, неизвѣстно кому нужный и по какой причинѣ происходящій.

Циферблатъ Николая Семеновича Рузавина былъ тоже въ достаточной степени потертъ и тоже смотрѣлъ кисло, съ оттѣнкомъ томящей скуки и апатіи, съ выраженіемъ какого-то деревяннаго отупѣнія во взорѣ. Николай Семеновичъ смотрѣлъ на улицу съ такимъ безучастіемъ, словно онъ уже много лѣтъ стоитъ здѣсь, у этого именно окна, видитъ въ теченіе этихъ лѣтъ все одно и то же и не разсчитываетъ усмотрѣть что-нибудь новое, хотя сколько-нибудь интересное, достойное вниманія...

Все одно и то же. Все тотъ же красный кирпичный домъ, съ вереницами оконъ, мозолитъ глаза своими золочеными вывѣсками: „Чай, сахаръ и кофе, табакъ, папиросы и сигары“, „Ренсковый погребъ“. Все тѣ же ваньки плетутся на своихъ заморенныхъ клячахъ; тѣ же барыни въ ротондахъ и бабы въ кацавейкахъ, божьи старушки въ салопахъ, отставные военные съ красными носами, субъекты въ цилиндрахъ и субъекты въ опорышкахъ, приземистые купчики и бравые сыны Марса. На углу — неизмѣнный усатый будочникъ торчитъ, какъ пень...

Все одно и то же! Жизнь такъ утомительно-монотонна; дни текутъ возмутительно однообразно, и если бы не было понедѣльниковъ, вторниковъ и т. д., такъ, пожалуй, и различать ихъ не представлялось бы возможности. Живешь, какъ заведенная машина, какъ эти часы. По двадцатымъ числамъ тебя заводятъ, — выдаютъ жалованье — и опять до двадцатаго! Въ этотъ

промежутокъ времени совершаешь обязательныя суточныя круговращенія... И впереди — ничего интереснаго!.. Для другихъ еще имѣется цѣль: попасть въ инспектора или получить въ петлицу, а для Николая Семеновича и этого нѣтъ: полный индифферентизмъ къ служебной карьерѣ лишилъ его и этихъ свѣтлыхъ точекъ на сѣромъ фонѣ чиновничьей жизни.

Сегодня Николаю Семеновичу особенно скверно чувствуется. Всталъ онъ съ постели вялый, развинченный дряблый. День выдался сѣренькій, тусклый, и еще болѣе содѣйствовалъ пессимистическому состоянію духа. Какая-то не то грусть, не то досада непріятно скребли ему сердце; онъ на кого-то сердился, чѣмъ-то былъ недоволенъ и на всѣхъ смотрѣлъ крайне непріязненно... Даже больная мать раздражала его своимъ оханьемъ и подвязанными зубами: два торчавшихъ на головѣ старушки кончика платка, которымъ она подвязала себѣ щеку, просто злили Николая Семеновича.

— Ну, что вы, мамаша, ноете тутъ надъ душой?

— Опять зубы, Колюшка... Охъ!..

— У васъ, кажется, и зубовъ-то нѣтъ совсѣмъ...— раздраженно замѣтилъ онъ матери, словно не вѣрилъ, что старуха охаетъ отъ зубной боли.

— Дровъ у насъ нѣтъ, Колюшка... Надо бы купить...

— Что вы, съ хлѣбомъ, что ли, ѣдите эти дрова? Кажется, еще и двухъ недѣль нѣтъ, какъ привезли сажень?

Николай Семеновичъ машинально натянулъ на себя форменный фракъ и, какъ автоматъ, безъ всякаго желанія и удовольствія, а просто по привычкѣ, выпилъ стаканъ чаю. Потомъ онъ взялъ свой портфель съ тетрадками ученическихъ работъ и пошелъ. Пошелъ медленно, лѣниво, словно ему хотѣлось подольше итти и подольше не приходить. Куда? Разумѣется,—служить... Какое это скверное слово придумали: не работать, а „служить“. Да оно, въ сущности, и вѣрно: именно служить, служить не дѣлу, какъ когда-то думалось или

вѣрнѣе мечталось, а — непосредственному начальству. Дѣло отодвигается куда-то на задній планъ, а впередъ выдвигаются личныя отношенія, на почвѣ которыхъ и происходитъ вся эта сутолока, именуемая службой. Всѣмъ хочется заполучить побольше уроковъ, хочется монополизировать благосклонность начальства, хочется опередить товарищей, отличиться, обратить вниманіе „округа“, заявить себя наипреданнѣйшимъ чиновникомъ, готовымъ не только исполнять, но даже предупреждать всѣ мѣропріятія, какъ умѣютъ салонные кавалеры предупреждать желанія своихъ милыхъ дамъ. Всѣ притворяются, что поглощены заботами о воспитаніи подростающаго поколѣнія, а, въ сущности, всѣмъ имъ наплевать на всякое воспитаніе, а главное это— „двадцатое число“. Чтобы дожить до него, надо изо-дня въ день задавать, спрашивать, сердиться, ставить двойки и т. д. У всѣхъ нихъ — двѣ дамы, вокругъ которыхъ и увиваются кавалеры: директоръ и инспекторъ. Эти кавалеры не прочь иногда выдвинуться насчетъ репутаціи своихъ товарищей, т.-е. попросту говоря, напакостить коллегѣ, подставить ему ножку. И изъ живого и великаго дѣла воспитанія молодого поколѣнія выходитъ, въ концѣ концовъ, какая-то жалкая и смѣшная канитель, или служба.

Такъ думалъ Николай Семеновичъ, лѣниво шагая въ гимназію. Онъ живо представлялъ себѣ, какъ войдетъ въ учительскую комнату, какъ встрѣтится съ сослуживцами и съ директоромъ. Здѣсь Николая Семеновича не долюбливаютъ, вѣроятно, за то, что на засѣданіяхъ педагогическаго совѣта онъ прежде всего оставался „при особомъ мнѣніи“, которое рѣшительно никому не было интересно и только задерживало плавность этихъ собраній и портило настроеніе директору, а за нимъ и всѣмъ другимъ педагогамъ. За глаза Николая Семеновича такъ и называли: „особое мнѣніе“.

Директоръ при встрѣчѣ, по обыкновенію, состроитъ недовольную физіономію и, словно изъ милости, ткнетъ Николаю Семеновичу свои два-три пальца. Директоръ, конечно, убѣжденъ, что пожать его три пальца—величайшее удовольствіе.

Въ гимназіи съ Николаемъ Семеновичемъ стряслась цѣлая исторія. Поводъ этой исторіи былъ пустъ и ничтоженъ, но тѣмъ не менѣе, повелъ къ серьезнымъ послѣдствіямъ.

Въ большую перемѣну, послѣ звонка, Николай Семеновичъ проходилъ въ учительскую комнату чрезъ рекреаціонный залъ. Здѣсь было, сверхъ обыкновенія, тихо и торжественно. По гладкому паркету чинно расхаживали, а не бѣгали, сломя голову, гимназисты и скромно бесѣдовали, а не кричали; другіе сидѣли по стульямъ съ книжками и съ булками и, повторяя уроки, закусывали. Причиной столь необыкновенной тишины и торжественности былъ тучный низенькій старичекъ съ гладко выбритымъ подбородкомъ и съ серебряною звѣздою на груди, скромно выглядывавшею изъ-за борта фрака. Этотъ господинъ со звѣздою медленно шагалъ по залѣ съ директоромъ, который, почтительно нагибаясь, что-то пояснялъ ему. Николай Семеновичъ хотѣлъ миновать встрѣчи и разговора съ начальствомъ, но сдѣлать этого не удалось: директоръ и господинъ со звѣздою отрѣзали ему отступленіе. Пришлось раскланяться, остановиться, представиться и поговорить объ успѣхахъ учащихся. Во время этой краткой бесѣды директоръ почему-то краснѣлъ, сурово поводилъ бѣлками глазъ и вообще выказывалъ сильное неудовольствіе. Тогда Николай Семеновичъ не могъ понять, почему директоръ пыхтитъ, краснѣетъ, морщитъ лобъ, но скоро дѣло объяснилось.

По окончаніи уроковъ помощникъ класснаго наставника, надзиратель Куропаткинъ, поймавъ Николая Семеновича въ швейцарской, робко сообщилъ:

— Директоръ просятъ къ себѣ на квартиру.

— Зачѣмъ?..

— Богъ знаетъ,—пожавъ плечами, отвѣтилъ Куропаткинъ, но по его физіономіи было видно, что знаетъ это не одинъ только Богъ, а даже и онъ, Куропаткинъ.

„Притворяется, гадина“,—мысленно произнесъ Николай Семеновичъ и пошелъ.

— Что же это вы, батюшка, со мною дѣлаете? У меня вѣдь не двѣ головы, а одна! — встрѣтилъ Николая Семеновича директоръ и не предложилъ даже стула—садиться.

Николая Семеновича сильно огорошило такое патетическое вступленіе, ибо оно было произнесено такимъ отчаяннымъ негодующимъ тономъ, словно Николай Семеновичъ дѣйствительно погубилъ своего начальника и его единственную голову.

— Что такое, Юліанъ Михайловичъ? Ей-Богу, не понимаю,—неувѣренно отвѣтилъ Николай Семеновичъ, перебирая въ головѣ все, что хотя косвенно могло бы послужить поводомъ къ такому отчаянію начальника.

— Какъ же это вы не понимаете? А это, милостивый государь, что?.. Это-съ?

Директоръ показалъ рукой куда-то внизъ.

Сперва Николай Семеновичъ опѣшилъ, но, обозрѣвъ себя, согласно указанію директорскаго пальца, сейчасъ же догадался: на немъ были не форменныя брюки, а какія-то клѣтчатыя, коричневаго цвѣта, съ темными полосками и желтоватыми лампасами.

— Виноватъ, Юліанъ Михайловичъ! Совершенно машинально надѣлъ... по разсѣянности... — заговорилъ Николай Семеновичъ, постукивая свернутымъ въ трубочку класснымъ журналомъ по своимъ клѣтчатымъ брюкамъ; на лицѣ его скользнула невольная улыбка, отчасти виноватая улыбка, а отчасти вызванная комичностью этой исторіи.

Эта улыбка только подлила масла въ огонь.

У директора покраснѣла шея, и дрогнула нижняя губа.

— Что вы говорите: виноватъ, по разсѣянности?.. Вы по разсѣянности въ халатѣ придете и будете мнѣ говорить, что виноватъ! Въ какое положеніе, сударь, вы поставили меня?

— Позвольте, Юліанъ Михайловичъ...

— Нечего тутъ позволять... Не позволю-съ! Не позволю въ халатѣ ходить! Если желаете со мной служить... До свиданія...

Юліанъ Михайловичъ, невѣжливо повернувшись, ушелъ въ глубь комнатъ, а Николай Семеновичъ остался на мѣстѣ, смущенный и растерянный. Постоявъ нѣсколько мгновеній неподвижно, онъ вышелъ изъ директорской квартиры; на лицѣ его горѣли красныя пятна, а на лбу сидѣли крупныя капли пота, словно послѣ долгой и тяжкой работы.

„Если желаете служить, то... что же? не надѣвать клѣтчатыхъ брюкъ?“—мысленно иронизировалъ Николай Семеновичъ, направляясь къ швейцарской.

Швейцаръ, отставной унтеръ-офицеръ съ бакенбардами генералъ-маіора и съ завѣшанною бронзовыми и серебряными медалями грудью, уже смекнулъ, что Николаю Семеновичу „нагорѣло“ отъ его превосходительства. По крайней мѣрѣ, онъ подалъ Рузавину шубу со вздохомъ и сочувственно-кроткимъ тономъ произнесъ, подавая ему калоши:

— Калошки, ваше благородіе.

И опять вздохнулъ.

II.

Раздраженный вернулся домой Рузавинъ. Описанный казусъ, къ которому, какъ убѣждалъ себя Николай Семеновичъ, онъ могъ отнестись только, какъ къ юмористи-

ческой характерной сценкѣ, послужилъ причиною довольно непріятнаго разговора съ домашними. Накипѣвшее скрытое раздраженіе цѣликомъ вылилось на голову старухи-матери и брата гимназиста:

— Изъ-за васъ опять непріятности!—рѣзко заявилъ Николай Семеновичъ, усаживаясь за столъ обѣдать.

— Какія непріятности, Коленька?—тревожно спросила мать.

— Зачѣмъ вы подсунули мнѣ эти чичиковскіе штаны? Вы знаете, что я всегда хожу въ форменныхъ, а изъ-за вашей скаредности подсовываете эту пакость.

— Что ты, Богъ съ тобой! Я хотѣла форменные починить, ну и думаю: пусть одинъ разъ въ отцовскихъ сходитъ.

— Вѣчная исторія... Прошу впередъ спрашивать!

— Да что ты кричишь-то?

— Я не кричу,—дѣйствительно кричалъ Николай Семеновичъ,—а говорю! Изъ-за васъ опять выговоры и непріятности. Сегодня у насъ былъ помощникъ попечителя, а я—въ вашихъ допотопныхъ брюкахъ... Ну, и не пеняйте, если выгонятъ!

Братъ, жизнерадостный бѣлокурый юноша, подсаживаясь къ столу и уловивъ только часть разговора о брюкахъ, не замедлилъ сострить по-гимназически:

— Пиѳагоровы штаны для рѣшенья намъ даны.

Это окончательно взбѣсило Николая Семеновича. Онъ вспыхнулъ, глаза его сверкнули гнѣвомъ, вздрогнулъ на лицѣ мускулъ.

— Ты, молокососъ, оставь свои шутки! Не пристало тебѣ это издѣвательство надъ человѣкомъ, которому... ты обязанъ всѣмъ.

Съ этими словами Николай Семеновичъ сердито бросилъ на столъ серебряную ложку, вскочилъ со стула и удалился протестующей и негодующей походкою въ свой кабинетъ, оставивши мать и брата въ полномъ недоумѣніи. За столомъ водворилась тишина. И мать,

и братъ сидѣли надъ тарелками и не ѣли. Издали слышались шаги Николая Семеновича по комнатѣ и его сердитое откашливаніе. Только спустя минутъ десять старуха заговорила шопотомъ:

— Развѣ, Петя, хорошо надъ старшимъ братомъ шутить?.. Ты видишь, Коля разстроенъ... Онъ тебѣ вѣдь за отца родного... Не хорошо!..

— Но что же я сдѣлалъ?—воскликнулъ юноша и со слезами въ глазахъ тоже выскочилъ изъ-за стола и скрылся.

Николай Семеновичъ долго ходилъ въ своемъ кабинетѣ изъ угла въ уголъ и размышлялъ; гнѣвъ мало-по-малу прошелъ, раздраженіе поулеглось.

— Изъ-за какихъ-то, прости Господи, старыхъ штановъ я поднялъ цѣлый скандалъ,—думалъ онъ, и ему стало жаль матери, брата и поруганной изъ-за брюкъ справедливости. Теперь ясно, что все это вышло случайно, что никто здѣсь не виновать, и что шутка брата вовсе не была оскорбительной.

— За что я накинулся и на мать, и на брата?

Приливъ нѣжности смѣнилъ раздраженіе. Николай Семеновичъ почувствовалъ себя вдругъ виноватымъ, готовымъ просить прощенія... Если бы не глупое самолюбіе, онъ сейчасъ же пошелъ бы къ матери, поцѣловалъ ее, попросилъ простить ему глупую выходку, виной которой были одни только его больные нервы и проклятая служба. Николай Семеновичъ вспомнилъ, что когда-то, давно-давно, онъ былъ такимъ же жизнерадостнымъ юношей, какъ и братъ, любилъ пошутить, побалагурить, носилъ въ себѣ такой же восторгъ, избытокъ силъ и вѣры въ людей и свою будущность, полную заманчивыхъ перспективъ и упованій. Въ этомъ юношѣ Николай Семеновичъ увидѣлъ вдругъ свое прошлое, повтореніе своего „я“, и ему стало жаль брата и жаль своей улетѣвшей юности.

За послѣдніе два года они съ братомъ какъ-то от-

дѣлились другъ отъ друга, перестали интересоваться другъ другомъ, перестали говорить о жизни, о своихъ планахъ, дѣлиться впечатлѣніями повседневней жизни. Петръ уже не идетъ къ нему со своими „вопросами“, не проситъ его совѣтовъ, помощи разрѣшать эти „вопросы“. А онъ, Николай Семеновичъ, словно и доволенъ всѣмъ этимъ, словно это такъ и быть должно. Почему?.. Было горячее желаніе сдѣлать изъ брата что-то особенное, оригинальное, было желаніе слѣдить за процессомъ развитія его духовныхъ силъ и духовныхъ потребностей, а теперь вся забота — сшить мундиръ, купить учебниковъ, внести за право ученія деньги и только... Почему и какъ все это вышло?

Николай Семеновичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ и думалъ, какъ все это вышло, съ чего началось охлажденіе и что было причиной.

Когда-то они съ братомъ были большими друзьями. А теперь?

Теперь словно стало что-то между ними... Пробудившаяся жажда знаній и потребность въ общеніи удовлетворяются юношей самостоятельно и съ помощью товарищей, а Николай Семеновичъ, когда-то страстно желавшій играть первенствующую роль въ духовной жизни любимаго брата, теперь самъ отстранился, отошелъ въ сторонку... Теперь онъ только „сочувствуетъ“... Почему такъ? Неужели онъ окончательно уже зачерствѣлъ въ своей казенной скорлупкѣ, и всѣ лучшія стороны души успѣли въ немъ атрофироваться?

Кто-то постучалъ въ дверь.

— Можно, — тихо произнесъ Николай Семеновичъ,

Дверь отворилась: вошелъ Петръ. Лицо его было блѣдно, онъ смотрѣлъ нѣсколько сконфуженно и, видимо, переживалъ сильное волненіе.

— Я пришелъ, Коля, сказать тебѣ нѣсколько словъ,— потупившись, заговорилъ онъ.

— Ну, скажи, скажи! — мягко отвѣтилъ Николай Семеновичъ, обвивъ правой рукой талію брата.

Нѣкоторое время они ходили по комнатѣ молча. Петръ нѣсколько разъ откашливался, собираясь заговорить, но языкъ не повиновался ему.

— Ну, о чемъ же, другъ, ты хотѣлъ поговорить?

— Ты знаешь... Ты напрасно разсердился... Я совершенно не хотѣлъ оскорблять... Я просто... глупо сострилъ... Извини, если...

Голосъ Петра звучалъ съ каждымъ словомъ глуше и наконецъ оборвался...

— Ну, полно, полно!—началъ успокаивать Николай Семеновичъ, замѣтивъ выступившія на глазахъ брата слезы.—Все это пустяки, и я нисколько не сержусь... Я просто разстроенъ и... и... Ну, перестань, братецъ!.. Не стоитъ!.. Забудемъ!..

Петръ тяжело вздохнулъ, подавляя готовыя хлынуть рыданія...

— Ты, Коля, вообще, измѣнился ко мнѣ,—заговорилъ онъ, немного успокоившись.—Наши дружескія отношенія какъ-то не выходятъ... Ты, напримѣръ, упрекнулъ меня давеча въ томъ, что я...

Николай Семеновичъ растерянно стоялъ передъ братомъ и бормоталъ:

— Ну, полно! полно! все это такъ... пустяки!.. Не стоитъ... Забудемъ...

Стряхнувъ рукавомъ блузы слезы, Петръ бросился вдругъ на шею брата...

— Ну, полно!.. Будемъ, какъ прежде, друзьями...— растроганно шепталъ Николай Семеновичъ,—и братья долго сжимали другъ друга въ объятьяхъ...

Когда руки разнялись, братья молча зашагали по комнатѣ. Обоимъ имъ было какъ-то не по себѣ, неловко, словно они стыдились только что происшедшей чувствительной сцены.

— Ты скажи матери, что я виноватъ,—произнесъ Николай Семеновичъ.

— Ты самъ это сдѣлай.

— Ну, ладно.

Опять помолчали.

— Какъ ваши „чтенія“ подвигаются?—освѣдомился Николай Семеновичъ, желая проявить чѣмъ-нибудь свое вниманіе къ брату. Однако чуткое сердце юноши уловило здѣсь неискренность:

— Ничего, читаемъ,—сказалъ Петръ.—Надо итти...

— Петя! Ты, братецъ, распоряжайся моей библіотекой, какъ тебѣ вздумается. Ключъ отъ шкафа постоянно на стѣнкѣ, знаешь гдѣ?—крикнулъ Николай Семеновичъ вслѣдъ удалявшемуся брату.

Когда Николай Семеновичъ остался одинъ, онъ сѣлъ въ кресло и сталъ думать о происшедшей сценѣ, о себѣ...

„Поспѣшилъ высказать неожиданно проснувшуюся заботу объ „умственной пищѣ“...—подумалъ онъ и поморщился... Чувство апатіи и пустоты снова овладѣло имъ вдругъ, и опять ему перестало быть грустно, перестало быть стыдно и жалко. Опять сдѣлалось все сѣрымъ и безразличнымъ.

Долго ходилъ онъ по комнатѣ, мѣряя ее своими безцѣльными машинальными шагами, что-то насвистывалъ, наконецъ остановился у окна и сталъ тупо смотрѣть туда.

Уже смеркалось. На углу красноватымъ пламенемъ вспыхнулъ фонарь. Окна магазиновъ угрюмаго дома противоположной стороны выбросили слабыя еще полосы свѣта на улицу.

А Николай Семеновичъ все стоялъ и смотрѣлъ...

III.

Рузавинъ поступилъ въ университетъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Первые два года университетской жизни онъ всецѣло отдалъ различнымъ увлече-

ніямъ благороднаго характера: читалъ въ кружкахъ, писалъ рефераты, былъ депутатомъ, судьей, библіотекаремъ, словомъ—служилъ по всѣмъ выборнымъ должностямъ и участвовалъ во всѣхъ представительныхъ собраніяхъ. Но со смертью отца, убогаго провинціальнаго чиновника, дѣло приняло другой оборотъ. Средствъ послѣ отца никакихъ не осталось, и молодой студентъ Рузавинъ долженъ былъ принять на себя роль главы семейства, состоявшаго изъ матери, бабушки и гимназиста-братишки. Вся семья переселилась въ Н—скъ, чтобы „жить вмѣстѣ съ Колюшкой“,—и съ тѣхъ поръ Рузавинъ уподобился вьючному животному. Пришлось оставить всякія „представительства“ и заняться исключительно бѣганьемъ по дешевымъ урокамъ, перепиской лекцій, ремесломъ пѣвчаго на клиросѣ и вообще посвятить себя охотѣ на хлѣбъ для четырехъ голодныхъ ртовъ. Вѣчная нужда, постоянная тревога за завтрашній день сильно повліяли на характеръ и настроеніе молодого Рузавина: изъ области широкихъ общихъ вопросовъ теоріи и науки пришлось съ головой окунуться вдругъ въ область самыхъ узкихъ и мелочныхъ практическихъ интересовъ повседневной жизни. Отъ своихъ товарищей Рузавинъ началъ понемногу отставать, ибо сама жизнь толкала его въ другую сторону. Ярмо главы семейства сильно поубавило въ немъ жару, и пискариное благоразуміе стало исподоволь, незамѣтно, водворяться на мѣстѣ прежней беззавѣтной отваги и жажды подвига. Рузавинъ старался быть въ курсѣ студенческихъ интересовъ, но прямого участія здѣсь уже не принималъ и позволялъ себѣ поговорить или обсуждать „вопросъ“ съ точки зрѣнія постороннаго наблюдателя. Получаемая Рузавинымъ стипендія и боязнь лишиться ея держали въ какомъ-то намордникѣ всѣ его чувства, порывы и пріучали къ скрытности, двойственности, къ такъ называемой „выдержкѣ“.

На четвертомъ курсѣ въ аудиторіяхъ нерѣдко обсу-

ждался уже среди сотоварищей Рузавина вопросъ о будущей практической дѣятельности, горячились, спорили, гремѣли молодые громы, — Рузавинъ сосредоточенно молчалъ, не вмѣшивался, сторонился.

— Какъ же ты полагаешь, вообще, о себѣ и своей дѣятельности?—спросилъ его однажды одинъ изъ его немногихъ друзей, съ которымъ Рузавинъ остался искреннимъ.

Они сидѣли тогда въ биръ-галле, и вели душевные разговоры за стаканомъ пива.

— Жизнь, братецъ, сложилась скверно. Приходится брать отъ этой жизни то, что въ силахъ взять я.

— Поясни!

— Я думаю, что быть честнымъ человѣкомъ и скромнымъ работникомъ можетъ всякій изъ насъ...

— Нельзя ли точнѣе, опредѣленнѣе? — перебилъ Рузавина товарищъ, мрачно уставившись въ кружку съ пивомъ.—Что же ты намѣренъ дѣлать?

— Что дѣлать? Буду сѣять доброе сѣмя въ качествѣ педагога, дѣлиться свѣтомъ знанія съ маленькими человѣчками, честно работать, т.-е. сознавать, что на избранномъ поприщѣ ты дѣлаешь все, что можешь...

— Ну, а затѣмъ?

— Затѣмъ, часть своего труда отдамъ тѣсному семейному кругу: матери, брату, быть можетъ,—любимой женщинѣ...

Товарищъ молчалъ. Низко опустивъ надъ кружкою пива свою лохматую голову, онъ смотрѣлъ внизъ, потомъ тихо, вполголоса замурлыкалъ отрывокъ изъ оперы „Евгеній Онѣгинъ“: „Когда бы жизнь домашнимъ кругомъ я ограничить захотѣлъ“...

— Въ этой безхитростной программѣ,—началъ снова Рузавинъ,—только и есть, что быть честнымъ, порядочнымъ человѣкомъ, безкорыстнымъ труженикомъ общества. Гигантскихъ силъ не потребуется.

— Гм... да. Это только задача на всѣ четыре дѣйствія, съ дробями!—загадочно промычалъ товарищъ и грозно крикнулъ:

— Человѣкъ! Кружку пива!

Спустя годъ Рузавинъ былъ учителемъ математики въ Н—ской классической гимназіи, а его другъ довольствовался званіемъ „бывшаго студента“. Въ началѣ своей безхитростной дѣятельности молодой учитель горячо принялся за выполненіе своей безхитростной программы, но его на первыхъ же порахъ охладили:

— Вы совершенно выходите изъ рамокъ возложенныхъ на васъ обязанностей. При чемъ тутъ Лапласъ, когда мальчишки не знаютъ дробей?

Затѣмъ послѣдовалъ совѣтъ не обращаться съ учениками за панибрата, внимательнѣе относиться къ циркулярамъ и вообще не мудрить.

Николай Семеновичъ вздыхалъ, хмурился и мало-по-малу начиналъ пріучаться къ воздержанію отъ мудрствованій. Онъ уходилъ въ себя, сторонился педагоговъ, своихъ сотоварищей, оставилъ свою прежнюю задушевную общительность съ учениками и плюнулъ на свои „особыя мнѣнія“. На педагогическихъ совѣтахъ онъ садился куда-нибудь въ уголъ и молчалъ, не подавая рѣшительно никакого мнѣнія. Зато съ тѣмъ большимъ рвеніемъ Николай Семеновичъ началъ заниматься съ братомъ, который являлся теперь единственнымъ объектомъ, съ которымъ можно было позабывать о рамкахъ, циркулярахъ и всякихъ совѣтахъ.

Петръ былъ уже въ пятомъ классѣ и своей страстью къ чтенію, своей жадной любознательностью рѣзко выдѣлялся изъ среды своихъ сверстниковъ. Подъ руководствомъ старшаго брата Петръ читалъ запоемъ книги, прекрасно учился, но былъ страшнымъ озоремъ и потому не внушалъ довѣрія своимъ наставникамъ.

По субботамъ Петръ собиралъ къ себѣ товарищей

и это давало возможность Николаю Семеновичу увеличивать количество своихъ объектовъ. На этихъ субботахъ онъ демонстрировалъ предъ своей молодой аудиторіей физическіе аппараты и модели машинъ, читалъ о кислородѣ съ водородомъ, а иногда просто бесѣдовалъ по поводу прочитанныхъ ими книгъ и авторовъ. Однако и это продолжалось не долго и кончилось самымъ неожиданнымъ и непріятнѣйшимъ образомъ.

Дѣло было въ одну изъ такихъ субботъ. Только что кончили чтеніе „Темнаго царства“ изъ Добролюбова и велись горячіе дебаты, какъ вдругъ въ передней дрогнулъ звонокъ. Старуха-мать отперла дверь и, увидѣвши передъ собою неизвѣстнаго господина, встрѣтила гостя очень сухо:

— Вамъ, вѣрно, не сюда, а наверхъ слѣдуетъ?

— Николай Семеновичъ у себя?

— А вы кто такой будете?

— Директоръ гимназіи.

Старушка такъ и присѣла. Въ ея глазахъ директоръ стоялъ не ниже губернатора, а, какъ начальникъ сына, даже казался болѣе значительнымъ и важнымъ.

— Ахъ, батюшка! А я-то дура... Проходите, ваше превосходительство,—торопливо зашамкала она своимъ беззубымъ ртомъ и, кажется, была готова собственноручно снять съ директора грязныя калоши.

— Кто пришелъ?—громко спросилъ Николай Семеновичъ изъ другой комнаты, полагая, что пришелъ какой-нибудь запоздавшій объектъ.

Въ это мгновеніе на порогѣ показалась старуха и, жестикулируя костлявыми руками, испуганнымъ, задыхающимся шопотомъ сообщила:

— Самъ дилекторъ! Колюша, ты никакъ въ клѣчатыхъ брюкахъ-то? Ахъ, Господи!

Николай Семеновичъ вытаращилъ глаза, гимназисты шарахнулись въ стороны, охваченные какимъ-то паническимъ ужасомъ.

Наскоро оправивъ костюмъ, Николай Семеновичъ съ нѣкоторой робостью вышелъ въ залъ, гдѣ сидѣлъ директоръ. Директоръ заговорилъ сперва о погодѣ, потомъ о своемъ ревматизмѣ и только въ концѣ уже легонько коснулся сути дѣла:

— А у васъ, кажется, сегодня домашняя лекція? Молодежь?

Пришлось сказать вообще о субботахъ. Директоръ какъ будто бы и одобрилъ, но какъ будто бы и не одобрилъ. Отъ чая онъ не отказался, пожелалъ видѣть молодежь, посмотрѣлъ на забытую на столѣ въ переполохѣ книгу и слегка поморщился.

— Критика! Слишкомъ рано... да и не слѣдуетъ еще имъ критиковать. Сами потомъ не рады будете... Да... Да и книга эта...

Директоръ не окончилъ фразы, а только какъ-то хлопнулъ глазами и отбросилъ въ сторону Добролюбова. Прощаясь, онъ сказалъ: „добраго здравія“ и крякнулъ.

На другой день послѣ описаннаго визита директоръ пригласилъ Николая Семеновича на чашку чая и убѣдилъ его оставить эту затѣю...

Николай Семеновичъ окончательно присмирѣлъ, бросилъ даже свои занятія съ братомъ. Потянулись скучные, однообразные дни и уроки, строго соотвѣтствовавшіе всякимъ совѣтамъ, циркулярамъ.

Прошло какихъ-нибудь три, четыре года, и молодой учитель вылился въ шаблонную форму сухого педагога. Запасъ его энергіи истощился, а вмѣстѣ съ тѣмъ изсякъ и самый источникъ любви къ своей дѣятельности. Николай Семеновичъ сталъ чувствовать усталость, утомленіе. И вдругъ ему сдѣлалось скучно. Скучно объяснять, скучно задавать, спрашивать, оставлять безъ обѣда и ставить пятерки и двойки.

Вскорѣ вышла еще новая исторія, послѣ которой самочувствіе Рузавина еще болѣе ухудшилось.

Петра сильно не долюбливалъ преподаватель греческаго языка, а съ тѣхъ поръ, какъ Николай Семеновичъ изъ-за чего-то повздорилъ съ нимъ на засѣданіи педагогическаго совѣта, грекъ сталъ вымещать эту ссору на Петрѣ Рузавинѣ. Однажды въ классѣ грекъ вызвалъ Петра и началъ съ помощью аориста вымещать на школьникѣ свою непріязнь къ коллегѣ. Горячій юноша не могъ сдержаться и наговорилъ учителю такъ называемыхъ дерзостей:

— Вы, Иннокентій Гаврилычъ, просто сбиваете меня и придираетесь. Я совсѣмъ не виноватъ, что вы поссорились съ моимъ братомъ,—сказалъ Петръ и сѣлъ, не желая отвѣчать.

Иннокентій Гаврилычъ закричалъ: вонъ! сторожей!

— Не кричите, я и самъ уйду.

Разсвирѣпѣвшій учитель бросилъ классъ и побѣжалъ къ директору жаловаться. Петръ Рузавинъ сидѣлъ за дерзости въ карцерѣ, а Николай Семеновичъ получилъ снова приглашеніе на чашку чая, послѣ чего унтеръ опять вздыхалъ, провожая его изъ гимназіи, и опять, подавая калоши, сказалъ:

— Калошки, ваше благородіе!

— Ты, братецъ, все-таки хватилъ черезъ край. Такъ нельзя,—замѣтилъ Николай Семеновичъ брату по поводу описанной исторіи.

— Правду сказалъ только,—отвѣтилъ Петръ.

— Не всякую правду можно, братецъ, говорить.

— Почему это?

— Неудобно иногда бываетъ... А главное, никогда не мѣшайся въ мои личныя отношенія!

— А если сказанное мною—правда?

— Это все равно. Мы живемъ въ обществѣ, гдѣ приходится ограничивать свою волю и желанія.

— И правду?

— Да, и правду.

— Что-то новое слышу отъ тебя.

Николай Семеновичъ вспыхнулъ и сердито отвѣтилъ:

— Да, новое! Для тебя впереди предстоитъ еще очень много новаго, ты слишкомъ еще молодъ.

— Я сказалъ правду, а различать ее по категоріямъ я еще не учился.

— Очень жаль.

— А я очень радъ.

Между братьями возникла неискренность отношеній и взаимное охлажденіе, которое хотя съ теченіемъ времени и сглаживалось, но лишь на поверхности, а въ глубинѣ, напротивъ, вырастало и крѣпло. Прежнія добрыя братскія отношенія были осквернены взаимной подозрительностью, фальшью. Души ихъ закрылись другъ для друга. Тамъ, въ этихъ душахъ, пряталось что-то недосказанное, и это „что-то“ сперва только чувствовалось, а затѣмъ и оформилось въ сознаніи.

Петръ не хотѣлъ знать никакихъ компромиссовъ; его логика по отношенію къ вопросамъ этики была прямолинейна и безапелляціонна, она знала только одинъ отвѣтъ: это добро, а это зло. Почему Николай вмѣсто того, чтобы похвалить и ободрить, высказалъ неудовольствіе? Чего онъ испугался? Зачѣмъ поступаетъ иначе, чѣмъ говоритъ?

Николай Семеновичъ сознавалъ свое „положеніе“ и хотя оправдывалъ себя мысленно „независящими обстоятельствами“, но совѣсть его все-таки не могла на этомъ успокоиться. Особенно обезкураживало его отношеніе къ брату. Объяснить ему „все это“ какъ-то неловко, да и не пойметъ онъ пока всѣхъ этихъ сложныхъ условностей, лавированій, не сумѣетъ понять и простить, ибо не знаетъ еще жизни съ ея пошлостью и грязью...

Петръ всталъ въ глухую молчаливую оппозицію къ брату и всегда былъ какъ-то насторожѣ: всякія мелочи и пустяки, проходившіе прежде безъ всякаго съ его

стороны вниманія, теперь бросались ему въ глаза. Онъ сталъ замѣчать, напримѣръ, что братъ говоритъ съ директоромъ какимъ-то пониженнымъ тономъ, что онъ боится пропустить урокъ и опоздать въ классъ.

А Николай Семеновичъ все глубже и глубже уходилъ въ себя. Онъ рѣдко выходилъ изъ дому и возвратившись изъ гимназіи, молча обѣдалъ и удалялся въ свой кабинетъ; здѣсь онъ либо читалъ газету, либо похаживалъ изъ угла въ уголъ и напѣвалъ вполголоса грустные мотивы малороссійскихъ пѣсенъ, либо просто валялся на софѣ въ апатично-вяломъ состояніи духа.

Время шло. Петръ былъ уже въ восьмомъ классѣ, возмужалъ, вытянулся и заговорилъ неровнымъ баскомъ приближавшейся зрѣлости, а Николай Семеновичъ похудѣлъ, пожелтѣлъ и хандрилъ, апатично плывя по теченію...

IV.

Вдова коллежскаго ассесора Анна Васильевна Свищева жила въ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей города, тамъ, гдѣ по улицамъ свободно разгуливали, вмѣстѣ съ обывателями, коровы, а въ грязныхъ лужахъ и болотахъ купались, вмѣстѣ со свиньями, обывательскіе ребятишки, гдѣ было мало домовъ, но много заборовъ, гдѣ были дешевы квартиры, но дороги извозчики.

Когда-то были лучшія времена,—Анна Васильевна жила на Дворянской улицѣ. Но это было такъ давно, что теперь кажется маловѣроятнымъ не только для знакомыхъ Анны Васильевны, но даже и для нея самой. Вотъ уже восемнадцать лѣтъ, какъ она живетъ въ Грязномъ проулкѣ, и двѣнадцать лѣтъ, какъ живетъ въ этомъ именно домикѣ съ палисадникомъ и съ крылечкомъ на бокъ. Анна Васильевна такъ сжилась

и съ Грязнымъ проулкомъ, и со своей квартирой, что разстраивается на цѣлый день, если ей даже только приснится, что они переѣзжаютъ на новую квартиру...

Анна Васильевна была одна изъ тѣхъ увядшихъ дамъ, которыя, кажется, такъ и родятся вдовами. По крайней мѣрѣ, всѣ знакомые помнили ее вдовой съ тѣхъ поръ, какъ знали. Какъ всѣ подобныя вдовы, Анна Васильевна застыла въ своихъ привычкахъ, взглядахъ и жила по разъ навсегда установленному шаблону. Отъ коллежскаго ассесора остался грудной ребенокъ, который теперь уже „дозрѣвалъ“, готовясь къ выпускному экзамену и къ вступленію въ университетъ.

Мать съ сыномъ жили въ небольшой, но чистенькой квартиркѣ, гдѣ можно было устроить и залъ, и столовую, и кабинетъ Михаилу Свищеву. Жили они очень скромно, но большой нужды все-таки не было: мать получала небольшую пенсію, сынъ прирабатывалъ уроками, платить въ гимназію не приходилось,—сына освобождали отъ платы.

Михаилъ Свищевъ былъ надеждой и гордостью вдовы коллежскаго ассесора.

У Анны Васильевны были двѣ слабости: во-первыхъ, она придавала особое значеніе тому обстоятельству, что она не просто вдова, а вдова коллежскаго ассесора, а во-вторыхъ, не менѣе она гордилась тѣмъ, что у нея сынъ кончаетъ гимназію и впослѣдствіи будетъ тоже коллежскимъ ассесоромъ. Эти два положенія составляли, какъ казалось Аннѣ Васильевнѣ, ея привилегію, ея преимущества предъ другими вдовами, и она при всякомъ удобномъ случаѣ старалась выставить эти преимущества на видъ.

Анна Васильевна была бѣдна, но горда, и бѣдность заставляла ее съ особенной заботливостью соблюдать всѣ обычныя церемоніи и приличія, которыя, такъ сказать, равняли ее съ „порядочными“. Дѣлая визиты, на-

примѣръ, она требовала, чтобы ей отплачивали эти визиты не позднѣе трехъ дней, любила, чтобы ея Машка—кухарка, горничная и все, что угодно, — непремѣнно докладывала ей объ обѣдѣ, о самоварѣ, о приходѣ гостя, и раньше доклада не выходила, хотя и знала, что итти надо. Сына своего она называла Мишелемъ, произнося это какъ-то въ носъ и черезъ зубы, и въ разговорѣ съ нимъ при постороннихъ употребляла весь свой запасъ французскихъ словъ и короткихъ фразъ.

У Анны Васильевны было одно черное шерстяное платье и шляпка временъ очаковскихъ, которыя надѣвались ею во всѣхъ торжественныхъ и важныхъ случаяхъ.

Насколько Анна Васильевна цѣнила и сознавала свое достоинство, можетъ показать такой случай.

Въ прошломъ году на Пасхѣ къ нимъ заявился съ визитомъ часа въ четыре вечера помощникъ надзирателя гимназіи, Куропаткинъ, бывшій сослуживецъ покойнаго мужа Анны Васильевны. Это былъ дрянной старикашка, выгнанный когда-то со службы за какія-то темныя дѣлишки и, по протекціи одной видной дамы-благотворительницы, попавшій теперь въ воспитатели молодого поколѣнія. На родителей школьниковъ онъ смотрѣлъ, какъ добрый попъ на своихъ прихожанъ, и на праздникахъ Пасхи, Рождества и на Новый годъ имѣлъ обыкновеніе ходить по своимъ прихожанамъ и брать натурою: гдѣ обѣдалъ, гдѣ закусывалъ, гдѣ угощался водочкой...

На сей разъ онъ включилъ въ число своихъ прихожанъ и Анну Васильевну и, сильно подвыпивши, ввалился къ ней съ визитомъ.

— Гость пришелъ,—доложила Машка.

— Кто такой?

— Пьяный какой-то. Кто его знаетъ...

Анна Васильевна наскоро облеклась въ свое черное платье и торжественно вышла въ залъ.

— Кто вы такой и что вамъ, милостивый государь, угодно? — выпрямившись, съ достоинствомъ спросила она Куропаткина, хотя отлично его знала давно уже.

— Какъ кто? Надзиратель... Начальникъ вашего сына-съ...

— Да вы куда, милостивый государь, пришли? Къ кому вы въ такомъ видѣ пожаловали? Я, милостивый государь,—вдова коллежскаго ассесора и не позволю...

— А-а-а... вотъ какъ?.. вдо-о-ва?..—началъ растягивать слова Куропаткинъ, упершись мутными посоловѣвшими глазами въ лицо Анны Васильевны.

— Вонъ! Сейчасъ же, сударь, вонъ!..

— А-а-а... вотъ какъ?.. вонъ?.. Я—по дѣламъ службы... Гдѣ вашъ сынъ, Михаилъ Свищевъ-съ?.. Подайте мнѣ его сюда!..

— Вонъ!.. Машка!.. Проводи этого господина за дверь...

— Вотъ к-а-а-къ?.. Хара-а-шо-съ!.. Мы...м...мы уйдемъ, только... Хар-а-шо-съ!

Машка проводила г. Куропаткина:

— Ну, ступай, ступай!.. Надѣвай калоши-то!

Куропаткинъ ушелъ, и Анна Васильевна стала плакать, чувствуя глубокое оскорбленіе отъ происшедшей сцены.

„Меня... вдову коллежскаго ассесора, такъ унизить!— шептали ея губы; — я не какая-нибудь... Я не позволю“...

— Ну, плюньте, мама,—уговаривалъ Мишель.

— Какъ? Ты, мой сынъ, позволяешь безнаказанно третировать твою мать? Нѣтъ, не позволю!.. Сейчасъ же поѣду къ директору. Это ему не пройдетъ даромъ...

Къ директору Анна Васильевна, впрочемъ, не поѣхала, — пожалѣла негодяя, а то, конечно, его сейчасъ же выгнали бы изъ гимназіи и никуда уже болѣе не приняли...

Мать мечтала о томъ, какъ Мишель станетъ коллеж-

скимъ ассесоромъ, а будущій коллежскій ассесоръ относился къ этимъ мечтамъ совершенно индифферентно. Въ дѣтствѣ онъ зачитывался сперва сказками Андерсена, потомъ Майнъ-Ридомъ и Вальтеръ-Скоттомъ. Въ четвертомъ классѣ онъ упивался Тургеневымъ и Гоголемъ, а теперь заучивалъ на память поэмы и стихи Некрасова. Мишель жилъ въ особомъ отъ матери мірѣ радостей и интересовъ и, не встрѣчая въ Аннѣ Васильевнѣ друга, единомышленника, долго жилъ внутреннею, замкнутою жизнью. Онъ трудно сходился съ товарищами и своей серьезностью, отсутствіемъ игривости и общительности какъ-то обособлялся въ классѣ. Учился Мишель недурно, но и не слишкомъ хорошо. Единственно, въ чемъ онъ выдѣлялся, это—въ сочиненіяхъ по русскому языку. Въ этихъ сочиненіяхъ проглядывала всегда оригинальность мысли и оборотовъ рѣчи, что давало поводъ учителю всегда подозрѣвать несамостоятельность работы... „Написано недурно, но не самостоятельно“—писалъ онъ въ тетради и, рядомъ съ маленькой пятеркой въ скобкахъ, ставилъ громадную несуразную тройку безъ скобокъ.

Въ седьмомъ классѣ Мишель сошелся съ Петромъ Рузавинымъ. Связующимъ элементомъ явилась библіотека Николая Семеновича, которой они оба пользовались.

Теперь они были уже закадычными пріятелями, мечтали о поступленіи въ одинъ университетъ, о студенческой жизни и вообще о всемъ томъ, съ чѣмъ связывается въ головахъ отзывчиваго юношества понятіе объ университетѣ. То были весьма туманныя, но сладостныя мечты, полныя вѣры въ людей, въ науку, въ себя и свои силы, въ торжество правды надъ кривдою. Мечты эти бѣжали впередъ куда-то далеко-далеко, въ заманчивую даль, и, превращаясь въ легкія прозрачныя грезы, исчезали въ голубомъ туманѣ утра молодой жизни.

V.

Былъ мартъ въ началѣ; стоялъ довольно теплый вечеръ, темный, вѣтряный; въ воздухѣ было сыро, пахло весенней оттепелью.

Петръ Рузавинъ пробирался къ своему Мишелю. Путь былъ дальній, надо было промѣрять по крайней мѣрѣ около двухъ верстъ, поэтому онъ шагалъ не быстро, но основательно... Походка его была дѣловито-серьезная, онъ ступалъ, не разбирая грязи, вдоль улицы, что, впрочемъ, было и безопаснѣе, такъ какъ въ этой части города уже начинались безконечные заборы и деревянные тротуары съ прогнившими досками, фонари мигали только по угламъ, а собаки сердито ворчали изъ каждой подворотни. Небо было темное-темное... Вѣтеръ рябилъ воду въ лужахъ у фонарей; изрѣдка извозчичьи клячи шлепали по рыхлому снѣгу съ навозомъ, и ваньки предлагали „подвезти“... Но Рузавинъ шелъ молча, погруженный въ какія-то размышленія, и не обращалъ никакого вниманія ни на собакъ, ни на ванекъ.

Впереди его ждало серьезное дѣло. Теперь уже скоро девять часовъ, а назначили въ восемь... Вѣроятно, ругаются...

Но вотъ и знакомый домикъ съ палисадникомъ, гдѣ живетъ вдова коллежскаго ассесора. Рузавинъ круто свернулъ съ дороги и вбѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ. Ему отперла Машка. Она сердито сдернула съ него пальто и какъ-то бросила на вѣшалку... Машка недовольна: каждую субботу эти молодцы каталажатся, и ей приходится, во-первыхъ, ставить лишній самоваръ, а во-вторыхъ, не спать, дожидаясь, когда можно будетъ окончательно запереть крыльцо и храпѣть безъ тревоги.

— Собрались?—тревожно спросилъ Рузавинъ Машку.

— Тута!.. Тебя не хватало!.. — бросила Машка довольно непривѣтливо.

Рузавинъ прошелъ въ кабинетъ Мишеля.

— Ну, братъ, это свинство!—встрѣтили его товарищи.

Здѣсь было еще двое, кромѣ Мишеля.

Надъ зеленымъ абажуромъ лампы плавали облака табачнаго дыма. Въ полусумракѣ, по угламъ, гимназическіе мундиры блестѣли своими серебряными пуговицами.

У стѣны, на комодѣ, пріютился самоварчикъ. Онъ уже давно сталъ пищать, а теперь скрипнулъ какъ-то раза два-три и совсѣмъ замолчалъ.

Рузавинъ подошелъ къ самовару, стукнулъ въ него пальцемъ и спросилъ:

— Выдудили?

— Можно подогрѣть... Маша, Маша!

Прибѣжала Маша съ злой физіономіей и, не спрашивая, что нужно, схватила самоваръ и, что-то проворчавъ, исчезла.

Немного помолчали...

— Надо приступать,—сказалъ Мишель и, ни къ кому не обращаясь, добавилъ:

— Къ намъ присоединяется Петровъ, господа... Такъ какъ онъ человѣкъ новый, то предварительно надо его ознакомить... какая цѣль, планъ... и вообще посвятить его...

— Да, я желалъ бы!—послышался неувѣренный голосъ изъ дальняго угла.

— Ну, Рузавинъ,—ты!..

— Говори—ты!.. Все равно...

— Ну, вотъ!

Послѣ долгихъ взаимныхъ понуканій, Рузавинъ сѣлъ за столъ и покашлялъ. Взявъ въ руки карандашъ, онъ сталъ чертить имъ на бумагѣ и выпускать маленькія фразы и отдѣльныя слова.

— Собственно говоря, мы пришли къ заключенію... убѣдились, что необходимо чтеніе... Чтеніе не однихъ романовъ... Необходимо читать серьезныя книги... И

вотъ мы рѣшили... заняться серьезно... Читать безъ разбору не стоитъ, надо имѣть цѣль и планъ.

Рузавинъ прокашлялся, такъ какъ голосъ его дрожалъ и то чрезмѣрно слабѣлъ, то выкрикивалъ...

Въ комнатѣ царило глубокое молчаніе. Всѣ сидѣли по разнымъ угламъ и слушали; новичекъ Петровъ смотрѣлъ на красивый профиль оратора, на его тонкоочерченныя брови, на прямой носъ и на русыя волнистыя пряди волосъ, спадавшія на щеку,—смотрѣлъ и думалъ: „парень-башка!“ А остальные съ увѣренностью за говорившаго товарища угрюмо пощипывали первый пушокъ на губѣ и подбородкѣ.

— Дѣло въ томъ, что наша гимназическая библіотека,—началъ снова Рузавинъ,—не того... не выдерживаетъ критики... Необходимо добывать книги на сторонѣ... А одному это очень трудно... Нужна, такъ сказать, взаимная помощь... Такимъ образомъ мы пришли къ выводу о необходимости ассоціаціи саморазвитія. Наука доказала, что сперва люди жили въ одиночку и пребывали, такъ сказать, въ положеніи животныхъ; только со времени возникновенія ассоціацій, они вступили на путь культуры...

— И цивилизаціи!—торопливо добавилъ изъ угла Мишель.

— Да... совершенно вѣрно!.. Теперь вопросъ другой: что лучше читать?.. Это можно разрѣшить очень легко... Мы — будущіе граждане и должны всего больше интересоваться своей родиной... Надо изучать русскую жизнь, общественную, соціальную... Учебники намъ этого не дадутъ... Всѣ эти Иловайскіе наводятъ туманъ... Но такъ какъ изученіе родины можетъ быть безпредѣльно, то намъ надо остановиться... на одномъ какомъ-нибудь періодѣ... Достаточно будетъ начать съ крѣпостного права...

— А вы уже начали? — робко спросилъ Петровъ.

— Мы только выработали программу,—бросилъ ораторъ и продолжалъ:

— Теперь о системѣ... По каждому вопросу можно найти много сочиненій. Прочитать ихъ всѣ одному трудно... И вотъ тутъ опять выступаетъ ассоціація труда; одинъ можетъ прочитать одну книгу, другой—другую, третій—третью... Каждый можетъ написать въ краткихъ словахъ суть дѣла и на общихъ собраніяхъ прочитывать. Могутъ быть споры, и вообще легче выяснить непонятное... Вотъ наша программа!

Съ этими словами Рузавинъ тряхнулъ головой и облегченно вздохнулъ... Нѣсколько капель пота стеръ онъ со лба рукою и кашлянулъ. Всѣ молчали. Было такъ торжественно и тихо. Машка сердито толкнула ногой въ дверь; дверь передъ ней растворилась, и впередъ просунулся самоваръ, а затѣмъ и сама она.

— Наливайтесь!—сердито сказала она, пихнувъ самоваръ на прежнее мѣсто и проворно удалилась.

Ассоціація расхохоталась.

Мишель напомнилъ о самоварѣ, и члены ассоціаціи, подходя къ комоду, одинъ за другимъ, наливали себѣ чай и отходили со стаканами прочь. Зашелъ общій разговоръ о гимназіяхъ и учителяхъ. Много острили и смѣялись.

— Ну, а какъ Николай Семеновичъ? Доѣзжаютъ?..

— Кажется, доѣхали ужъ...—нахмурясь отвѣтилъ Рузавинъ.

— Измѣнился онъ... Совершенно другой человѣкъ...

— Говорятъ, что ему досталось недавно за неформенныя брюки?

— Было!

Всѣ расхохотались. Рузавинъ, вспомнивъ недавнюю ссору съ братомъ, сталъ ходить въ волненіи по комнатѣ.

Петровъ былъ нѣсколько смущенъ. Онъ сомнѣвался въ своихъ силахъ по части рефератовъ, но изъ самолюбія не высказалъ этого товарищамъ.

— Можно, господа, не писать рефератовъ?—произнесъ онъ несмѣло.

— А какъ же?

— Читать будемъ вмѣстѣ и вмѣстѣ разсуждать...

Рузавинъ горячо возразилъ, что вся суть ассоціаціи въ томъ именно и состоитъ. Читать,—говорилъ онъ,—можетъ всякій и самъ по себѣ, а дѣло въ томъ, чтобы достигнуть, при меньшей затратѣ времени, большихъ результатовъ. Говорилъ онъ такъ убѣжденно, что никто не могъ возражать. Еще Мишель могъ бы быть достойнымъ оппонентомъ, но они съ Рузавинымъ всегда и во всемъ согласны. Мишель предложилъ прочитать вслухъ статью Писарева о Пушкинѣ,—всѣ согласились. Часовъ въ 11 вечера, когда чтеніе кончилось, Пушкинъ окончательно потерялъ уже свой престижъ въ квартирѣ вдовы коллежскаго ассесора.

— Ловко пишетъ!—говорилъ Мишель, покуривая папироску и побѣдоносно озирая публику.

— Да-а...

— Ты мнѣ дай эту книжицу денька на два!

— Можно,—отвѣтилъ Рузавинъ за Мишеля,—всѣ сочиненія его можно добыть. Кто не читалъ,—обязательно слѣдуетъ... развиваетъ критическую мысль. А прогрессъ только и возможенъ при этомъ развитіи личности.

— Господа! Вы что-то сегодня заучились больно. Смотрите: проспите завтра,—вполголоса сказала Анна Васильевна чрезъ слегка пріотворенную дверь.

— Готовимся, мама... нельзя!—отвѣтилъ Мишель.

Мать, вздохнувши, отошла прочь. Она пошла въ спальню и стала укладываться въ постель... Въ постели она долго думала о томъ, какъ трудно сдѣлаться „человѣкомъ“, сколько силъ и здоровья потратитъ ея Мишель, прежде чѣмъ сдѣлается коллежскимъ ассесоромъ.

Около 12 часовъ ночи члены ассоціаціи, крѣпко по-

жавши другъ другу руки, стали расходиться по домамъ. Машка, стоя у парадной двери, заспанная и сердитая, съ нетерпѣніемъ ожидала, когда „провалится послѣдній емназистъ“, потомъ крѣпко хлопнула дверью, заперла ее на крючокъ и отправилась на кухню спать.

— Шарамыжники!—ворчала она, укладываясь на печь,—вишь, до кой поры канителились! Нечего дѣлать-то...

VI.

Николай Семеновичъ временно исправлялъ обязанности класснаго наставника и путешествовалъ, въ сопровожденіи Куропаткина, по ученическимъ квартирамъ.

Вечеръ выдался сырой. Мелкая изморось и вѣтеръ непріятно раздражали лицо. Николай Семеновичъ поднялъ высоко плечи и пряталъ голову въ воротникѣ пальто. Онъ былъ въ самомъ пессимистическомъ настроеніи духа: морщился, кряхтѣлъ и не слушалъ, что болтаетъ спутникъ, успѣвшій уже зайти на перепутьи въ ресторанъ и погрѣться около буфетной стойки.

Хлюпъ! хлюпъ! хлюпъ!—шлепали санки по лужамъ, и грязныя брызги летѣли во всѣ стороны, а сѣдоки подпрыгивали и покачивались.

— Тпру-у-у!..

Николай Семеновичъ былъ погруженъ въ неотносящіяся къ дѣлу размышленія... Очнувшись, онъ посмотрѣлъ, куда подъѣхали:

— Къ Свищеву зайдемъ... Онъ хоть и на выпускѣ, а все-таки... кстати, мимо...

Они вылѣзли изъ санокъ, поднялись по лѣстницѣ и позвонили... Имъ отперъ самъ Мишель и страшно растерялся отъ неожиданности.

— Васъ провѣдать... -какъ-то сконфуженно проговорилъ Николай Семеновичъ, снимая калоши.

— Мерси!—сказалъ Мишель.

— Мамаша здорова?—освѣдомился Куропаткинъ.

— Мерси!..—повторилъ Мишель.

Когда наставники раздѣлись, произошло неловкое замѣшательство: Мишель стоялъ у порога съ какою-то странною улыбкою на лицѣ и теребилъ единственный волосъ, торчавшій на его подбородкѣ, а Николай Семеновичъ, видимо не зналъ, о чемъ далѣе говорить и что еще дѣлать... Ему было страшно неловко, и онъ придумывалъ, какъ бы смягчить, сгладить неловкость положенія.

Куропаткинъ всѣхъ вывелъ изъ затрудненія:

— Ведите, Свищевъ, въ свою комнату. Что же здѣсь стоять?..

Пришли въ кабинетъ Мишеля.

Здѣсь было уже темно, и Куропаткинъ собственною спичкою зажегъ стоявшую на столѣ лампу. Николай Семеновичъ закурилъ папиросу и присѣлъ къ столу.

— Ну что? Какъ?—довольно неопредѣленно началъ онъ свою миссію.

— Ничего...—отвѣтилъ Мишель.

— Къ экзаменамъ готовитесь?..

— Да.

— Гм... да... къ экзаменамъ... скоро...

А Куропаткинъ не стѣснялся. Онъ быстрымъ взоромъ окинулъ комнату, потомъ сталъ ходить и заглядывать на окна, этажерку и т. д.

— Это, братецъ, что же такое?—спросилъ онъ, указывая пальцемъ въ уголъ, гдѣ лежалъ окурокъ папиросы.

— Папироса,—отвѣтилъ Мишель, скосивши взглядъ въ сторону.

Куропаткинъ нагнулся, поднялъ окурокъ и положилъ на столъ предъ Николаемъ Семеновичемъ.

— Куришь, голубчикъ?—спросилъ Куропаткинъ.

Мишель пробурчалъ что-то невнятно, а Куропаткинъ выдвинулъ у стола ящикъ и заглянулъ туда.

— Вотъ ужъ этого, г. Свищевъ, не полагается!.. „Гусарскія, десять штукъ—десять копеекъ“...

Куропаткинъ вытащилъ коробку, посмотрѣлъ снаружи и внутри, и тоже поставилъ предъ Николаемъ Семеновичемъ.

— Курить вредно, — произнесъ тотъ и потушилъ свою папиросу.

— Вы ужъ разъ были въ куренiи замѣчены, и директоръ васъ простилъ, только жалѣя вашу матушку,— началъ Куропаткинъ. — Вы освобождены отъ платы, а между тѣмъ не стоите по вашему поведенію...

Мишель упорно молчалъ.

Куропаткинъ продолжалъ шарить.

Онъ откуда-то принесъ цѣлую кипу книгъ и внимательно началъ перечитывать заглавія:

— „Политическая экономія“... „Писаревъ“... Каково-съ!.. Что такое?.. „ре-фе-ратъ“... Гм... Посмотримъ!.. „Роль правительства, дворянства и литерату-у-у-ры“...

Николай Семеновичъ морщился и вертѣлся на стулѣ.

— Что такое?.. „Про-то-о-ко-лъ соб-ра-нія“... Какого собранія? „Пос-та-но-ви-ли“. Ну-ка, что такое постановили?..

Куропаткинъ поправилъ очки и началъ медленно читать „Протоколъ ассоціаціи саморазвитія“.

„Чле-ны... асс... ассоціаціи постановили: такъ какъ всѣ мы прежде всего... прежде всего гра... граждане“... хорошо-съ! „граждане, то... то должны посвятить себя“...

Куропаткинъ не докончилъ. Дрожащими руками онъ спряталъ протоколъ въ боковой карманъ и вопросительно взглянулъ на Николая Семеновича. Николай Семеновичъ въ страшномъ затрудненіи перелистывалъ книги и машинально повторялъ:

— Не слѣдуетъ, не слѣдуетъ...

— Я читаю критическія статьи. Что же тутъ дурного?..

— Надо подождать. Вотъ кончите курсъ... тогда все, что угодно...

— Осталось, Николай Семеновичъ, какихъ-нибудь три мѣсяца... Развѣ не все равно? — угрюмо отвѣтилъ Мишель, взглянувъ исподлобья на Николая Семеновича.

— Больно вы любите разсуждать! — сердито произнесъ Куропаткинъ.

— А развѣ разсуждать не хорошо?—съ оттѣнкомъ юношескаго задора спросилъ Мишель.

— Оставьте, пожалуйста,—какъ-то просяще выговорилъ Николай Семеновичъ, и тонъ фразы былъ такъ неопредѣленъ, что какъ Свищевъ, такъ и Куропаткинъ не могли отнести ее по своему адресу...

— И гдѣ они такія книги достаютъ?.. Начитаются всякой критики, а потомъ — скандалятъ... Хоть бы родителей пожалѣли!.. Ихъ поятъ, кормятъ, а они— изволь!.. Родителямъ — на утѣшеніе, церкви и отечеству—на пользу!.. Запрещенныя вѣдь, Николай Семенычъ, книги-то... Надо взять... Гдѣ вы взяли ихъ?— закончилъ Куропаткинъ, обращаясь къ Мишелю.

— Купилъ...

— Не слѣдуетъ, не слѣдуетъ... — бурчалъ Николай Семеновичъ, поднимаясь со стула.

Куропаткинъ схватилъ со стола коробку съ папиросами и спряталъ въ собственный карманъ, а книги взялъ подъ мышку.

— Оставьте!—ласково шепнулъ ему Николай Семеновичъ. Но Куропаткинъ или не слыхалъ, или дѣлалъ видъ, что не слышитъ.

Наставники вышли въ переднюю, а Мишель остался въ своей комнатѣ. Онъ брякнулся въ кровать и притихъ, прислушиваясь къ шагамъ и голосамъ въ передней. Тамъ Куропаткинъ разговаривалъ съ Машкой:

— Поздно не ходятъ?

— Всяко бываетъ.

— Куритъ?

— А ты думаешь,—нѣтъ? Они нынѣ съ измальства сосутъ... Его чуть только отъ земли видать, а во рту ужъ цигарка торчитъ...

— Можно книги оставить...—неувѣренно произнесъ Николай Семеновичъ.

— Зачѣмъ же? Имъ спустить разъ, они всякій стыдъ потеряютъ...

— На што спускать!..—соглашается Машка.

Потомъ послышалось постукиваніе надѣваемыхъ калошъ, потомъ хлопнула выходная дверь.

— Имъ только дай волю... Одними самоварами въ гробъ уложатъ,—резонерствуетъ Машка и тоже куда-то уходитъ...

— Ушли, что ли?—тихо спросила мать, заглянувъ въ комнату Мишеля.

— Ушли...

— Что такое случилось? Что у тебя нашли?

— Такъ... послѣ, мама... Папиросы нашли...

— Вотъ видишь!.. Ахъ, Господи, наказанье какое... Что же теперь будетъ?

— Послѣ, мама, послѣ...—глухо повторилъ Мишель.

Мать ушла.

Мишель былъ такъ взволнованъ, что говорить ему теперь было трудно. Тысяча мыслей кружилась въ его головѣ... „Неужели и протоколъ ассоціаціи взяли?“

Онъ соскочилъ, какъ ужаленный, съ постели и началъ метаться по комнатѣ, бросать книги, перелистывать ихъ, рыться въ ящикѣ стола.

Нѣтъ!.. Ни протокола, ни реферата...

Мозгъ Мишеля напрягался, отыскивая выходъ изъ сквернаго положенія, а фантазія услужливо рисовала ему всевозможные ужасы... Мишеля бросало и въ жаръ и въ холодъ.

— Не доставало только, чтобы выгнали изъ гимназіи,—ворчала за стѣнкой Анна Васильевна.—Бьешься, бьешься, ждешь, что хоть на старости лѣтъ...

— Мама! Да перестаньте же!.. — умоляюще закричалъ Мишель, затыкая уши.—„Что же дѣлать?.. Если бы не было Куропаткина,—все обошлось бы... А теперь нѣтъ... Куропаткинъ донесетъ... итти къ нему?.. Ни за что!.. Будутъ спрашивать, гдѣ взялъ книги, и кто въ ассоціаціи... Сказать нельзя... Никогда!.. Бѣдная мама“...

— Мама! Вы, пожалуйста, спите, не безпокойтесь! Это—ничего...—говоритъ громко Мишель, стараясь не выдать своихъ тайныхъ мученій...

Мама не отвѣчаетъ... Мишель прислушивается: не то это—вѣтеръ, не то плачетъ мама?..

„Все это пустяки.. Дѣло обойдется... Ничего особеннаго не случилось“,—мысленно говорилъ Николай Семеновичъ послѣ посѣщенія Мишеля, валяясь съ закрытыми глазами на кушеткѣ. „Свищевъ можетъ сказать, что книги взяты изъ моей библіотеки,—вотъ что скверно. А они... они ужъ постараются изъ мухи слона сдѣлать“.

Сдѣлать изъ мухи слона было, дѣйствительно, легко, особенно при тѣхъ отношеніяхъ, которыя установились у Николая Семеновича съ Куропаткинымъ и директоромъ. Надо будетъ принять кое-какія предохранительныя мѣры...

„Можно было бы все это вычеркнуть при другихъ условіяхъ, а теперь ничего не подѣлаешь. Съ Куропаткинымъ даже и говорить по-человѣчески въ данномъ случаѣ рискованно, можно только повредить дѣлу. — Какъ же быть?.. Подѣйствовать на Свищева черезъ брата?.. Пусть внушитъ, что не слѣдуетъ говорить, гдѣ брались книги. Ахъ, и зачѣмъ только я

позволилъ этимъ мальчишкамъ распоряжаться своими книгами?.. Не развяжешься"...

Дверь растворилась, и Петръ вошелъ.

Къ нему сейчасъ только забѣгалъ съ чернаго крыльца Свищевъ и просилъ, нельзя ли какъ-нибудь при помощи Николая Семеновича вернуть хотя бы только рефератъ и протоколъ ассоціаціи...

— Допрыгались, голубчики! — встрѣтилъ брата Николай Семеновичъ, и въ его голосѣ прозвучала явная досада, даже злость...

— Что такое? Какъ это — допрыгались?..

— Чортъ знаетъ, въ какое положеніе вы, господа, ставите меня со своими мальчишескими затѣями!..

Николай Семеновичъ порывисто, непослѣдовательно и со злостью передалъ Петру о происшедшемъ.

— По крайней мѣрѣ ты посовѣтуй своему Свищеву не ябедничать на меня... А то съ дуру ляпнетъ, что Николай Семеновичъ далъ... Съ вами свяжешься...

— Будь спокоенъ!.. Свищевъ никогда этого не сдѣлаетъ... Да и книги ему далъ я, а вовсе не ты... Тебѣ ничего не будетъ, а вотъ положеніе Свищева...

— Я ничего не могу сдѣлать,—поторопился Николай Семеновичъ предупредить просьбу о заступничествѣ.

— А какъ ты думаешь, все-таки: стоитъ за такія провинности выгнать насъ со Свищевымъ изъ гимназіи?—спросилъ Петръ, смотря въ лицо брата.

— Что это за вопросъ? Къ чему?—закричалъ Николай Семеновичъ.

Петръ произнесъ „виноватъ!" и ушелъ, нервно ероша на головѣ волосы.

Послѣдній вопросъ брата показался Николаю Семеновичу оскорбительнымъ... Почему?.. Да неужели же можно сомнѣваться, какой отвѣтъ можетъ послѣдовать съ его стороны въ данномъ случаѣ?..

Немного успокоившись и разбираясь въ оскорбленіи,

Николай Семеновичъ уличилъ себя во лжи и неискренности. Почему, въ самомъ дѣлѣ, и не спросить, какъ онъ думаетъ?.. Вѣдь до сихъ поръ всѣ его размышленія по поводу происшедшаго сводились къ собственному „я“ и возникали на почвѣ трусости за свое благосостояніе и желанія какъ-нибудь вывернуться... Передъ мысленнымъ взоромъ Николая Семеновича стоялъ Мишель, съ укоризной смотрѣлъ ему въ лицо и жалобно улыбался... Цѣлая сцена, съ мельчайшими подробностями, воспроизвелась въ его памяти... Мишель стоитъ и съ укоризною смотритъ на него, а онъ, чувствуя, какъ краснѣетъ и теряется, повторяетъ пустыя, ничтожныя и глупыя слова: „не слѣдуетъ, нельзя“, тщательно уклоняясь отъ всякихъ объясненій, почему—нельзя и не слѣдуетъ...

— Ухъ, какая каша, какая каша! — шепчетъ Николай Семеновичъ, быстро расхаживая по комнатѣ,— какъ все это гадко!..

VII.

Сегодня назначено экстренное засѣданіе педагогическаго совѣта Н—ской гимназіи.

Высокій рекреаціонный залъ освѣщенъ пока довольно скупо. Заслуженный сторожъ Панфилычъ—человѣкъ экономный и полагаетъ, что казенное добро слѣдуетъ беречь. Въ виду этого онъ затеплилъ лампадку передъ образомъ, а на длинномъ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, столѣ, съ зерцаломъ, изъ двѣнадцати стоявшихъ здѣсь стеариновыхъ свѣчъ зажегъ только двѣ и чутко прислушивался ко всякому шороху, чтобы опредѣлить моментъ выхода изъ своей квартиры „дилектора“ и тогда уже зажечь остальныя десять свѣчей; инспекторъ—не велика птица: всего надворный, а учителя,—тѣмъ и двухъ довольно...

Зажженныя свѣчи слабо освѣщаютъ столъ съ листами

бѣлой бумаги противъ задвинутыхъ стульевъ и часть высокихъ стѣнъ... Дальній уголъ, гдѣ высится огромная дубовая каѳедра для торжественныхъ рѣчей, тонетъ въ совершенномъ мракѣ... Красноватый огонь лампадки играетъ на вызолоченной ризѣ образа и освѣщаетъ лишь часть потолка.

Первымъ явился Козочкинъ.

„Козелъ первый прискакалъ“,—подумалъ Панфилычъ, не особенно высоко ставившій заслуги г. Козочкина.

— Никого еще нѣтъ?—спросилъ Козочкинъ, тряхнувъ своей маленькой головкой.

Другому Панфилычъ отвѣтилъ бы: „точно такъ, ваше благородіе“, а Козочкину счелъ возможнымъ сказать:

— Я—одинъ!..

Козочкинъ—классикъ. Онъ весь засохъ на грамматикѣ и синтаксисѣ. Онъ поклонникъ дословнаго перевода. Когда ученики переводятъ понятнымъ литературнымъ языкомъ, Козочкинъ морщится, его коробитъ: „Сто коровъ и столько же лошадей, которыхъ слѣдовало принести въ жертву“—переводитъ ученикъ.

— Гдѣ—коровъ?.. Быковъ! коней!.. дол-жен-ство-вавшихъ быть принесенными въ жертву! — горячится Козочкинъ, поправляя „ближе къ тексту“... Благодаря пристрастію Козочкина къ сближенію съ текстомъ, ученики часто рѣшительно ничего не понимали, ибо эта близость въ большинствѣ случаевъ отдавала галиматьей...

Откуда-то изъ темнаго угла вынырнулъ Куропаткинъ. Онъ ежился, обыкновенно, въ ожиданіи высшаго начальства, обдергивалъ фалды фрака и, сбѣгая на площадку, къ зеркалу, поправлялъ прическу. Теперь—ничего подобнаго: Куропаткинъ смотрѣлъ строго, съ достоинствомъ поздоровался съ Козочкинымъ и, заложивъ руки за спину, сталъ прохаживаться взадъ и впередъ.

Куропаткинъ чувствовалъ себя сегодня до нѣкоторой степени героемъ, такъ какъ экстренное засѣданіе было назначено по поводу его донесенія, имѣющаго чрезвычайный характеръ.

— Что такое вы открыли?..—заискивающе спросилъ его Козочкинъ.

— Есть кое-что!.. Узнаете, узнаете...—отвѣтилъ Куропаткинъ.

Панфилычъ быстро зажегъ всѣ свѣчи. Это означало, что его чуткое ухо поймало знакомый скрипъ двери въ директорской квартирѣ.

Вотъ легкій, какъ резиновый мячикъ, сейчасъ, а вообще—человѣкъ весьма сырой и малоподвижный,—промчался въ залъ, шагая чрезъ двѣ ступени по лѣстницѣ, инспекторъ, а затѣмъ, переваливаясь, отдуваясь и сопя, тихо прослѣдовалъ наконецъ и самъ директоръ съ книгами въ рукахъ.

Бывшіе въ залѣ преподаватели встали въ порядкѣ и встрѣтили его дружнымъ склоненіемъ головъ.

Николай Семеновичъ стоялъ позади другихъ, съ страшно озабоченной, разстроенной физіономіей... Онъ безпокойно озирался по сторонамъ, бросалъ въ сторону Куропаткина презрительные взоры и кусалъ свою бородку... Всѣ смотрѣли на директора прямо, съ выраженіемъ безпредѣльной преданности: Николай Семеновичъ вовсе не смотрѣлъ на директора... Снисходительно протянулъ директоръ кое-кому свою пухлую руку, другимъ, въ томъ числѣ и Николаю Семеновичу—только слабо кивнулъ головою. Затѣмъ онъ громко высморкался и пошелъ къ предназначенному для него высокому креслу, что стояло между стульями, какъ разъ на половинѣ стола.

Какъ только директоръ сѣлъ, раздался стукъ отодвигаемыхъ стульевъ, робкое покашливаніе, сдержанный шопотъ.

Секретарь совѣта Козочкинъ тыкался бородкой то

въ одну, то въ другую бумагу, шептался о чемъ-то съ сосѣдомъ и наскоро чинилъ карандашъ.

— Объявляю засѣданіе открытымъ!—произнесъ директоръ, обводя сердитымъ взоромъ присутствующихъ. Козочкинъ позвонилъ въ колокольчикъ...

Все стихло, замерло. Прошло минутъ пять въ общемъ сосредоточенномъ молчаніи, нарушаемомъ лишь шелестомъ бумаги...

Директоръ отхлебнулъ изъ стоявшаго вблизи стакана воды одинъ глотокъ, отеръ носовымъ платкомъ усы и началъ медленно выбрасывать слова, одно за другимъ съ паузами, какъ говорятъ люди, привыкшіе, чтобы ихъ слушали и не перебивали...

— Намъ, господа... да... приходится разсмотрѣть весьма грустное, но серьезное дѣло... Среди нашего юношества завелись агитаторы и наша обязанность—гарантировать отъ зараженія здоровыхъ. Нѣсколько учениковъ организовали между собою сообщество... Да... Вотъ извольте посмотрѣть данныя... Вотъ-съ книги, программа, протоколъ-съ... Во главѣ этого сообщества...

Директоръ остановился, оглянулся и легкимъ движеніемъ указательнаго пальца приказалъ Панфилычу удалиться. Унтеръ моментально пошелъ на цыпочкахъ къ выходу и плотно притворилъ за собою дверь, такъ что и мы съ вами, читатель, изъ скромности и приличія, оборвемъ здѣсь описаніе экстреннаго засѣданія, происходившаго при закрытыхъ дверяхъ.

По выходѣ изъ гимназіи съ экстреннаго засѣданія Николай Семеновичъ долго бродилъ по улицамъ... Онъ ходилъ, какъ оглушенный и натыкался на встрѣчныхъ.

Николай Семеновичъ размышлялъ о засѣданіи, о своихъ фразахъ, сказанныхъ тамъ, о бѣдномъ Мишелѣ...

Что онъ могъ сдѣлать?.. Ничего... То, что можно было отрицать,—Николай Семеновичъ отрицалъ. Отрицалъ всякое „сообщество“ и старался представить все дѣло въ смѣшномъ видѣ, какъ оно и было въ дѣйстви-

тельности... Но, чего нельзя было скрыть,—пришлось подтвердить.

— Этакая исторія,—бормоталъ Николай Семеновичъ поминутно.—Но развѣ я-то, я виноватъ?.. При чемъ тутъ я?.. Что я могъ сдѣлать?..

VIII.

Въ квартирѣ Рузавиныхъ водворилась тоскливая, угрюмая тишина. Словно невидимый призракъ неминуемой бѣды виталъ уже надъ головами обитателей этой квартиры, и всѣ это чувствовали, понимали и ждали ежечасно, ежеминутно.

Николай Семеновичъ рѣдко выходилъ изъ своего кабинета и что онъ тамъ дѣлалъ, Богъ его знаетъ... Старушка-мать бродила, какъ тѣнь, съ подвязанною щекою по комнатамъ и что-то причитала и охала... Петръ смотрѣлъ растерянно и все куда-то бѣгалъ, исчезая по нѣскольку разъ на дню изъ дома. Какое-то напряженное состояніе, казалось, переживалось всѣми и, вслѣдствіе взаимнаго уклоненія отъ откровенныхъ бесѣдъ и упорнаго общаго молчанія, становилось невыносимо-тягостнымъ, гнетущимъ, болѣзненнымъ.

Обѣдъ проходилъ безпорядочно. Николай Семеновичъ присаживался на минуту, ѣлъ быстро, либо совсѣмъ отказывался, словно ему всегда было некогда. Петръ уносилъ тарелку куда-то съ собою и избѣгалъ брата.

Даже на прислугѣ отразилось это гнетущее настроеніе.

Прасковья, краснощекая здоровая деревенская баба, прежде веселая, постоянно напѣвавшая пѣсенки, теперь ударилась, глядя на господъ, въ меланхолію.

Она садилась въ кухнѣ къ окошечку, подпиралась локоткомъ, поджимала губы и вздыхала какъ-то изъ самаго нутра: „и—эхъ!“

Наконецъ это тимительное настроеніе разрѣшилось.

Разрѣшилось быстро, сразу. Разрѣшеніе налетѣло шкваломъ и ударило, какъ громовой ударъ надъ самой головою.

Однажды подъ вечеръ, когда Николай Семеновичъ лежалъ, по обыкновенію, съ закрытыми глазами на постели и о чемъ-то думалъ,—въ дверь заглянула мать:

— Колечка!.. Пришла какая-то старая барыня, желаетъ тебя видѣть.

Николай Семеновичъ вздрогнулъ, сорвался съ постели и совершенно растерялся.

— Позовите... Нѣтъ! постойте! да, да,—забормоталъ онъ, тыкаясь во всѣ стороны.

— Ну, такъ какъ же сказать?..

— Ну, что же стоите? Зовите же?—рѣзко закричалъ Николай Семеновичъ, когда увидѣлъ, что мать продолжаетъ стоять у порога и ждетъ чего-то.

Стыдно, невыносимо стыдно стало вдругъ Николаю Семеновичу, и какой-то страхъ, робость пойманнаго на мѣстѣ преступленія школьника охватила и поглотила его.

— Нѣтъ!.. постойте!.. Пригласите въ залъ!.. Конечно, въ залъ. Сейчасъ выйду.

Мать ушла, а Николай Семеновичъ совершенно безъ всякой надобности сталъ охорашиваться, оправлять костюмъ и переставлять вещи на письменномъ столѣ съ одного мѣста на другое, инстинктивно отклоняя минуту свиданія съ посѣтительницей. Когда уже все было готово и оставалось только выйти,—Николай Семеновичъ громко кашлянулъ, сдѣлалъ строгое, холодное лицо и рѣшительно вышелъ изъ кабинета, застегивая нижнюю пуговицу пиджака.

Предчувствіе не обмануло его: пришла именно та старая барыня, которой онъ такъ боялся.

Анна Васильевна Свищева, облеченная въ свое торжественное платье и шляпку, встала, выпрямилась и холоднымъ металлическимъ голосомъ произнесла:

— Имѣю честь представиться: вдова коллежскаго ассесора, Анна Васильевна Свищева!

— Да, да... знаю!.. Садитесь, пожалуйста... Вотъ сюда! въ кресло.

— Ничего, не безпокойтесь... Скажите, милостивый государь, моего сына исключили изъ гимназіи? Господинъ директоръ сказалъ мнѣ, что вы, милостивый государь, нашли у моего сына какія-то непозволительныя книги и что...

— Собственно не я... но вышло такъ, что... я...

— Запрещенныя книги?—сурово переспросила Анна Васильевна.

— Собственно не запрещенныя, но... не... недозволенныя для ученика,—дрожащимъ голосомъ отвѣтилъ Николай Семеновичъ.

— Я не знаю, милостивый государь, какія тамъ книги дозволяются и какія не дозволяются... Я только знаю, милостивый государь, что эти книги читалъ не одинъ мой сынъ... Вашъ братъ вмѣстѣ читалъ ихъ съ моимъ сыномъ, и однако вы не нашли ихъ у своего брата, а нашли у моего сына?

— Сударыня! Смѣю васъ увѣрить, что я тутъ не при чемъ... Я, собственно, не вижу здѣсь никакого прест..., т. е. особенной вины я не вижу...

— Въ такомъ случаѣ за что же выгоняютъ моего сына?

Анна Васильевна шагнула впередъ и остановила на блѣдномъ лицѣ Николая Семеновича свой гнѣвный испытующій взглядъ.

— Я, право, сдѣлать рѣшительно ничего не могу... Вамъ надо—къ директору!

Анна Васильевна неестественно засмѣялась и повышая съ каждымъ словомъ голосъ, произнесла:

— Господинъ директоръ указываетъ на васъ, а вы посылаете къ директору? А извѣстно ли вамъ, милостивый государь, что Михаилъ — мой единственный

сынъ, вся моя надежда, вся моя жизнь!.. что вы отнимаете у меня все, рѣшительно все!.. Мой мужъ служилъ престолу честно и безпорочно, какъ же вы, милостивый государь, осмѣливаетесь класть пятно на его память?.. Какъ вы смѣ-е-те?..

Послѣднія слова Анна Васильевна произнесла задыхающимся шопотомъ.

— Я ни въ чемъ не обвиняю... я...

— Пол-но-те, ми-лос-ти-вый государь! я не маленькая... У васъ—братья... быть можетъ, будутъ и свои дѣти... Вамъ, милостивый государь, надо имѣть не только честь, но и... сердце!... Вы—наставники, а не прокуроры. Вы...

— Позвольте-съ!—жалко произнесъ Николай Семеновичъ.

— Стыдно-съ!—выкрикнула Анна Васильевна,—нечестно!

И круто повернувшись и съ негодованіемъ прошептавъ:—„подлые, грязные люди!“—Анна Васильевна пошла въ переднюю.

— Прошу васъ, милостивая государыня...—началъ было Николай Семеновичъ, но Анна Васильевна не обращала никакого вниманія...

— Я этого не оставлю,—со слезами закричала она, отворяя выходную дверь.—Я найду правду!.. Я подамъ жалобу Государю Императору...

И сильно хлопнула дверью.

Николай Семеновичъ стоялъ посреди зала въ какомъ-то столбнякѣ и потиралъ ладонью руки свой влажный лобъ.

„Что же это?.. Развѣ я виноватъ въ самомъ дѣлѣ?.. За что же?..—шепталъ онъ, растерянно разводя руками—надо же, господа, разобрать... Надо щадить... Такъ, господа, нельзя“.

И вдругъ Николай Семеновичъ почувствовалъ страшную слабость въ ногахъ и покачнулся. Его руки

дрожали, на лицѣ нервно вздрагивалъ мускулъ, кривя ротъ въ странную улыбку.

Онъ прилегъ на диванъ, упалъ головой на руки и замеръ, подавляя спазмы въ горлѣ. Можетъ быть, ему это и удалось бы, если бы не вошла и не обратилась со словомъ участія мать:

— Ты бы легъ, Колюша, на постель! — уснулъ бы, отдохнулъ... Всѣ жилы въ тебѣ, голубчикъ, измотали!..— сказала старушка, останавливаясь предъ сыномъ.

Въ этихъ словахъ было столько любви, участія и ласки, что Николай Семеновичъ не выдержалъ:

— За что же это, мама? Да за что же это?..—выкрикнулъ онъ съ отчаяніемъ и разрыдался въ истерическомъ припадкѣ.

IX.

Николай Семеновичъ, растрепанный, съ опухшими глазами и позеленѣвшимъ лицомъ, бродилъ по комнатѣ въ старенькомъ выцвѣтшемъ лѣтнемъ пальтишкѣ.

Вотъ уже нѣсколько дней, какъ онъ, больной, разбитый, жалкій, не выходилъ изъ дому.

Послѣ описаннаго объясненія съ вдовой коллежскаго ассесора, онъ какъ-то опустился, осунулся, сталъ искать полнаго уединенія, не говорилъ съ матерью, а брата какъ будто прямо боялся, словно предчувствовалъ, что еще не все кончилось, и что впереди предстоитъ еще одно ужасное нравственное испытаніе: объясненіе съ роднымъ братомъ... И опять предчувствіе не обмануло Николая Семеновича.

За послѣднее время Петръ бывалъ рѣдко дома. Онъ бѣгалъ въ какихъ-то хлопотахъ по городу, озабоченный, серьезный, возвращался очень не надолго и снова исчезалъ.

Но вотъ однажды онъ пришелъ и надолго засѣлъ въ своей комнатѣ. Сперва онъ все ходилъ тамъ, громко

выстукивая каблуками, громко кашлялъ и вообще выказывалъ какую-то рѣшимость.

Послѣ двухчасового хожденія изъ угла въ уголъ, Петръ вышелъ наконецъ съ просвѣтленнымъ лицомъ изъ своей комнаты и пошелъ къ брату.

— Я заявлю, что книги далъ Мишелю-я, и что я устроилъ эту... ассоціацію,—залпомъ, безъ передышки, сказалъ онъ, войдя къ Николаю Семеновичу.

— Что?—испуганно спросилъ Николай Семеновичъ.

Петръ повторилъ все до слова, твердо, громко.

— Что же ты выиграешь?

— Я обязанъ это сдѣлать, а выиграю, или проиграю — это мнѣ все равно, — съ твердостью убѣжденнаго человѣка произнесъ Петръ.

— Такъ ты за одно ужъ заяви, что книги давалъ тебѣ я. Это будетъ еще справедливѣе... честнѣе...

— Къ чему ты такъ говоришь? Ты согласенъ, что я виноватъ болѣе, чѣмъ Мишель, и что Мишель пострадалъ за меня?.. Я не понимаю твоей роли на совѣтѣ... Ты подписалъ протоколъ?..

— Какъ же я могъ не подписать? — съ дѣланнымъ хохотомъ отвѣтилъ Николай Семеновичъ.

— Смѣшно даже?—вызывающимъ тономъ спросилъ Петръ.

Николай Семеновичъ продолжалъ хохотать, хотя ему было невыносимо тяжело.

— Подло!—крикнулъ Петръ и, повернувшись, покинулъ брата.

Николай Семеновичъ вдругъ цинично расхохотался на всѣ комнаты и въ какомъ-то изступленіи закричалъ:

— А чортъ васъ всѣхъ возьми! Мерзавцы! Свиньи!.. Что вы грызете за горло!

Прокричалъ и замолкъ, поникши головой на руку.

Потомъ онъ поднялся съ мѣста, раза два прошелся медленнымъ шагомъ по комнатѣ и подошелъ къ окну...

— Свиньи и мерзавцы,—шепталъ онъ, барабаня пальцами по стеклу,—что было золото, — сотрется, свиная кожа остается... И толстая кожа: ничѣмъ не прошибешь... Кожа и щетина... Грязь и всякая пакость...

Николай Семеновичъ нѣсколько разъ качнулъ головой, потомъ махнулъ рукой и, торопливо одѣвшись, ушелъ изъ дому и долго не возвращался...

Онъ пошелъ за городъ. Ему не хотѣлось встрѣчаться съ людьми, хотѣлось быть одному, совсѣмъ одному...

Вечерѣло... Солнце давно уже сѣло, и весенній вечеръ повѣялъ свѣжестью и сыростью... Сумерки сгущались... Въ темнѣющихъ небесахъ, голубыхъ, безоблачныхъ, тамъ и сямъ сверкнули дрожащими огоньками звѣзды...

А Николай Семеновичъ все шелъ и шелъ...

Городъ остался далеко позади... Николай Семеновичъ шелъ по обширной полянѣ... Впереди тянулась, убѣгая впередъ, линія телеграфныхъ столбовъ. Въ отдаленіи слышался шумъ и трескотня извозчичьихъ пролетокъ, обновлявшихъ обмытую весенними водами мостовую...

Николай Семеновичъ вышелъ на распутье... Передъ нимъ сѣрѣли въ сумеркахъ двѣ дороги, лентами бѣжавшія въ разныя стороны и терявшіяся далеко-далеко...

Николай Семеновичъ остановился, посмотрѣлъ сперва на одну, потомъ на другую дорогу и ухмыльнулся: онъ вспомнилъ своего Петруху и разсужденія съ нимъ о путяхъ добродѣтели. „Онъ пошелъ одной, я другой дорогой... Но какъ будто бы къ одной цѣли? Полно!..“

— Эхъ, отчего я не пошелъ по третьей — въ раздумьи проговорилъ Николай Семеновичъ—она ближе, короче и, конечно, въ цѣляхъ не разойдется ни съ одной изъ всевозможныхъ дорогъ...

Возвратившись домой, Николай Семеновичъ, кра-

дучись, какъ воръ, пробрался въ свой кабинетъ и дрожащими руками зажегъ спичку. Отыскавъ свѣчу, онъ зажегъ ее и поставилъ на письменный столъ.

Здѣсь стоялъ холодный ужинъ, приготовленный для Колюши заботливой и любящей матерью. Ужинъ Николай Семеновичъ отодвинулъ въ сторону и, облокотившись на руку, задумался...

— Ну, что же теперь будешь дѣлать, честный и полезный труженикъ общества? — съ горькой ироніей прошепталъ онъ...

И вдругъ отчаяніе нахлынуло въ его душу, отчаяніе безграничное, безвыходное, съ предчувствіемъ какого-то страшнаго неизбѣжнаго конца, съ муками больной совѣсти и съ напраснымъ сожалѣніемъ о чемъ-то навсегда потерянномъ, недоступномъ...

Тихо поднялся Николай Семеновичъ со стула и, какъ больной, поплелся къ постели. Онъ легъ на кровать, поджалъ ноги, спряталъ голову въ подушкѣ и горько плакалъ, какъ маленькій ребенокъ. Свои слезы онъ душилъ подушкой: ему не хотѣлось, чтобы бѣдная мать услышала и стала страдать за сына...

Долго и горько плакалъ Николай Семеновичъ, лежа въ постели, такой маленькій, ничтожный и жалкій, съ поджатыми ногами и съ нервно вздрагивающими плечами...

Уже начиналось утро... Блѣдный свѣтъ его глянулъ несмѣло въ окно. Гдѣ-то чирикнулъ воробушекъ... По мостовой съ грохотомъ прокатилась пустая телѣга...

Николай Семеновичъ приподнялъ голову и осмотрѣлся въ какомъ-то недоумѣніи... Взъерошенные волосы, красные воспаленные глаза и смертельная блѣдность лица придавали ему видъ сумасшедшаго человѣка.

— Надо – въ отставку... Будетъ! усталъ! невозможно усталъ,—произнесъ онъ, хватаясь обѣими руками за голову:

— Выйду... уѣду въ деревню... Буду жить одинъ... да... Завтра же уѣду...

Николай Семеновичъ совершенно забылъ, что выходъ въ отставку сопряженъ съ длинною процедурою.

— Да... Сейчасъ же! Надо написать прошеніе и завтра подать...

Торопясь и суетясь, Николай Семеновичъ досталъ тетрадь чистой хорошей бумаги для прошенія объ отставкѣ. Вставилъ новое перо въ ручку и сѣлъ писать...

„Всепресвѣтлѣйшій, Державнѣйшій Великій Государь Императоръ“, — началъ онъ выводить крупнымъ почеркомъ... Но его руки тряслись, какъ у преступника, совершившаго первое злодѣяніе, а перо прыгало по бумагѣ, искривляя слова и буквы...

Онъ бросалъ листъ, хваталъ новый, опять начиналъ выводить „Всепресвѣтлѣйшій, Державнѣйшій“... и снова бросалъ...

— Подумаютъ—пьяный...

Еще разъ взялъ онъ новый листъ бумаги, и еще разъ началъ... Но и на сей разъ испортилъ: вмѣсто „ѣ“ написалъ „е“:

— Превосходная степень „ѣйшій“ пишется черезъ „ять“,—мелькнуло въ его сознаніи, и онъ, скомкавъ бумагу, бросилъ на полъ.

Энергія вдругъ исчезла, и руки опустились у Николая Семеновича. Перо выпало и скатилось на полъ. Такъ тяжело-тяжело казалось Николаю Семеновичу нагнуться и поднять перо...

X.

Около дома № 17 по Предтеченской улицѣ собрался народъ... Толпа ежеминутно увеличивалась, такъ какъ всѣ прохожіе, а порой и проѣзжіе, считали своимъ долгомъ здѣсь остановиться и въ подробностяхъ разузнать, что такое случилось...

Изъ калитокъ сосѣднихъ и противоположныхъ домовъ торопливо бѣжали дворники безъ шапокъ, кучера

въ поддевкахъ, кухарки—въ однѣхъ платьяхъ, съ засученными рукавами, горничныя...

Въ толпѣ терлись и пять-шесть культурныхъ обывателей; какой-то отставной военный, господинъ въ клѣтчатомъ коричневомъ пальто съ хлыстикомъ позади, пожилая дама въ старомодномъ салопѣ, поджарый юркій субъектъ въ пенснэ и два гимназиста...

На крыльцѣ дома № 17 стоялъ городовой.

Сознавая важность даннаго момента, онъ дѣловито топтался на мѣстѣ, покручивалъ щетинистый усъ и сердито покрикивалъ:

— Куда лѣзете? Экій народъ, прости Господи...

— Осадите, господа! Нечего!..

Когда кто-нибудь изъ сѣренькихъ обращался къ нему съ вопросомъ, что тутъ случилось?—городовой иронически отвѣчалъ:

— Корова бычка родила... Проходите!..

Но подобныя остроты онъ позволялъ себѣ только съ сѣренькими, когда же къ нему обращались съ такимъ вопросомъ господа почище, бударь вѣжливо отвѣчалъ:

— Самоубивство произведено...

Но и только... На всѣ дальнѣйшіе разспросы онъ категорически отвѣчалъ:

— Не могу знать...

Однако всѣ знали уже, что самоубійство „произведено“ квартирантомъ нижняго этажа, учителемъ гимназіи... Вѣсть объ этомъ несчастьи съ быстротою телеграфныхъ сообщеній облетѣла весь дворъ съ его многочисленными флигелями и пристройками. Обитатели ихъ, вѣроятно, на томъ основаніи, что жили съ покойнымъ на одномъ дворѣ, не преминули воспользоваться чернымъ ходомъ, забраться въ коридоръ и сѣни,—и теперь съ любопытствомъ заглядывали въ окна несчастной квартиры, таинственно перешептываясь между собою. Кто побывалъ съ задняго хода,—

тотъ спѣшилъ выйти на улицу и съ видимымъ удовольствіемъ сообщалъ послѣднія извѣстія. Всѣмъ было интересно узнать подробнѣе: какъ застрѣлился? куда себѣ запалилъ? Велика ли дыра? Сразу или мучился? и т. д...

Пріѣхалъ полицейскій приставъ и судебный слѣдователь.

Толпа раздвинулась, и чиновники съ важностью и строгими взглядами прошли въ квартиру...

Будочникъ, вытянувшись въ струнку при входѣ чиновниковъ, теперь сдѣлался окончательно недоступенъ.

— Ничего неизвѣстно,—твердилъ онъ на всѣ разспросы публики.

Послѣ всѣхъ прибыла и медицинская помощь въ лицѣ старенькаго сѣденькаго старичка въ очкахъ.

Докторъ съ трудомъ вылѣзъ изъ пролетки и долго расплачивался съ извозчикомъ. Оба—и докторъ, и извозчикъ—остались недовольны другъ другомъ...

— Мерзавцы... Въ полицію васъ слѣдуетъ,—прошамкалъ докторъ, втаскивая свои ноги на крыльцо...

— Скареды. За питялтынный наровятъ десять верстъ отмахать,—ворчалъ извозчикъ.

Но городовой махнулъ рукой,—и тотъ стегнулъ свою клячу.

Докторъ, покашливая разбитымъ старческимъ кашлемъ, скрылся за дверями.

А публика все стояла и мучилась любопытствомъ и ожиданіемъ... Особенную нетерпѣливость проявлялъ поджарый субъектъ въ пенснэ... Онъ юрко совалъ свой носъ во всѣ стороны, съ легкостью балерины мѣнялъ позицію, прислушивался, вытягивалъ худую длинную шею, со всѣми заговаривалъ... Нѣсколько разъ онъ пытался заговорить съ бударемъ, изображая вліятельное лицо, но тотъ недовѣрчиво оглядывалъ поджараго субъекта и твердилъ:

— Ничего неизвѣстно...

Прошло съ часъ времени. Публика терпѣливо ждала...

Вотъ отворилась дверь, и сперва показался докторъ, а за нимъ—приставъ.

Публика вздрогнула, заволновалась, зашепталась... Городовой махнулъ рукой. Подкатили сразу три извозчика, одинъ изъ которыхъ увезъ старичка, а два остальныхъ, ругаясь, поплелись нехотя обратно.

Поджарый субъектъ подскочилъ къ приставу и сталъ признательно пожимать его руку. Приставъ отвѣтилъ пожатіемъ и разсказалъ.

Стоявшіе по близости подслушали, а потомъ скоро публика узнала все... Узнала, что учитель пустилъ пулю себѣ въ глазъ, что теперь у него вмѣсто глаза большая, наполненная кровью дыра, что никакихъ мученій и стоновъ не было: сразу успокоился...

— Изъ-за чего? Изъ-за чего?—слышался въ толпѣ шопотъ.

Но никто не зналъ, изъ-за чего...

Между тѣмъ въ квартирѣ происходила раздирающая душу сцена. Въ кабинетѣ, посреди пола, лежалъ Николай Семеновичъ съ навзничь раскинутыми руками. На мертвомъ лицѣ его рѣзкимъ зіяющимъ пятномъ выдѣлялась наполненная кровью орбита... Струйки крови бѣжали отъ нея по щекѣ, скатились на бѣлую манишку разстегнутой рубашки и образовали темную лужу на полу, около головы...

Уцѣлѣвшій глазъ былъ полуоткрытъ и смотрѣлъ какъ-то странно, насмѣшливо, словно говорилъ: „что, не ожидали?“

— Колюша-а-а! Ненаглядны-ы-ый! — раздавался отчаянный вопль ползавшей около трупа старухи-матери...

Бѣдная то закидывала назадъ свою растрепанную голову, то, внезапно стихнувъ, припадала къ бездыханному сыну, брала его за холодную руку и покрывала ее безчисленными поцѣлуями...

Потомъ снова неслись стоны и вопли, и опять раздавались мольбы и проклятія...

Петръ, упавъ лицомъ въ подушку на постели покойнаго брата, беззвучно рыдалъ, сжимая голову руками...

Кухарка Прасковья, съ полными слезъ и ужаса глазами, стояла тутъ же со стакапомъ воды въ рукахъ, для барыни...

А въ залѣ стояли, сидѣли и ходили чужіе люди...

Нѣсколько понятыхъ сгруппировалось у стѣны, близъ выходной двери. Впереди ихъ стоялъ городовой, сосредоточенно смотрѣвшій на полъ. Слѣдователь сидѣлъ за ломбернымъ столомъ и что-то быстро писалъ. Приставъ вертѣлъ въ рукахъ блестящій никеллированный револьверъ и поматывалъ головою...

Здѣсь же нырялъ и поджарый субъектъ, сумѣвшій добраться до самыхъ достовѣрныхъ источниковъ.

— Загадочно... Надо посмотрѣть еще въ карманахъ... Въ бумагахъ ничего нѣтъ...—замѣтилъ слѣдователь, не отрываясь отъ бумаги.

Приставъ осторожно и почтительно положилъ на столъ изящную вещицу, поманилъ пальцемъ будочника... Будочникъ поманилъ двухъ понятыхъ, и всѣ направились въ кабинетъ, къ трупу.

Поджарый субъектъ, съ книжечкой и карандашикомъ въ рукахъ, пошелъ за ними...

— Извините, сударыня... Въ кармашкахъ надо посмотрѣть!..—робко проговорилъ бударь, наклоняясь къ рыдающей матери.

Старуха дико и недоумѣвающе взглянула на чужихъ людей, и опять упала головой на трупъ...

Приставъ сдѣлалъ знакъ рукою,—и будочникъ, отталкивая старуху, полѣзъ въ кармашки...

На мгновеніе воцарилась тишина... Слышно было только, какъ тяжело дышала несчастная женщина, какъ пыхтѣлъ вспотѣвшій чинъ, роясь въ кармашкахъ,

да какъ бронзовые часы на письменномъ столѣ тикали маятникомъ.

— Бра-тъ! бра-а-тъ! О-о-о... хо-хо-хо!.. — вырвался вдругъ истерическій крикъ Петра...

Мать вздрогнула, подняла голову, дико окинула взглядомъ окружающихъ и вдругъ завизжала и стала отталкивать будочника отъ трупа...

— Уйдите! Прочь, проклятые!..—хрипло кричала она...

Въ дверь заглянула встревоженная физіономія ушедшаго было пристава.

— Уберите ее! Уведите прочь!—сказала эта физіономія и опять спряталась.

И опять ужасная, раздирающая душу сцена.

Старуху „убрали“. Будочникъ пересталъ церемониться съ мертвымъ тѣломъ, продолжая обыскъ кармашковъ...

Обыскъ оказался не безрезультатнымъ: нашли письмо.

Будочникъ, испачкавшій руку въ крови, поплевалъ себѣ въ ладонь и отеръ руку о пиджакъ Николая Семеновича. Потомъ бережно понесъ письмо въ залъ.

— Найдено!.. — громкимъ оффиціальнымъ тономъ произнесъ слѣдователь.

Вскрыли письмо. На полъ упала сторублевая бумажка.

Нѣсколько человѣкъ любезно бросились поднимать ее.

— Сотельная,—прошепталъ одинъ изъ понятыхъ со вздохомъ.

— Сторублевый билетъ и письмо,—громко выкрикнулъ слѣдователь, потрясая деньгами передъ понятыми.—Письмо слѣдующаго содержанія:

„Никого не вините въ моей смерти... Простите меня. Въ конвертѣ найдете все, что я могъ оставить вамъ.

Николай“.

Въ толпѣ послышался сдержанный шопотъ... „Катеньку нашли!..“

Дверь громко хлопнула,—зазвенѣлъ колокольчикъ...

— Судебный приставъ!..—прошепталъ кто-то...

Въ залъ вошелъ еще чужой человѣкъ и, любезно раскланявшись съ приставомъ и слѣдователемъ, сталъ тихо, но оживленно болтать о чемъ-то съ репортеромъ мѣстной газеты, сильно жестикулируя и сладко улыбаясь...

Конецъ.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

1. Эсхилъ. СКОВАННЫЙ. ПРОМЕТЕЙ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эсхила.
Цѣна **30** к.

2. Софоклъ. ЭДИПЪ-ЦАРЬ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.
Цѣна **40** к.

3. Софоклъ. ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНѢ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.
Цѣна **40** к.

4. Софоклъ. АНТИГОНА.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Софокла.
Цѣна **40** к.

5. Эврипидъ. МЕДЕЯ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эврипида.
Цѣна **40** к.

6. Эврипидъ. ИППОЛИТЪ.

Переводъ Д. С. Мережковскаго. Въ стихахъ. Съ портр. Эврипида.
Цѣна **40** к.

7. Платонъ. ПИРЪ.

Философская поэма. Иллюстраціи: снимки съ бюстовъ Платона, Сократа, Аристофана, Алкивіада; картины пира по древне-греческимъ вазамъ; снимки со статуй и рельефовъ; снимокъ съ картины „Пиръ“ Фейербаха. Цѣна **60** к.

8. Бьёрнсонъ. ПЕРЧАТКА.

Драма въ 3 дѣйствіяхъ. Съ норвежскаго. Переводъ А. и П. Ганзенъ.
Цѣна **40** к.

9. Э. Золя. УГЛЕКОПЫ.

Романъ въ 8 частяхъ. Переводъ А. Л. Коморской. Изданіе *второе*.
Съ портретомъ Золя. Цѣна **1** руб.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступило въ продажу:

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

НОВОЕ ТРЕХТОМНОЕ ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНІЕ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Содержаніе перваго тома:

1. Лирика. 186 стихотвореній.
2. Царица Мабъ. Поэма.
3. Примѣчанія Шелли къ „Царицѣ Мабъ“.
4. Демонъ міра. Поэма.
5. Аласторъ. Поэма.

Геліогравюра Дюжардена, изображающая Шелли.
Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна **2** руб.

Печатается **ТОМЪ ВТОРОЙ.**

Содержаніе второго тома:

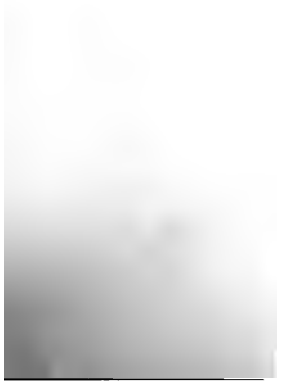
1. Возмущеніе Ислама (Лаонъ и Цитна). Поэма.
2. Царевичъ Атаназъ. Отрывокъ.
3. Строки, написанныя среди Евганейскихъ холмовъ.
4. Розалинда и Елена. Современная эклога.
5. Юліанъ и Маддало. Бесѣда.
6. Освобожденный Прометей. Лирическая драма.
7. Ченчи. Трагедія.

*Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» **за пересылку не платятъ**. Просятъ обращаться **исключительно** по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ», Спб., Невскій, 92.*

PG
3460
C5
1903
V.2

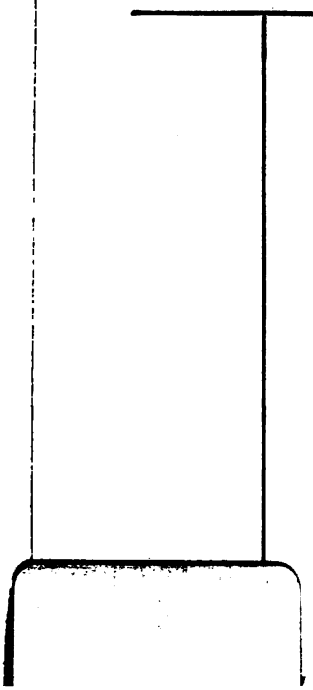
Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.



Stanford University Libraries
3 6105 124 450 037

PG
3460
C5
1903
V.2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.